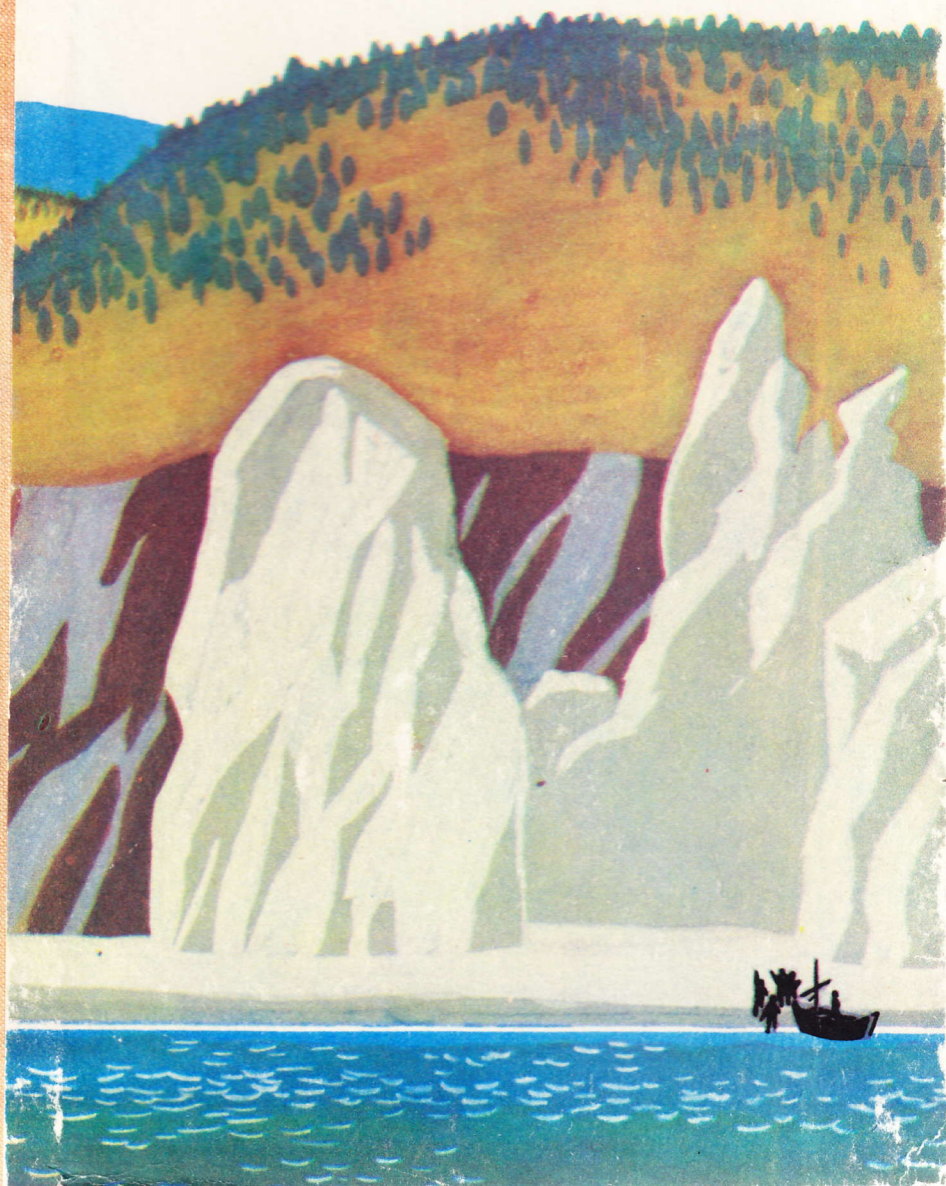


Г. ВОЛКОВ

ЗОЛОТАЯ КОЛЫМА



Герман Волков

ЗОЛОТАЯ КОЛЫМА

ПОВЕСТЬ



Магаданское книжное издательство 1984

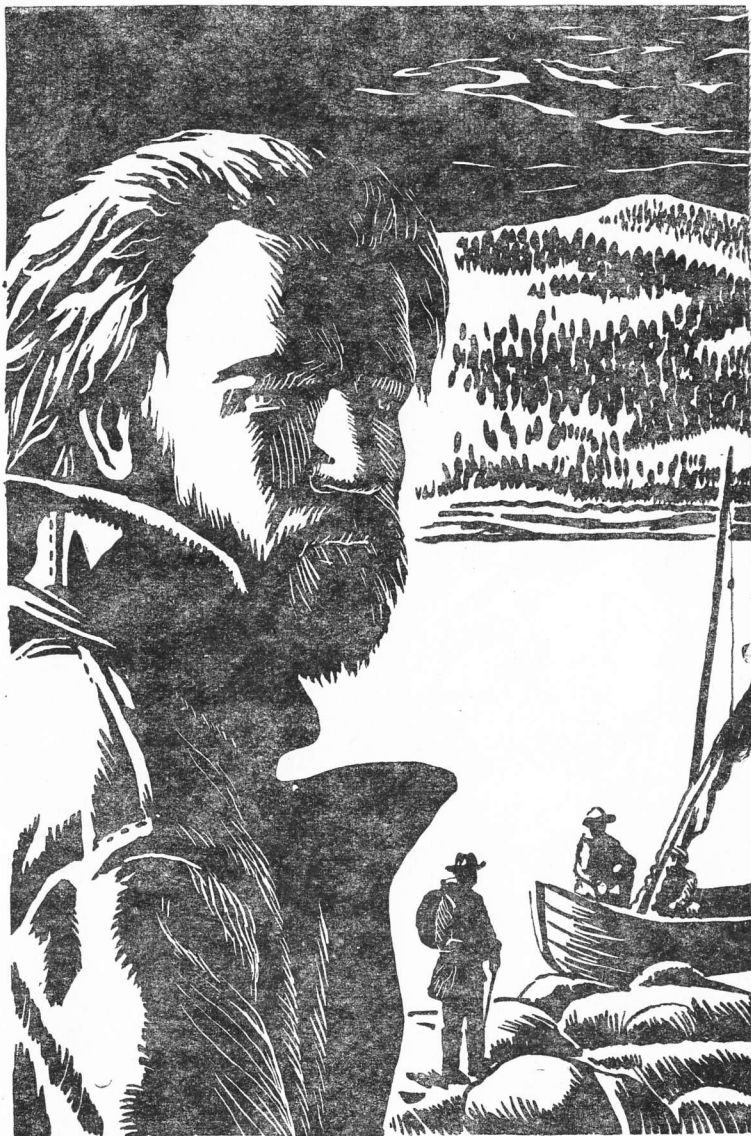
84P7
В 70

*Тамаре Смолиной,
с которой вместе
живем и трудимся
двадцать пять лет
на этой чудной планете Колыме*

Художник М. А. Черкасов

В $\frac{4702010200-035}{М-149(03)-84}$ 16-84

© Магаданское книжное издательство, 1984



Часть первая

ИСТОКИ ЭЛЬДОРАДО

ПОД ШЕПОТ ЗВЕЗД

Тихо в безлюдной, морозом скованной тайге. Останется одинокий путник перевести дух и услышит, как в застывшем воздухе что-то шуршит, словно шелк. Это выдыхаемый пар смерзается в крохотные льдинки, они падают и, задевая друг друга, шуршат. «Шепот звезд», — говорят туземцы.

Но редко останавливается путник. Мороз — пятьдесят с лишним. Щеки сковывает. Лоб разламывает. Глаза смежает. В такую стужу даже якут, к холодам привычный, не поедет в дальнюю дорогу: шепот звезд.

А путник, чужак в здешних местах, идет и идет, сотни верст идет.

Скрипят широкие, обтянутые камусом лыжи, визжат полозья нарт с небогатым скарбом: мешком муки, связкой юколы, чаем, сахаром, топором, кайлом да старательским лотком. Сотни верст скрипят, сотни верст визжат.

Услышав этот скрип, этот визг, хрипло спросонок взвояет голодная росомаха, жутко ухнет где-то поблизости филин. Но ни хищная птица, ни хищный зверь не покинут свое логово в такую стынь. И снова лишь скрип лыж, лишь визг полозьев да шепот звезд.

По голым покатым плечам сопки черными косами спускается лиственник. Где лиственник — там распадок. Где распадок — там ключ или речка. Ключ впадает в речку. Речка вливается в реку. Река — в Колыму-реку. Колыма-река — в океан-море, море Студеное... Иди, куда речки текут, — не заблудишься. Надежней дороги в тайге нет.

Шел путник от самого Охотского моря. Шел вверх по Оле-реке, по речке Нух, по безымянному ключику. Перевалил Колымский хребет. И дальше спустился вниз по ключу, по речке, по реке Буюнде, что течет по широкой долине

Диких Оленей. Выбрался к самой Колыме. По ней поднялся и свернул в долину Рябчиков — Хиринникан. По речке Хиринникан отмерил верст десять и последний раз свернул в неприметный распадочек.

Остановился. Огляделся. Невдалеке мрачные скалы, прикрытые белыми шапками. В заснеженном разлоге над нависью ольхи, тальника прячется желанный ключик. Прошлым летом путник искал здесь отбившихся от обоза лошадей и встретил медведя. Схватил камень, а он оказался тяжелым, на три фунта, золотым самородком. Покопал тогда слегка в этом месте, но много ли руками голыми накопашь...

— Тут мой ключик...

Помолился путник своему аллаху и принялся за дело. Срубил невысокое, ниже плеч, зимовье, корьем покрыл, снегом плотнее завалил, только лаз оставил, печурку из камней сложил. Рядом с жильем выбрал четыре листовенницы-соседки, каждую обрубил на сажень от земли, очистил от коры и сучьев — получились гладкие столбы. На столбах поставил лабаз. К нему пристроил нехитрую, без единого гвоздя, лесенку. В лабазе припрятал от зверя мешок муки, связку юколы, сахар.

А потом спустился к едва заметному своему ключику и на его берегу разложил костер. Но не для себя разложил, а для мерзлой земли. Стал отогревать ее. Стал терпеливо ждать, когда она оттает. Дождался. Разобрал пожар и начал кайлить угольно-черное кострище. Час кайлил. Два кайлил. На пять вершков ушел. И снова неподатливый мерзляк. Снова разложил костер.

На третий день наскреб в лоток сизовато-черную землю, вылез из ямы и бережно — как бы не обронить песчинку! — понес к речке. Кайлом пробил лед. Пар густо повалил из проруби, зашуршал на морозе. Зашептали звезды.

Но человеку не до шепота звезд. Зачерпнет в лоток воды, подогреет ее и над костерком, чтобы не быстро замерзала, плавно, кругами покрутит, осторожно сольет глинистую муть, сбросит мелкую гальку. Снова захватит воды. Снова покрутит. Снова сольет.

Пальцы багровеют, синеют, распухают, покрываются ледком. Но человеку не до них. Он не видит их, пальцы свои. Его взгляд прикован к лотку, к днищу лотка, где все меньше и меньше остается земли. И вот на самом дне в бороздке лотка проглянули тускло-желтые, крохотные, пальцами не ухватишь, крупинки, и такие легкие, что в капле воды не тонут.

— Есть! — громко вскрикивает человек и пугается своего крика, озирается: не услышал ли кто?

— Есть... — глухим эхом отзывается тайга.

— Знаки, — шепчет человек и, готовый перерыть всю землю, охватывает все вокруг своими воспаленно-жадными глазами: — Значит, где-то тут и золото...

Тайга не отвечает на его шепот.

Слышит человек только громкий стук своего сердца да шепот звезд. Шепот звезд — это человеческое дыхание на морозе. Дыхание — это жизнь. А знаки, невесомые тускло-желтые пылинки, — это знаки счастья, удачи, форта. Лишь бы далось оно в руки! Лишь бы пофартило! А там сам — хан, сам — пан, кум королю! И все урядники, все судьи, все трактирщики в ножки тебе падут. Откупайся от тюрьмы, от рекрутчины! Расстилай по всему майдану скатерти камчатные, раскатывай дорожки ковровые, клади на них подушки шелковые... Садись — кто хошь! Пей — что хошь! Кто — арак-водку, кто — медовый шербет, кто — чай с молоком, пастилой и сахаром!

Выбирай себе любую кралечку! Одевай ее в шелк и парчу, осыпай серебром и золотом, бирюзой, сердоликом и яшмой! А потом подадут тебе и невесте твоей по родному татарскому обычаю бал-май — мед и масло — с приговоркою: «В твой рот — бал-май!» И бойкие, с длинными косами, подруги отведут тебя и невесту твою на мягкую постель с напутствием: «Ложитесь вдвоем — встаньте втроем!» Вот это жизнь! Не жизнь, а сабантуй-праздник!

Человек хватает кайло и яростно бьет новую яму, новый шурф. За ним — еще и еще...

Проходят дни, недели. Сахара и чая давно не стало. Рыба-юкола вся съедена. Мука на исходе. Ловить силками куропаток, удить в проруби хариусов — недосуг. Пожует человек муку со снегом — и вроде сыт.

За шурфом — шурф. За лотком — лоток. Уже не крохотные знаки, а самородочки, хотя и мелкие — один как таракан, другой еще меньше, будто клоп, — а все-таки отягощают ладонь отрядной тяжестью, ласкают глаз матовой желтизной. И все азартнее долбит человек мерзлую землю, отогревает ее огнем и своим жарким дыханием, промывает водой на морозе, над костерком. За шурфом — шурф. За лотком — лоток.

А потом бережно, озираясь, несет намытые золотишки в зимовье и долго их припрятывает и перепрятывает то в один угол, то в другой, то под камни печурки, то в пазы и щели сруба... Но все тайники кажутся ненадежными.

Однажды, работая, услышал — нарты скрипят, олени бегут. Скорей в зимовье, за каменную печку, как за крепость, и огонь еще больше раздул. Глаза загорелись рубинами, а в руке кайло зажато.

Заглянул в зимовье якут:

— Доробо, догор! — и еще кроме «здравствуй, друг» что-то хотел сказать или спросить — не помочь ли чем: в крайней бедности и хворости увидел человека.

Но человек на приветствие не ответил, посмотрел на якута как затравленный зверь, красными глазами. Якут отступил и поехал дальше.

С этого дня шел человек на шурфовку, на промывку, а все оглядывался — не крадется ли кто к его тайникам. За день к зимовью сто раз сбегает — на месте ли самородочки? Не работа, а маета, одна беготня суматошная.

И решил тогда человек опутать, оплести зимовье нитками, а их, как телеграфные провода, протянуть по кустам до шурфов. Кто придет — в нитках запутается, дергать начнет, кусты зашевелиятся, и тогда хватай кайло и — на непрошеного гостя!

Рад был, что придумал такое. И нитки нашлись! Днем бил шурфы, золото мыл, а ночами на ошупь расплетал по ниточкам мешок из-под муки. Где рвалось, узелками связывал. Из мешка длинная нить получилась.

Обкрутил, опутал зимовье и лабаз, как паук паутиной. По тропам, что вели к шурфам, нитки туго натянул и себя обмотал, но так, чтоб можно было и кайлить, и лотком мыть.

Успокоился. Стал долбить и мыть безотрывно, все дни напролет и все себя за ум-разум похваливал. По ночам не спал: не хотелось, самородки с ладони на ладонь пересыпал, любовался ими, каждому ласковое прозвище давал: таракану — Кралечка, клопу — Медовый Шербет.

Иногда забывал, в какой угол Кралечку положил, куда Медовый Шербет припрятал. И тогда все пазы, все углы, все тайники лихорадочно обшаривал, перешушывал, по зимовью метался, как зверь в западне, пока не находил.

А найдет — радостно вскрикивает:

— Тут моя Кралечка! Тут мой Шербет!

Никто ему миловаться с кралечками не мешал. На сотни верст тишина стояла. И вдруг как-то ночью услышал — деревья трещат, не от мороза трещат, ломает кто-то... За кайло и — к лазу!

Видит, сквозь кусты продирается хозяин здешних мест, старый знакомый, с которым прошлым летом тут

встречался, — лохматый, заиндевелый и, поди, голодный, шатун. С таким шутки плохи. На такого с кайлом не пойдешь. Взметнулся человек на лабаз, как белка, и лесенку успел откинуть. Засел там и смотрит.

Медведь заглянул в зимовье. Пусто. К лабазу потянулся, когтями все окоренные стволы поцарапал, зубами погрыз, но забраться не смог, пытался повалить и тоже не смог. Крепкие лиственницы выбрал под стойки лабаза человек, а зверь за зиму, видимо, отошал, обессилел. Всю ночь вокруг зимовья и лабаза бродил, сопел, все обнюхивал. Ни сладким сахаром, ни соленой юколой не пахло. Был лишь запах человека. Но до него не добрался. Под утро ушел. Нитки, конечно, порвал.

Спустился человек с лабаза. Нитки снова связал. И снова пошел бить шурфы, мыть золото. Медведь больше не замахивал, наверное, опять в свою берлогу улегся.

Прошли месяцы. Кайло источилось до черенка. Человек выбился из сил. Упал. И поплыли перед глазами большими желтыми кругами яркне, как солнце, самородочки, запрыгали по белой как снег камчатной скатерти зеленые бутылки с арак-водкой, переплелись по ключам и речкам, по разломам и распадкам, как лиственники, татарские девичьи косы...

Почуял человек смерть свою. Собрал остатнюю силенку, надрал из-под снега мха, постелил его в шурф и, помолясь аллаху, лег. Над губами смолк шепот звезд. Отшептались звезды — нет человека. Поминай, как звали.

Звали его Бориской.

Был Бориска татаринном Бари Шафигуллиным. Русские и якуты имя его переиначили, а фамилию совсем забыли. Много лет спустя дотошные историки установили подлинное имя и фамилию, и кем был Бориска, и много насочиняли о нем разных легенд, как сами выражаются, «довольно неоднозначных».

Доподлинно известно только то, что из деревни Мирзан Казанской губернии злодейка-нужда да рекрутчина гнали царского дезертира Бориску за фартом-удачей по всей Сибири, на Лену, на Амур, на Зею, в Охотск, где вспыхнула золотая лихорадка, вспыхнула и погасла. А из Охотска загнали Бориску еще дальше — на Колыму.

Весной семнадцатого года якуты набрели на зимовье, непонятно кем и для чего обмотанное нитками. Зимовье было пустое. И лабаз — пустой. На окоренных лиственни-

цах медведь точил когти и зубы, но до верху не добрался.

По ниткам, как по заячьему следу, якуты пришли к каким-то ямам. В одной увидели человека — большого, широкоскулого, чернобородого, с глубокой вмятиной на лбу. Левая нога в раскисшем ичиге, правая почему-то босая. Медведь, что ли, разул?..

В покойном признали Бориску: у русского купца конюхом служил, якутам сено косил.

Постояли над ним, сняв малахан, попыхали трубками.

И решили:

— Худой человек Бориска.

— Зачем землю копал?

— Землю грех копать.

— Бог наказал.

Закидали труп тем иссиа-черным песком, что не успел промыть Бориска. Забросали и тех желтеньких тараканов и клопов, которые просыпались меж скрюченных пальцев покойного на дно шурфа.

И стал этот шурф могилой.

А безымянный ключик с той весны прозвали Борискиным.

В своем шурфе Бориска пролежал покойно двадцать лет, пока не поддел его ковш экскаватора. В мерзлоте труп сохранился хорошо. Врач осмотрел, составил акт.

Перезахоронили одинокого искателя фарта на склоне сопочки не без почестей. Обложили новую могилу ветками вечнозеленого стланика.

ПРЯЖКА ТИХОГО ОКЕАНА

О Бориске горный инженер Юрий Александрович Билибин слышал на Алдане. После смерти одинокого искателя фарта протекло десять лет. За это время колымского золота никто не видел, но молва о нем будоражила все сибирские прииски.

В то лето алданскую тайгу нещадно секли дожди. Они прижимали к базе Эльконскую поисковую партию, что была под началом Билибина. Дождь то шелкал частой мелкой дробью по туго натянутым скатам бязевой палатки, то, как горох, раскатывался тяжелыми каплями.

В палатке стоял полумрак, но было уютно и тепло, словно в деревне на сеновале. Уложенные на горячее кострище гибкие лозы ивняка духовито отдавали распаренным

листом. Юрий Александрович восхищался, как хорошо, с комфортом, умеют устраиваться бывалые таежники даже в такую вот непогоду. Нет ничего отраднее, как после многотрудного маршрута завалиться в эти ароматнопахучие постели и слушать шум дождя и вести неторопливую беседу.

Все нежатся, благодумствуют, словно отогреваются у костра, и каждый, даже самый молчаливый, норовит подбросить в разговор свое словцо, словно щепочку в огонек. Без таких бесед в тайге, в отрыве от всего мира, не проживешь, одичаешь, как зверь, или с ума сойдешь, как Бориска. Тому, у кого язык подвешен, тут и почет и уважение.

Таким говоруном в партии Билибина был прораб Эрнест Бертин, родной брат известного на всю страну открывателя алданского золота Вольдемара Петровича Бертина. Заядлый охотник, рыбак, бродяга, Эрнест всю Сибирь вдоль прошел, поперек осталось. К золоту пристрастия не питал, а если и примкнул к золотоискателям, то лишь потому, что брат дважды заманивал его непуганым зверем, неловленной рыбой: раз — в Охотск, но Эрнест не добрался, как машинист красного поезда попал в плен к белочехам, был брошен в Читинскую тюрьму, бежал к партизанам; другой — на Алдан. Здесь и застрял, сошелся с геологами, потому как они такие же бродяги, народ беззаветный и золото ищут не для своей выгоды.

Эрнест говаривал нередко:

— Бродяги Сибирь открыли. На бродягах она и держится.

Он и отца своего относил к этой же породе. Латыш Пестер Бертин служил путевым сторожем в Курляндии и вдруг со всем семейством, сам седьмой, откочевал в Сибирь осваивать новую железную дорогу. Сначала остановились на станции Канск, потом переехали на станцию Иланская, так и до Байкала добрались.

— Я вырос в Сибири, родного языка не помню. Потомственный б-б-бродяга.

От природы Эрнест чуть заикался, но чаще нарочито растягивал кое-какие словечки: любил насмешничать и над собой и над окружающими.

Юрию Билибину с детства внушали: бродяга — бездомник, разбойник, который делать ничего не умеет, лишь ворует да попрошайничает. А тут бродяги — землепроходцы, непоседы, для них родной дом — вся Сибирь, они мастера на все руки и в шалаше устроят рай. И теперь горный инженер Билибин, прожив с ними два года, мечтал стать

таким же таежником. Ради этого бороду отпустил, откровенно рыжую, но, по его мнению, золотистую. Много всяческих рассказов о сибирских старателях наслушался Билибин на Алдане. Но больше всего его раззадорили легенды о Бориске, который в поисках золота забрался на Колыму и вроде бы опередил его, Билибина.

Вот и сегодня, когда разговор опять коснулся этой темы, Билибин сказал в сердцах:

— Да знал ли этот Бориска хотя бы законы образования россыпей? Наверное, до настоящего золота так и не добрался. Довольствовался скудными и случайными находками.

— Нет, Юрий Александрович, — хитро усмехаясь, прервал своего начальника прораб Бертин, — я слышал, он столько этого з-з-золота нашел, что сам от греховной радости з-з-зашелся.

— А наши люди, — вставил Миша Седалищев, сухопарый якут, проводник, конюх и толмач, — говорят: не своей смертью помер Бориска, догоры-друзки бах-бах его, а сами моют на Борискиных ямах.

— Ну, ваши люди скажут, — попытался возразить Билибин.

— Саха всегда правду говорит. Бах-бах Бориску!

— Золото завсегда с кровью, — поддакнул промывальщик Майорыч.

О Петре Алексеевиче Майорове рассказывали, что он и в Бодайбо, и на Зее мыл пески, да, случалось, не лотком, а колпаком арестантским, и никакие крупницы не упускал. Сам о себе Майорыч ничего не говорил, не вынимал из рта трубку, и она, казалось, как амбарный замок, замкнула его губы, а они заросли непролазно-дремучей иссизачерной бородой, чуть закуржавленной проседью. Майорыча принимали за старика, а было ему лет сорок с небольшим. Согнулся малость и шею втянул, потому что много по забоям подземным лазил и по тайге мешок на спине таскал. За день промывал сотню лотков. Не зря в партии его величали личным промывальщиком Билибина.

— Да, кровь часто сопутствует золоту, — задумчиво проговорил Юрий Александрович и вдруг сел, как Будда, ноги калачом, и в упор спросил: — А знаете, друзья-догоры, что о золоте сказал Ленин? Не знаете? Владимир Ильич сказал: когда совершится мировая революция, то мы из золота... Что сделаем?

Первым ответил Эрнест:

— Н-народные дома! Д-д-ворцы труда!

— Нет!

— А что Ленин сказал-то? Знаешь — говори, — заволовновал якут-проводник Седалищев.

— А Ленин, дорогой товарищ Седалищев и все вы, догоры, в двадцать первом году в газете «Правда» писал: когда мы победим в мировом масштабе, мы сделаем из золота на улицах самых больших городов мира... Что? Сортиры!

— Сортиры?! — в один голос выдохнули Эрнест, Седалищев и Майорыч.

— Эти с-с-самые... уборные, куда г-г-городские ходят?

— Эти самые, Эрнест Петрович.

— Так и сказал?

— Ну, не совсем так. Назвал сортиры общественными отхожими местами, но смысл один. И все это — в назидание, чтоб люди не забывали, как из-за презренного металла перебили десять миллионов человек и сделали калеками тридцать миллионов только в одну империалистическую войну.

— Ишь ты! А ведь этому проклятому металлу подходящее применение — с-с-сортир. Чисто будет, ни ржавчинки! Но мы-то для чего его ищем?

— А в той же статье Владимир Ильич написал, что, пока золото нам очень нужно, надо беречь его, продавать подороже, покупать на него товары подешевле и, разумеется, побольше добывать.

— Золотым фондом раздавить буржуйскую г-г-гидру? Понятно!

Юрий Александрович раскидал ветви ивняка и на утоптанной земле быстро нарисовал берега Тихого океана:

— Смотрите, догоры! Вот — Охотск, где двадцать лет назад вспыхнула лихорадка, куда манила нашего Эрнеста неловленная рыба, да Читинская тюрьма не пустила. Ниже — родная Майорычу Зея, еще ниже — Амур. В Приамурье золото добывалось за полторы тысячи лет до нашей эры. Чуть выше — золотой Алдан. Здесь мы сидим, языки чешем. А под нами — Китай, Япония, Филиппинские и прочие острова. И вот тут Австралия, где золото из россыпей получают провеиванием, причем до шестидесяти граммов на кубометр. А с этой стороны Тихий океан омывает берега обеих Америк. Никто не знает, когда и откуда брали этот блестящий металл ацтеки и инки, он шел у них только на украшения, но его было столько, что испанские конкистадоры грабили инков более ста лет. Один из них, некий испанец Мартинес, вроде бы видел весь город в зо-

лоте и назвал его Эльдorado, что значит по-испански «золотой». Позже этот город искали многие и не нашли. Говорили, то ли он погрузился, как древний град Китеж, в озеро, то ли сами инки все богатства бросили в озеро, чтоб не достались конкистадорам. А потом кому-то из этих испанских авантюристов пришла в голову мысль искать драгоценный металл в недрах завоеванных стран — и открыли богатейшие россыпи в Бразилии. В связи с этим открытием мировая добыча золота в восемнадцатом веке резко возросла. В тысяча восемьсот сорок девятом году вспыхнула первая золотая лихорадка вот здесь, в Калифорнии. Отсюда золотой вал покатился на север и ударился в берега Аляски. Семнадцатого августа тысяча восемьсот девяносто шестого года американец Джордж Карнт нашел золото на Клондайке. Тропой Мертвых Лошадей двинулась длинная вереница золотоискателей, и на Юконе вспыхнула пятая золотая лихорадка. Рукав Кроличьего ручья называли Эльдorado. Клондайк и Эльдorado стали символами быстрого обогащения, а день открытия Клондайка — семнадцатое августа — днем рождения Золотой Аляски. Итак, что же мы видим, догоры?! От Охотска до Австралии, от Австралии до Аляски вокруг Тихого океана — всюду и в разное время добывалось золото! Ясно?

Билибин вскочил и уперся взлохмаченной головой в туго натянутый скат палатки. Сбился с ритма барабанный бой дождя, а бязь над его головой потемнела и стала протекать.

— Ясно! —

— Что — я-я-ясно? — спросил Эрнест, поднялся с тополевого сутунка, подошел к начальнику и, чтоб не протекало там, где уперся Билибин головой, провел, сильно нажимая пальцем, по скату вниз до боковой стенки. Вода заструилась по его следу и перестала просачиваться в палатку.

— Вы видите, догоры? Вокруг Тихого океана когда-то в далекие геологические эпохи образовался, весьма возможно, золотой рудный пояс. Видите? А колы вокруг океана был такой наборный пояс, расположенный тут и тут, то он должен проходить и здесь, — Билибин одну ногу поставил на Чукотку, — и здесь! — другую на Колыму. — Здесь, на Чукотке и на Колыме, замыкается Тихоокеанский золотой пояс! Здесь — его пряжка! — Юрий Александрович опустил на землю, сел перед Тихим океаном, опять скрестив ноги, как Будда, и, наслаждаясь произведенным впечатлением, широко улыбнулся:

— Ясно, бродяги, где надо искать золото?

Бродяги то зачарованно смотрели на щедро осыпанные богатством берега Тихого океана, то с восхищением на своего Будду:

— Умный начальник! Симбир шаман — начальник!

— Б-б-башковит.

От таких похвал Юрий Александрович зарделся:

— Не я один так думаю. Есть у меня в Горном институте друг Сергей Смирнов. Наверняка большим ученым будет. А пока — преподаватель. Вот он-то и поделился со мной мыслями о закономерном размещении металлов, в частности олова, о Тихоокеанском оловорудном поясе мезоканной складчатости... А я прикинул это к золоту. Все это пока предположения. Но мы установим законы и по законам, а не по легендам о каких-то Борисках, будем искать олово, золото и любые металлы, сидя над картой.

— Х-х-хитрые... Будете сидеть в своих городских кабинетах и увидите, где золото лежит?

— Примерно так. Но сначала надо всю страну облазить, покрыть геологическими съемками...

— Юрий Александрович, а не м-м-махнуть ли нам на Колыму?

— Не-ет, — замотал кудлатой головой Билибин. — Я начну расстегивать золотую пряжку на Чукотке. Об этом уже переговорил кое с кем в Геолкоме. И вы, догоры, если хотите со мной на Чукотку, — всех возьму!

— А что там на Чукотке? Тундра голая, б-б-бродить скучно... Да и нюхал ли кто там золото?

— Нюхали, Эрнест Петрович. Американцы. До революции. Большого золота не унюхали, но оно там есть.

— Колыма лучше. Тайга! И зверь нестреляный, и рыба — в реку войдешь — с ног валит. И золото есть. Не один же Бориска искал его. В позапрошлом году мы вместе с братом собирались на Колыму. Жаль, денег не набралось у Якутского правительства. А вы, Юрий Александрович, как вернемся с поля, поговорите с моим братаном. У него такая з-з-записочка есть про колымское золото, что враз вас на Колыму сагитирует.

— Нет, только на Чукотку! Да и Геолком не разрешит на Колыму. Там, в Геолкоме, такие мастодонты, троглодиты и тираннозавры, каких ни в одном палеонтологическом музее нет. Из них песок сыплется, но зубы целы, правда вставные. На Чукотку-то я уговорю. Козырь есть — американцы там золото мыли. А про Колыму нечего и заикаться — колымского золота никто не видел, легендам о Бориске не поверят...

- А записочка у моего брата?..
 — Нет, Чукотка вернее. Мое Эльдорадо — Чукотка!

«В поле мы так и не договорились — на Колыму или на Чукотку, — вспоминал много лет спустя Эрнест Петрович Бертин. — Полевой сезон закончился. Наша партия вышла на Усть-Укулан. На пристани Билибин связался по телефону с прииском «Незаметный» и узнал, что геологи, начальники других партий, почти все собрались и завтра устраивают вечер полевиков, ждут только Билибина. Юрий Александрович ответил: буду!

Он отдал мне распоряжение готовить партию в обратный путь, а сам взял полевые дневники, карты, шесть бутылок каким-то чудом уцелевшего спирта и на рассвете отправился в поселок Незаметный пешком один. От Усть-Укулана до Незаметного — семьдесят восемь верст. На вечеринку не опоздал».

АЛДАНСКИЙ ПОЛИТКОМИССАР

Всю ночь Юрий Александрович веселился с геологами, радовался успехам полевых партий, которые сам и организовал, рассказывал свежие таежные истории. Утром пошел разыскивать политкомиссара. Так, по привычке, называли Вольдемара Бертина.

Дома Бертина не было. На огороде Билибин увидел его жену Таню. Она выкапывала картошку.

— Здравствуйте, Юрий Александрович, с прибытием. А мой-то уже в бегах. Ищите на драге или на делянах. Вечерком заходите, свеженькой картошечкой угощу!

Искал Билибин Бертина по его зычному голосу, за который и прозвали управляющего Крикливым. Прозвали не в осуждение — все знали, что говорит он громко, потому что глуховат, и почему глуховат, знали: в вагоне смертников звери атамана Калмыкова его прикладами били, сто казачьих плетей зараз всыпали, с той поры и голова частенько побаливает, и сам себя плохо слышит, потому и говорит громко. Знали, почему калмыковцы всех остальных смерти предали, а его, большевика, били-били, а в живых все-таки оставили: слыл Вольдемар Бертин удачливым золотоискателем, и кто-то из золотопромышленников отсыпал Калмыкову четыре фунта золота за жизнь Бертина. Из вагона смерти пересадили его в тюрьму. Из нее вызво-

лила Красная Армия. А в большевистскую партию он вступил, когда вместе с латышами в семнадцатом Кремль брал.

На алданских приисках Вольдемар Петровича любили и уважали за то, что он первым открыл тут золото и организовал прииск «Незаметный», что о людях заботился и три года назад спас алданцев от голодной смерти... Любили его даже те, кого он нещадно, но всегда справедливо разносил при всем народе: после они с какой-то радостью и гордостью вспоминали политкомиссаров разнос.

С четырех утра и до поздней ночи не смолкал бертинский бас. Люди не спрашивали: «Не выдали комиссара?», а говорили: «Комиссара не слышали?» — и шли туда, где его слышали.

Так искал и Билибин:

— Вольдемар Петровича не слышали?

— Гремел тут, опосля вон там шумел.

А там отвечали:

— Был. Кричал. А теперь слышно — вон где кричит.

Так обойдя почти все деляны, побывав и на драге, и на стройке Дворца труда, под вечер нашел.

Издали Вольдемар Петрович походил на лихого запорожского казака с картины Репина. Грузный, головастый, выбритый наголо до блеска, с обвислыми черными усами. Засмеется — хохот на весь Алдан. А вблизи совсем иной: глаза печальные, пепельные, глубокая скорбная морщина на переносье, как шрам. Душа у него была всегда открытая, с людьми он разговаривал напрямки, в упор спрашивал и так же откровенно отвечал.

Билибин любил и уважал его за прямоту и честность, хотел быть похожим в этом на комиссара. Юрий Александрович остановился за широкой спиной Бертина, смешался в толпе приискателей, такой же бородатый, обросший, закопченный кострами и солнцем, и стал выжидать момент, когда можно будет обратить на себя внимание, посмеиваясь, слушал, как ратует комиссар за трезвый Алдан.

— Опять пьян, комариная душа? — подступил он к одному из «копачей».

— Выпил, товарищ политком, как на духу говорю, выпил! — с радостными взвизгами отвечала «комариная душа». — Вчерась выпил, ноне похмелился, завтра обратно — такое колесо! Потому как Алдан — не жилуха, и нашему брату без этого колеса никак невозможно!

— Это почему же? Я-то не пью!

— Дак вы партиец, а мы люмпен: любо — пей, любо —

плюй! У вас — жилуха: жена-красавица, детки-малолетки, дом, хоть неказистый, а родной. А мы тут — перекати-поле. На жилухе и я не пил. Ей-бо!

— На жилухе-то и я не пил! — захихикал другой. — А тут трезвый не бываю! А все почему? От тоски!

— А золото куда от тоски прячешь? Под двойное дно чемоданчика? Перепрячь, а то милиционеру скажу — найдет. Чего заморгал бельмами? Я твою комариную душу насквозь вижу. Вчера опять королю бороду причесал? Две сотни выиграл. А выпить на шармака норовишь.

— Всю дотошную про нашего брата знает, — загудели приискатели. — Дошли вы, товарищ комиссар...

— Будешь с вами дошли. Ну, ничего... Первую драгу имени Дзержинского пустили, Дворец труда построим... Рассеем мрак старого быта! Будет Алдан и социалистический, и трезвый!

— Зачем разыскиваешь-то? — обратился Вольдемар Петрович к Билибину.

Билибин промолчал, отошел от «копачей» подальше и лишь на повторный вопрос: «Ну?» — осторожно сказал:

— У вас есть какая-то записочка о Колыме?

— Ну, и что? Познакомиться хочешь?

— Если можно...

— Можно. Кому-кому, а Билибину — можно. Он дело делает. Я-то всю жизнь ишу золото на нюх да на слух, а он Алдан на научные рельсы ставит! Рудное золото нашел! Построим рудник Лебединый, фабрику поставим, город будет. На сто лет, говоришь, хватит?

— И даже больше.

— Ладно. Пошли ко мне. Проголодался, поди! Танюша картошкой покормит, а я тебе записочку покажу.

Таня поставила на стол огромный чугунок картошки:

— Милости просим, Юрий Александрович. Картошечка молоденькая, без ножа чистится, — и сняла крышку.

Густой пар, давно забытый аппетитный запах ударил в ноздри Билибина. Юрий схватил самую крупную картошку в лохмотьях тонкой кожуры, не очищая ее, макнул в берестяную солонку и затолкал в рот.

— Что же без масла-то и нечищеную. Может, поджарить? Вы какую больше любите, мятую или порезанную?

— Всякую, Татьяна Лукьяновна, всякую. И мятую, и резаную, и жареную, и пареную, и с маслом, и без масла, и в мундире, и без него... Тысячу лет не едал! И одного чугунка будет маловато...

— Ешьте, еще сварю.

ЗАПИСКА РОЗЕНФЕЛЬДА

Из толстой папки, на обложке которой красноармеец в буденовке пронзал штыком гидру буржуазии, очень похожую на верхнепермского, жившего двести миллионов лет назад, ящера, Бертин извлек и положил перед Билибиным тонкие листики с водяными знаками, а сам сел напротив.

Юрий Александрович, не переставая жевать картошку, уткнулся в написанные мелким бисером бумажки. Сначала он молча пробежал строки, потом, когда дошел до красочных описаний золоторудных жил, которые перед автором записки сверкали «молниеподобными зигзагами», стал вслух повторять отдельные фразы:

— «...хотя золота с удовлетворительным промышленным содержанием пока не найдено, но все данные говорят, что в недрах этой системы схоронено весьма внушительное количество этого драгоценного металла...»

И закончил громко, нараспев:

— «...нет красноречиво убедительных цифр и конкретных указаний на выгоды помещения капитала в предполагаемое предприятие, но ведь фактически цифровым материалом я и сам не располагаю: пустословие же и фанфаронада — не мое ремесло. Могу сказать лишь одно — средства, отпускаемые на экспедицию, окупили бы себя впоследствии на Севере сторицею.

Розенфельд.

Владивосток, 25 ноября 1918 г.»

А Бертин положил перед Билибиным еще один листок, вырванный из школьной тетради:

— Карта.

Билибина карта умилила. Она была похожа на детский рисунок: горы изображались как песочные колобашки, тайга — елочками, болота — вроде ежей, а золоторудное месторождение помечено тремя крестиками с надписью «Гореловские жилы». Никакого масштаба! Никакой привязки к какому-либо известному географическому пункту! Искать с такой картой «Гореловские жилы» безнадежно.

— Кто этот Розенфельд? И как все это оказалось у вас?

Вольдемар Петрович вздохнул:

— Разное о нем говорят: и проходимец, и купеческий прихвостень, и белый эмигрант. Был он приказчиком у благовещенского купца Шустова; скупал на Колыме пушнину, искал там же удобные торговые пути, интересовался, видимо, и полезными ископаемыми. Ну, где-то и наткнулся на

жины. Гореловскими-то назвал, видимо, потому что кварц ржавый, все его так называют... Без техники опробовать не смог, хотел вернуться на это место в будущем году с техникой и с людьми на средства своего купца. Но Шустов в это время обанкротился. Стал Розенфельд писать разным золотопромышленникам. Хотел, понятно, сам участвовать в этом деле, не по наивности, конечно, составил такую хитрую карту. Но тут началось: война, революции... Однако Розенфельд не успокоился. Эту записку он представил в правительство Дальневосточной республики. Во Владивостоке в двадцатом году ее обсуждали, даже организовали Колымскую рекогносцировочную экспедицию, вот — протокол ее заседания...

Бертин извлек из той же папки с красноармейцем, пронзающим гидру буржуазии, еще восемь листов. Билибин прочел о задачах экспедиции: первая — исследование промышленной ценности Гореловских жил, вторая — исследование двух обширных систем россыпного золота. Вдруг Юрия Александровича остро обожгла мысль, что исследования на Северо-Востоке Азии, куда он стремится, уже начались, и начались без него! На четвертой странице увидел строки, подчеркнутые красным карандашом:

«...быть может, в ближайшие 20—30 лет Колымская страна привлечет все взоры промышленного мира».

— Чего всполошился? — усмехнулся Бертин. — Думаешь, опередили? Нет. На этом протоколе деятельность Колымской экспедиции закончилась. На Дальнем Востоке началась такая заваруха, что правительству ДВР было не до Колымы. Ешь-ешь картошку... А ко мне эти бумаги попали так. Открыли мы на Алдане золото, народ нахлынул, а есть нечего. Были случаи — мертвецов ели. Снарядился я в Благовещенск, взял вот из этого сундучка двенадцать фунтов золота — думал, сдам государству, закуплю продовольствие. А меня по дороге схватили. Нет, не думай, свои схватили, чекисты. Пустил кто-то обо мне слух: в Китай пробираюсь, ну и схватили, доставили в Рухлово. Но там разобрались, освободили и даже телохранителя дали. В Благовещенске я золото сдал, продукты закупил и там же познакомился с горным инженером Степановым. Толковый инженер, о золоте Сибири и Дальнего Востока все знает, а работал он ученым секретарем в Дальплане. Разговаривали мы. Он меня об Алдане спрашивал, я ему рассказал все и, видимо, ему понравился. Он и передал мне все эти бумаги и очень советовал заняться этим, как он говорил, стоящим делом, а Якутское правительство пойдет

мне навстречу... Вернулся я из Благовещенска с продовольствием, по Алдану на лодках... И тут как раз приехал к нам в Незаметный председатель Якутского совнаркома Максим Китович Аммосов. Я показал ему все это. Он ухватился! Я ему и смету передал на тридцать восемь тысяч, и список экспедиции. Вскоре получили от Аммосова телеграмму: экспедиция утверждена, тридцать восемь тысяч ассигнованы! Мы стали спешно собираться, отправили своего уполномоченного на тракт Якутск — Оймякон для организации оленьего транспорта на Колыму... И вдруг получаем новую телеграмму: экспедиция отменяется, потому как деньги-то ассигновали, а найти их — не нашли... Бедные мы еще: золото в руки идет, а взять не можем. Вот и дарю я тебе всю Золотую Колыму. Протолкни это дело в Москве! Розенфельд не добился, мы не добились, а ты добьешься! Мужик ты настойчивый, да и Москва побогаче Якутска, и все мы понимаем, золото нам ой как нужно! Было бы у нас побольше этой валюты, то все чемберлены и прочие гидры по-иному бы запели! — и Вольдемар Петрович наотмашь ударил по гидре, нарисованной на папке. — Бери материалы. Толкай, товарищ Билибин! Протолкнешь — мы тебе самых лучших мужиков подберем! И сам я, если отпустят, поеду с тобой! Возьмешь прорабом? Я на золото удачливый, фатовый... Поставь ему, Танюша, еще чугуна. А ведь моя Танюша — тоже первооткрыватель в своем роде: первая на Алдане начала выращивать картошку! Но никто ее в историю не запишет.

— Запишут. Всех нас запишут!

Еще не раз встречался Билибин с Вольдемаром Петровичем: и в конторе — маленьком кабинете, заваленном образцами пород и горняцкими инструментами, и в его хибаре, где кроме самодельного стола и деревянной кровати стоял окованный железом сундук, в котором хранилось приискательское золото.

Билибин и Бертин обговаривали, как организовать экспедицию, как ее снарядить, кого в нее пригласить, каким путем добираться: через Якутск по Верхояно-Колымскому тракту или через Владивосток морем, а потом тропами, которыми, возможно, ходил Розенфельд...

Вернулся с поля Эрнест Бертин. Билибин, хотя и окончательно решил ехать на Колыму, продолжал в шутку стоять на своем.

— Ну, Эрнест Петрович, на Чукотку!

— А может, все-таки на Колыму, Юрий Александрович? Неужто брат не убедил?

Билибин загадочно усмехался. Посмеивался в усы и Вольдемар Петрович: пусть тешится молодежь.

— Разыграем Колыму и Чукотку! — предложил как-то Билибин Эрнесту. — Ты перепьешь меня — поедом на твою Колыму! Я тебя перепью — поедом ко мне, на Чукотку! Ну, махнем?

— Вот комариные души! — беззлобно выругался Вольдемар Петрович. — Как, бывало, дворяне — под земли играть! Не соглашайся, Эрнест, обманет.

Но Эрнест решительно заявил:

— Я — х-х-хитрый, не обманешь. Пиши договор по всей форме!

Юрий Александрович схватил лист бумаги и крупным четким почерком, похожим на древнерусский полуустав, стал торжественно выводить:

«Столица Алданского края
поселок Незаметный.

Октябрь, 5-го дня 1927 года.

Мы, нижеподписавшиеся, государь всея Чукотки Билибин Ю. А., с одной стороны, князь колымский Бертин Э. П., с другой стороны, и комиссар Алданский Бертин В. П., с третьей стороны, как третейский судья, заключили настоящий договор в нижеследующем:

I. Обе стороны под строгим наблюдением третьей будут пить чистейший спирт — spiritus vini.

II. Пить оный будут из чайника вместимостью два литра, наполненного до краев».

— Чайник? — удивился Эрнест. — Два литра? Не доводилось.

— Струсил?

— Давай: чайник так чайник...

«III. Пить из чайника, не отрываясь, пока не опорожнится, постепенно наклоняя оный и лия беспрерывной струей».

— Лия?

— Лия!

— Беспрерывно?

— Беспрерывно!

— Пиши!

«IV. Первым пьет Билибин Ю. А., вторым — Бертин Э. П.

V. Кто чайник выпьет, тот и выиграет: Билибин Ю. А. — Чукотку, Бертин Э. П. — Колыму».

Расписались. Билибин сбегал в свою хибару, принес чайник и полдюжины бутылок спирта, быстро, сразу из двух, наполнил чайник и провозгласил:

— За Чукотку, догоры!

Расставил ноги прописным азом, запрокинул кудлатую голову, величественно поднял чайник и таким же манером стал его наклонять. Тугая, витая струя полилась в рот. Билибин покачивался. Струя дрожала, но лилась беспрерывно и наконец иссякла. Билибин опрокинул чайник, всем торжественно показав, что в нем не осталось ни капли.

— Твой черед!

Эрнест так же раскорячил ноги и так же бодро заявил:

— За Колыму!

Сначала он пил, блаженно расплываясь в улыбке и не покачиваясь. Потом струя стала попадать на подбородок.

Билибин запротестовал:

— Лия! Ровно лия!

На лбу Эрнеста выступила бисером испарина, в глазах задрожали слезы, а когда оставалось уже немного, он закашлялся.

— Эх, бродяга, проиграл свою Колыму!

— Обманул, комариная душа! — захохотал старший Бертин. — Себе наливал воду!

— Воду! — охотно подтвердил Билибин: розыгрышем своим он был страшно доволен.

Когда лег снег, с Незаметного на железнодорожную станцию Невер потянулись обозы лошадей, оленей и верблюдов. Приискатели, кому пофартило, уходили в новеньких сапогах и кожанках, взятых в золотоскупке. А кому фарт не улыбнулся — в порванных ичигах, в потертых ватниках, уложив весь свой скarb на заплечные рогульки. По всему семисотверстному тракту полилась горестная, на мотив «Бродяги», «Алданка»:

По дикой тайге Якутии,
Где золото роют в ключах,
Бродяга с далекой России
С котомкой идет на плечах.

Счастливец на свете немного,
Ты слышал, наверно, о них.
А нам, брат, обратно дорога
И пуд сухарей на двоих.

Юрий Александрович выезжал с Незаметного в кибитке. Его провожали Вольдемар Петрович, Татьяна Лукьяновна, Эрнест, и друг его Сережа Раковский, и старик Майорыч, и якут Миша Седалищев... Когда окованные железом полозья заскрипели, Билибин весело крикнул:

- До скорой встречи, догоры! На Чукотке, Эрнест?
- На Колыме, Юрий Александрович!

ТИРАННОЗАВРЫ

С Алдана в Ленинград Билибин привез уйму геологических идей. Хватило бы на капитальный труд, который мог прославить горного инженера в ученом мире. Но Юрий Александрович составил лишь краткое описание Алданского золотоносного района, а все остальное отложил до будущих времен.

Всю зиму он обивал пороги Геолкома, Горного института, Академии наук, трижды выезжал в Москву, в наркоматы, в Союззолото. Всюду доказывал, убеждал: на Колыме есть богатое золото и нужно без промедления снаряжать экспедицию. Зачитывал записку Розенфельда. Рассказывал легенды о Бориске. Развивал гипотезу о Тихоокеанском золоторудном поясе. Наизусть цитировал установки только что прошедшего XIV съезда партии о настоятельной необходимости развития золотой промышленности, создании валютного фонда. Солидных людей, занимавших важные посты, убеждал, что без валютного металла трудно строить пятилетку: нужно закупать технику, приглашать зарубежных специалистов...

Его, молоденького инженера, — бороду он сбрил и выглядел теперь гораздо моложе, чем на Алдане, — выслушивали с должным вниманием, но многие сомневались: фантазер, прожектёр, проспектор.

Наступил апрель, время весновок. Апрель звал в поле. По геолкомовским коридорам, тесно заставленным ящиками с образцами пород, сновали такие же молодые, как Билибин, горные инженеры. Они тоже кого-то убеждали, кому-то что-то доказывали, рвались на Хибинь, на Кавказ, на Урал, на Алтай. Шел первый год пятилетки.

И Юрий Билибин взлетал по высокой парадной лестнице, распахивал одну за другой все три массивные дубовые двери, звеневшие стеклами, проносился мимо швейцара в старорежимной ливрее и, не дав успокоиться сердцу, летел выше, по ковровым дорожкам мраморной вестибюльной

лестницы, и дальше, по коридорам всех четырех этажей, из одного кабинета в другой.

Казалось, он ненароком зацепит своим плечом какой-нибудь ящик, и горным обвалом загромяхают все эти образцы пород, все камни, и рухнет весь Геолком. А он, Билибин, даже бровью не поведет: некогда, наступил апрель.

Билибин гремел. Но никаким громом, никаким словом не разбудить старичка с беленькой головкой, подпертой накрахмаленным воротничком. Он, один из геологических патриархов, уютно покоемся в глубоком кресле, потирает озябшие, прозрачно-тонкие пальчики и лепечет:

— В нашем старейшем и уважаемом учреждении есть золотое правило: сначала надо заснять местность, потом вести на ней поиски, затем уж детальную разведку. А вы, горячий молодой человек, хотите сразу же заняться разведкой и сулите золотые горы... Но вы посмотрите на эту карту. Она — наша законная гордость, плод многолетних усилий. А что мы видим? Ваш Колымский край окрашен в серый цвет. Он совершенно не освещен, и мы не уверены, насколько точно нанесена сама река Колыма, не говоря уже о прочих речках, нанесенных очень приблизительно и одинаково похожих на...

— Пороссячьи хвостики?

— Дерзостно, молодой человек, очень дерзостно.

— Что — дерзостно? Сравнение или стремление ехать на Колыму?

— Все дерзостно: и сравнение, и стремление, и эта ваша, с позволения сказать, гипотеза о каком-то наборном, из золота, пояске...

— А записка Розенфельда?

— Ну что вы козыряете Розенфельдом? Я припоминаю этого господина, помешавшегося на каких-то золотых молниях... Лет двенадцать назад он, как и вы, добивался в Геолкоме субсидий на Колымскую экспедицию...

— И что же вы ему ответили?

— Благоразумно не поверили. На свете много азартных субъектов. Не спешите записываться в их компанию. А на Колыме вы еще будете. Вот сынок Обручева — тоже рвется на Колыму, серьезный молодой человек, просит два миллиона не под золото, а на географические исследования, но и ему придется годик обождать. В этом году мы отправляем экспедиции на Урал, в Крым, на Кавказ...

— Куда поближе?

— Да, молодой человек, куда поближе. Мы тоже обязаны соблюдать режим экономии...

— Да, да! Режим экономии! — встрял, будто с потолка свалился, Карл Шур, давно известный Билибину. Шур подавал черчение в Горном институте, когда там учился Юрий. В его чертежке, большой, бестолково заставленной комнате, не столько занимались делом, сколько митинговали. «Белоподкладочники» спорили с рабфаковцами, вскакивали на столы и широкие подоконники, размахивали кулаками и рейсшинами, словно мечами, до хрипоты кричали о правах и привилегиях: одни получали стипендии, другие — нет, за учение тоже одни платили, другие — нет. «Белоподкладочники» обзывали рабфаковцев недоучками, рабфаковцы же «белоподкладочников» — недобитыми. Масло в огонь подливал Шур. Он тогда часто цитировал Троцкого: «Студенческая молодежь — вернейший барометр партии!» — и настырно спрашивал Билибина: «А ты, Билибин, по какую сторону баррикады?»

Студент Билибин не прочь был носить форменную тужурку на белой шелковой подкладке, но не имел таковую, у него была красноармейская шинель. От назойливых вопросов Шура Юрий отмахивался словами: «Со всех сторон грызу гранит науки» — и не тратил время на сходки и митинги. В чертежку заглядывал редко, за что Шур и вклеил ему тройку, единственную в зачетке среди пятерок.

Год назад никчемного преподавателя Горного института Шура, хотя он в геологии был, что называется, ни в зуб ногой, перевели на укрепление в Геолком заместителем директора по хозяйственной части. Он встревал во все дела и тут не преминул обрушиться на своего бывшего студента:

— Да, да! Строго соблюдать режим экономии! А вы, Билибин, о режиме экономии слышали? Вы газеты читаете? Резолюцию о шахтинском деле прорабатывали? Знаете, как мы должны относиться к спецам? Конечно, спецедеством мы не занимаемся, но и слепо доверять, особенно таким... — и понес, явно намекая на социальное происхождение Билибина.

Юрий Александрович не выдержал. Он с отцом, в прошлом полковником царской армии, всю гражданскую войну служил в Красной Армии, и никто их не попрекал дворянской родословной, напротив, сам командующий фронтом Тухачевский отметил, что отец и сын Билибины без колебаний встали на защиту Советов... А тут какой-то бывший эмигрант, перелетная птица, который и пороку не нюхал, бывший подпевала Троцкого, теперь перелицевался и говорит о режиме экономии и доверии!

Билибин хлопнул дверью:

— Слышал! Читал!

Он взлетел на верхнюю лестничную площадку и понуро остановился перед скелетом огромного ископаемого динозавра, что красовался под стеклянным куполом здания. Представитель далекой мезозойской эпохи, привезенный с берегов Амура, он при жизни не был хищным, питался одной листвой и теперь показался Билибину самым милым безобидным существом в Геолкоме. А ведь и в мезозое жили хищники-тираннозавры...

Он вышел на проспект Пролетарской Победы, в первом же киоске купил газету и, развернув ее, на ходу стал читать.

На улице в котле варили асфальт. Запах его напомнил Билибину о таежном костре. Юрий Александрович зашагал шире, не отрываясь от газеты. Не заметил, как угодил штилетами в незастывший асфальт.

— Куда прешь, шляпа?

Юрий Александрович посмотрел под ноги и увидел на тротуаре раскатывающего асфальт стоящего на коленках чернобородого мужика, очень похожего на Майорыча.

— Извини, Майорыч! — не обидевшись на «шляпу», весело ответил Юрий Александрович.

— Какой я тебе Майорыч? Шляются тут всякие, следят! А за них перекрывай! А ведь небось про режим экономии читает...

— Точно. Про это самое!

И вдруг Билибина словно озарило:

«Завтра же поеду в Москву, нет, сегодня же, сейчас же, ночным поездом, и буду в Союззолоте просить, принимая во внимание режим экономии, денег на экспедицию в два раза, нет, в три раза меньше, чем прежде!..»

На перроне Октябрьского вокзала толпились в армяках, лаптях, папахах бородатые сезонники, едущие на стройки и торфоразработки, ковылял на деревянном костыле мужик в зимнем треухе, с попугаем на пальце и всем предлагал за пятак дом, красавицу жену, большую дорогу...

ТОВАРИЩ СЕРЕБРОВСКИЙ

В купе «Красной стрелы» он уселся за столик, зажег настольную лампу, попросил крепкого чая с печеньем и начал заново составлять смету. К утру он начисто, еще и еще раз кое-что сократив, переписал ее, подсчитал и вывел об-

щую сумму: шестьсот пятьдесят тысяч рублей. В три раза меньше, чем запрашивал для своей экспедиции Сергей Обручев, а прежде и он, Билибин.

Столица спала, когда Юрий Александрович вышел на перрон Ленинградского вокзала, и тут он с досадой вспомнил, что сегодня выходной день, но все-таки что-то неудержимо потянуло его в Союззолото. На громящем трамвае по безлюдным улицам он добрался до знакомого Настасьинского переулка. Тяжелая скрипучая дверь оказалась не запертой. Билибин увидел в этом добрый знак, надежду на успех.

Прежде он вел здесь переговоры с полненьким, кругленьким человеком, который каждого называл «милейшим», и его самого за глаза звали Милейший. Он внимательно выслушивал посетителя, поддакивал, ни в чем не отказывал, но в заключение всякий раз разводил руками:

— Не все зависит от меня, милейший. Надо мной — акционеры: ВСНХа, Наркомфин, Госбанк... ВСНХа не решит, Наркомфин не укажет, Госбанк не даст, и я без копейки...

Теперь в кабинете Милейшего кто-то громко кричал, вероятно, в телефонную трубку:

— Вы понимаете, о ком я говорю? Поняли! Так приезжайте скорее. Да, да, немедленно! Собираю всех правленцев, акционеров и обо всем расскажу подробно! Жду!

Билибин никогда не слышал этого жесткого голоса, но сразу догадался, кому он принадлежит. Юрий Александрович знал, что Милейший председательствует временно, что еще в прошлом году, когда учреждалось Союззолото, председателем был назначен Серебровский, крупный специалист-нефтяник, награжденный орденом Ленина за восстановление бакинских промыслов, но мало знакомый с золотом, поэтому сразу же командированный на полгода в Америку для изучения золотой промышленности. Теперь он вернулся.

Честно говоря, Юрий Александрович, как специалист по золоту, недоумевал, почему председателем Союззолота назначили нефтяника, не ожидал от Серебровского ничего дельного и вошел в его кабинет с решимостью, граничащей с отчаянием.

— Ага, один уже есть! — воскликнул Серебровский. — Садитесь. — И не дав Билибину назваться, снова закричал в трубку: — Разбудил? Долго почиваете, а я совсем не ложился. Да, да, всю ночь проговорили! Приезжайте быстрее, обо всем расскажу! Чай? Здесь попьем! Жду! — И, опустив трубку, обратился к Билибину: — Вы тоже не

завтракали? Очень хорошо! Организуем чай и бутерброды. Билибин догадался, что Серебровский принял его за члена правления, хотел представиться, но тот уже опять кричал в трубку:

— Да, да, вы помните, как он еще в конце прошлого года говорил мне: «Золото имеет значение не только для усиления валютной мощи страны, но и дает огромный толчок развитию сельского хозяйства, транспорта и всех других отраслей народнохозяйственной жизни, особенно в тех районах, где пока еще ничего этого нет, а с открытием золота все возникает и начинает развиваться». А теперь, выслушав мой отчет о поездке в Америку, снова повторил ту же мысль! Мы начинаем осваивать окраины, приступив сначала к добыче золота... Конечно, если оно там есть...

— Есть! — убежденно вставил Билибин.

— Что? — взглянул на Билибина Серебровский и будто только что увидел его: — А вы, собственно, кто?

— Горный инженер Билибин.

— Билибин? Какой Билибин? Я вас приглашал? Вы за чем пришли?

— Искать золото на окраине, где пока еще ничего нет. Вот смета.

Серебровский взял смету, углубился в нее и лишь порой испытующе взглядывал на Билибина.

Юрий Александрович торопился:

— Просил два миллиона. Теперь прошу втрое меньше. Экспедиция будет геологоразведочная. Без золота с Колымы не вернемся!

— А это — серьезно?

Билибин не понял, то ли смета Серебровскому показалась несерьезной, то ли экспедиция на Колыму. Обиделся:

— Что — серьезно?

— Не обижайтесь, товарищ Билибин. Я тоже страх какой обидчивый. Однажды на самого Ленина обиделся. — И, не отрываясь от сметы, стал доверительно рассказывать: — Организовал я в Турции, на международном рынке, по указанию Владимира Ильича, продажу бакинской нефти. Торговал бойко и выгодно: бензин и керосин продавал, оборудование, одежду, продовольствие закупал. Все, как просил Ильич. А перед отъездом из Турции даже заключил на будущее торговый договор с фирмой «Сосифросс», очень выгодный для нас договор. Думал, Владимир Ильич похвалит меня, а он дал телеграмму: «Договор странный. Где гарантии, что «Сосифросс» не надует?». Пошел я тогда к Серго (он был председателем Кавказского

бюро партии) и стал ему по-дружески жаловаться: Ильич, мол, сомневается в моих деловых качествах, не подать ли мне в отставку? Орджоникидзе плакальщиков не любил, но мне ничего не сказал, а Ленину про это дело каким-то образом сообщил. Не прошло и двух недель, как показывает мне Серго телеграмму: «Читай!» Читаю: «Серебровский не должен обижаться на тон моей телеграммы. Я был обеспокоен судьбой Баку. Серебровского считаю ценнейшим работником... Покажите эту телеграмму Серебровскому. Ленин». Тут у меня слезы... Великое это счастье — доверие! Так что простите, если обидел, но, прежде чем дать вам эти шестьсот пятьдесят тысяч, я хочу поточнее знать, под что даю, под какой вексель? Расскажите все по порядку.

И Билибин, как самому близкому человеку, стал выкладывать Серебровскому все, что у него накопилось на душе.

Черные, острые, под густыми щетинистыми бровями глаза Серебровского впились в инженера:

— Любопытно! Очень любопытно! Знаю я в Америке одного дельца, мистера Вандерлипа. Он занимался когда-то нефтью, имел свои промыслы, потом потянуло его на золото, вместе с англичанином Холтом отправился на Аляску, а позже захотел взять у нас в концессию Камчатку, Охотское побережье, обращался с этим делом к Ленину... Не подбирались ли эти вандерлипы и холты к нашей Колыме? К вашей золотой пряжке? Ведь великие идеи, молодой человек, в воздухе носятся. И тут важно не кто первый схватит, а кто на деле докажет. В Геолкоме, говорите, не верят? Даже смеются! Да, там кое-кто заплесневел. Дзержинский не случайно занимался этим Геолкомом. Но я бы вам не советовал слишком обострять отношения с этой организацией. Она у нас пока единственная, и если мы отпустим шестьсот пятьдесят тысяч, то не вам лично, а Геолкому, а тот уже — вашей экспедиции... Простите, что прервал.

Юрий Александрович еще долго рассказывал и о Борiske, и о Розенфельде, много говорил о Вольдемаре Петровиче Бертине...

— Слышал о нем. Но на Колыму его не отпускаю. У нас в золотой промышленности таких организаторов, как Бертин, — раз, два и обчелся. А нам, как вы сами говорите, надо искать золото еще и на Чукотке!

Пока они беседовали, подходили вызванные по телефону члены правления Союззолота, представители ВСНХа, Наркомфина, Госбанка. Пришел и Милейший. Рассаживались и ждали, когда закончится аудиенция с каким-то горным инженером.

Серебровский не торопил Билибина, вовлекал в разговор присутствующих и наконец обратился ко всем:

— Ну, вот, товарищи, на ловца и зверь... Сегодня ночью Иосиф Виссарионович дал указание расшевелить «золотое болото» и прежде всего на окраинах. А горный инженер Билибин как-будто подслушал наш ночной разговор и, заявившись сюда с утра пораньше, предлагает искать золото конкретно на Колыме и Чукотке. На Колымскую экспедицию уже и смету составил, взгляните. Просит немного, всего шестьсот пятьдесят тысяч. Я думаю, мы эту сумму отпустим. И в этом же году должны направить экспедицию на Чукотку! Товарищ Билибин предлагает начальником Чукотской экспедиции товарища Бертина. Так, Юрий Александрович?

Билибин этого не предлагал, но охотно, с широкой улыбкой, подтвердил.

— Вы, товарищ Билибин, можете быть свободны. Готовьтесь к экспедиции. Впрочем, если хотите — оставайтесь. Вам будет полезно послушать, что сказал товарищ Сталин о развитии золотой промышленности...

Юрий Александрович с волнением слушал рассказ Серебровского о его ночном разговоре со Сталиным. Юрий Александрович понимал, что с этого разговора начинается переворот, революция в золотой промышленности Союза, и он, молодой горный инженер Билибин, составляя этой же ночью смету Колымской геологической экспедиции в поезде «Красная стрела», по счастливой случайности, словно был участником этой революции.

В тот же день из Москвы, с Главпочтамта, Юрий Александрович дал «молнию»:

«Алдан зпт прииск Незаметный зпт Бертину Вольдемару Петровичу тчк Экспедиция Колыму разрешена тчк Эрнесту Петровичу зпт Раковскому предлагаю принять участие тчк Прошу подобрать пятнадцать рабочих зпт быть Владивостоке середине мая тчк Билибин».

БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ

Билибин возвращался в Ленинград ночью. И эту, вторую, ночь не спал: был возбужден. Попросил у проводника крепчайшего чаю:

— Чифирнем, как в тайге!

И снова развернул газету, купленную перед отъездом в Москву. Почти всю третью страницу «Ленинградской

правды» занимала резолюция ЦК партии «Шахтинское дело и практические задачи в деле борьбы с недостатками хозяйственного строительства». Начиналась она с вопроса об отношении к специалистам. Хозяйственники-коммунисты критиковались за слепое доверие к специалистам, за сближение с ними на основе приятельской бытовой смычки, и в то же время указывалось на необходимость создания благоприятных условий для труда специалистов, и на то, чтоб и впредь вести борьбу со спецееством.

Всей душой Билибин поддерживает эту резолюцию. На своем пока еще коротком трудовом пути ему посчастливилось уже дважды встретиться с настоящими хозяйственниками-коммунистами — Вольдемаром Петровичем Бертиным и Серебровским, но кружатся еще над головой такие пахи, как Шур!..

Не заезжая домой, Билибин ворвался в Геолком, чуть не сбив ливрейного швейцара. Геолкомовскому «тиранно-завру», как победитель, милостиво объявил:

— Я только попрошу себе в помощники палеонтолога Цареградского да какого-нибудь астронома-геодезиста, чтоб не заплутаться среди этих... — он попрыгал пальцами по настенной карте, — пороссячьих хвостиков!

Валентина Цареградского об экспедиции он не предупреждал: любил делать сюрпризы. А тот ведь мог и отказаться: институт еще не окончил, жена Катюша только родила ему вторую дочь и прихварывала.

Много лет спустя Валентин Александрович Цареградский о своем знакомстве с Билибиным вспомнит так:

«У Билибина был свободный час между лекциями. Он зашел в пустую аудиторию почитать учебники. С этой целью и в это же время оказался здесь и я. Прежде я видел его уверенно идущим по коридору института. Высокий, прямой, с широко развернутыми плечами, он казался солиднее и старше своих сверстников. Волевое лицо с крупным подбородком, большим лбом, сурово-сосредоточенный взгляд и тонкие, строго поджатые губы делали его несколько надменным. Как и многим студентам, пользовавшимся его конспектами, мне хотелось познакомиться с ним, но я не решался. А тут, в пустой аудитории, он сам подошел, кивнул, спросил, не помешает ли, и присел рядом. Слово за слово, завязался разговор. Я как бы между прочим спросил:

— А вот скажите, почему почти все после окончания института стремятся на Кавказ, в Крым, на Юг, а не на Север или в Сибирь?..

— В Крыму условия весьма привлекают.

— А я бы хотел поехать в Сибирь, на Колыму например. Там нашли целого мамонта. Возможно, есть и другие реликты...

— И я не прочь полазить по тамошним горам.

...Каждый раз при встречах мы возвращались к этим мыслям. Я выбрал объектом своих будущих исследований Колыму. Березовский мамонт-то был найден там...»

И вот в самом конце апреля заведующий секцией золото — платина Геолкома Хлопонин пригласил к себе студента Цареградского и неожиданно спросил:

— Не хотите ли поехать на Колыму?

У Цареградского, как он вспоминал пятьдесят лет спустя, «даже дух захватило». Сбывается его мечта! Но ответил не сразу, смутился:

— Я поехал бы, но должен в это лето работать на Алдане...

— Вот и хорошо, что даете согласие. На Алдан на ваше место подобрать проще, пусть это вас не беспокоит. А как у вас с институтом?

— Осталось сдать два предмета и защитить диплом.

— Надо сдать и защитить. На Колыму поедете на полтора года, а может, и больше. Институт нужно закончить.

Все это он мог сделать и раньше, ведь в институт поступал с Билибиным одновременно, но последний год растянул на два по семейным обстоятельствам. Теперь же, когда вдруг предложили Колыму, решил немедленно ликвидировать все задолженности, пошел в ректорат, но там развели руками:

— Поздно. Идите к председателю комиссии профессору Болдыреву, может, сделает исключение...

Болдырев не допускал никаких отклонений от институ-ских правил, но, выслушав Цареградского, сказал:

— На Колыму? В качестве палеонтолога? Заманчиво! Что ж, сделаю для вас исключение, если сумеете за оставшийся короткий срок собрать все необходимые рецензии. Попросите оппонентов держать вашу работу не более двух дней, иначе не уложитесь...

Цареградский так и сделал, и 14 мая защитил диплом на тему: «Мозозавры в современном научном освещении», получил квалификацию горного инженера, разыскал Билибина, чтоб с радостью сообщить ему и об окончании института, и о предложении Геолкома ехать в экспедицию на Колыму.

Юрий Александрович пожал ему руку:

— Весьма рад, поработаем вместе!

Тогда же, в мае, Гезлком направил в Колымскую экспедицию и астронома-геодезиста для триангуляции и определения сети астрономических пунктов с целью уточнения карты.

Билибину астроном представился так:

— Митя.

— Кто?

— Митя Казанли.

Билибин окинул с высоты своего роста щупленького паренька, пухлогубого, с бюзово-небесными глазами, невольно подумал о нем: романтик, стремится к звездам. И не очень ошибся.

Митя стремился к звездам с детства. Десяти лет, в Ессентуках, где лечился отец, Митя убежал из дому и попытался совершить восхождение на гору Машук, но не добрался. Его нашли, вернули и на вопрос отца, зачем ему сдалась гора, Митя ответил:

— На горе небо ближе.

Отец, чувствуя, что болезнь ведет его к концу, говорил: «За дочку я не беспокоюсь, но Митя... У него умная голова, но...» Отец умер накануне революции. В тот год Митя бегал за матросами, опоясанными пулеметными лентами, видел, как они брали штурмом Зимний дворец.

Билибин, определив на глаз, что перед ним романтик-звездочет, не без ехидства спросил:

— Стихи пишете?

— А что? — ошетинился Митя.

— Ничего. Пригодилось бы при составлении отчета.

— Нет, не пишу. А на скрипке играю. У меня отец — известный музыкант, пропагандист русской музыки. В энциклопедии о нем читали? А я, как вам известно, астроном-геодезист.

Небесноглазый астроном не отличался ни застенчивостью, ни скромностью, но не хвалился. Видно было, что ему все равно, что о нем Билибин подумает, и говорил он прямо, открыто, без всяких подтекстов.

— В армии, разумеется, не служил, — сказал Билибин почти с уверенностью.

— Служил. Четырнадцать лет вступил добровольцем в РККА, уговорил отправиться на фронт и свою мать. Вместе служили при штабе Седьмой армии: я — связистом-самокатчиком, она — писарем-переводчиком.

— Вот как? А я с отцом служил при штабе Шестнад-

цатой, и мне приходилось бывать и писарем, и учетчиком...

— В двадцатом году после приказа о демобилизации из армии женщин и несовершеннолетних меня перевели в трудовую на Гатчинский хлебозавод. Там работал и учился. Сначала в дневной школе, потом перевелся в вечернюю, закончил ее, поступил в университет на астрономо-геодезическое отделение физико-математического факультета.

Юрий Александрович видел в астрономе и что-то наивное, и очень серьезное.

— Геодезистом работали? Астропункты устанавливали?

— Работал. Устанавливал. В Криворожье. В Карелии.

— Но Колыма не Криворожье и даже не Карелия.

— Знаю. Край суровый, неисследованный, потому и еду.

— Ну, что ж, Дмитрий Николаевич, едем вместе.

На другой день Митя сдавал последний экзамен. Он отвечал по теории относительности, говорил о координатах времени и пространства. Экзаменатор увлеченно слушал его и, сам глуховатый, гудел ему на ухо:

— Хорошо, мой друг, хорошо! Несколько лет углубленной работы, и кафедра вам обеспечена! Я предлагаю вам остаться в университете...

— Я еду на Колыму.

— К кому?

— На Колыму! Договор заключен. Деньги в кармане!

— Забавный молодой человек!

Мите оставалось защитить диплом, но это он считал формальностью: «Приеду с Колымы — сделаю». Он побуждал по магазинам закупать топографические сумки, рюкзаки, светящиеся компасы и самопишущие ручки, книги по геодезии, астрономии и многим другим наукам, которые не мог купить на стипендию, обзавелся карабином и патронташем.

Своей квартиры Митя не имел. Все купленное он приносил в комнату сестры, заваливал все стулья, диван и стол, и вскоре комнатуха в шестнадцать квадратных метров превратилась в склад Колымской экспедиции.

Митя привел сюда и Цареградского, представил сестре Ирине:

— Мой друг Валентин. Едем вместе.

Оба они пришли в новеньких кожаных тужурках со всевозможными ремешками и пряжками. На голове у Валентина фуражка с лакированным козырьком, с горняцкими молоточками, у Мити — большая кепка блином.

Митя и Валентин притащили с собой аппаратуру, приборы, большие ящики для укладки вещей. Список снаряжения, составленный Билибиным, был велик. К сборам привлекли и Ирину. Попросили ее сшить сто маленьких, как кисеты, мешочков для колымского золота и других ценных образцов.

В один из этих хлопотливых дней к Ирине пришел приятель Коля Корнеев. Он только что окончил Академию художеств. Сын портного очень гордился дипломом архитектора, но распределением был недоволен:

— Что я там буду делать — в Новгороде? Я хочу строить новое, а не копошиться в обломках прошлого.

— Я помогу тебе, — вдруг уверенно заявил Митя. — Видишь, сестра шьет мешочки? Это для золота. Я еду на Колыму и могу тебе предложить в нашей экспедиции должность завхоза. Поедешь на Колыму — тебя наверняка освободят от Новгорода.

Коля вытаращил глаза. Митя, имея голову, полную неожиданных идей, часто так вот оgoroшивал. Коля захохотал. Митя, оставаясь серьезным, развернул карту, положил ладонь на Крайний Северо-Восток.

— Видишь, пусто, ни одного города. Здесь мы найдем золото и начнем строить города. Ты будешь первым архитектором первого города на Колыме. Тебя это устраивает?

Коля Корнеев перестал смеяться. К вечеру они, Митя и Коля, договорились: завтра встретятся в Геолкоме, Митя представит Билибину Корнеева как способного завхоза, по совместительству художника, а в будущем архитектора.

Коля сомневался только в одном:

— Возьмут ли меня?

Ирина успокоила:

— Возьмут. Чудаков ехать на край света немного.

Корнеева зачислили в экспедицию, и он тотчас же выехал во Владивосток: там его уже ждали алданцы.

Семнадцатого мая выезжали туда же и они трое — Билибин, Цареградский, Казанли. Провожавшие: мать Билибина, жена Цареградского, сестра Казанли, — как водится, всплакнули перед долгой разлукой, надавали кучу нужных и ненужных советов. А сами отъезжающие, казалось, и не думали о том, что их ждет, были веселы, шутили, словно предстояла загородная прогулка...

ЧТО СКАЖЕТ ДЕМКА?

— На Колыму!!! — радостно закричал Эрнест Бертин, когда пришла на Алдан телеграмма Билибина. — Серега, в-в-выдвиженец, едем?!

У его закадычного друга Сергея Раковского крылышки вольного искателя подрезали, и сам он остепенился, когда его по рекомендации Вольдемара Петровича поставили начальником Ылыммахского разведрайона.

Отвечать Эрнесту Сергей не стал, лишь сам спросил:

— А Вольдемар Петрович отпустит?

— Отпустит!

И тогда Раковский схватил лист бумаги и карандаш, первым записал себя, потом Эрнеста, сверху вниз поставил пятнадцать цифр:

— Кого еще?

Старика Майорыча, якута Седалищева, забайкальца Чистякова, весельчака Алехина и Степана Степановича Дуракова с его собакой Демкой записали, не спрашивая их согласия, знали, что с радостью поедут. Со Степаном Степановичем Сергей старался на Алдане пять лет неразлучно.

Степан Степанович говорил Раковскому:

— Гуляй, студент, на учебу заработаем! — И гуляли, а институт у Сергея, ушедшего подзаработать на прински со второго курса, оставался только в мечтах.

Бывший лейб-гвардии гренадерского полка рядовой, а позже артиллерист Красной Армии, Степан Степанович был старше Сергея всего лишь на шесть лет, но почитался им, рано осиротевшим, за отца родного. Под началом Степана Степановича прошел Сергей все таежные науки. Добычей золота они не увлекались, где фартило, не задерживались, любили искать, бродить по неведомым тропам. Такими были и Алехин, и Чистяков, и Майорыч, и якут Седалищев.

Пятерых записали. Для вербовки остальных вывесили объявление на двери гостиницы «Золотой клоп». Сами паниматели сняли лучший номер, украшенный живописно раздавленными паразитами. Эрнест по-барски развалился на промятом топчане, Сергей по-турецки скрестил ноги на таком же сиденье. Главным советником пригласили Степана Степановича. Он восседал на единственной табуретке и молча попыхивал трубкой. У его ног лежал не совсем чистой породы сеттер по кличке Демка, или Демьян Степанов. Он-то, пожалуй, и был главным «советником» по вербовке.

Народ валял разный: незадачливые копачи, промотавшиеся до последних портков, фартовые, неумно жадные до фарта и всякие аховые. На всех Степан Степанович имел свой опытный взгляд, но, поскольку по натуре своей был человек деликатный и не мог никому отказать прямо, спрашивал пса:

— Ну, что, Демьян, возьмем?

Демка, польщенный обращением хозяина, тотчас же постукивал хвостом, будто молотком на аукционе, и после этого единогласно объявлялось:

— Берем!

А если Степан Степанович считал кого неприемлемым и не обращался к Демьяну, то пс хвостом не стучал, и протесту неопределенно отвечали:

— Подумаем...

Вошли двое. Молодые, здоровые, рослые, в красноармейских шинелях и буденовках. Один назвался Мишей Лу-неко с Амура, другой Андреем Ковтуновым. Андрей будто прятался за спиной Миши, а тот отвечал на все вопросы.

— Служили? — спросил Раковский.

— Служили. В артиллерии. Я — старшиной, он — кан-тенармусом.

— В г-горном деле м-м-маракуете? — строго спросил Эрнест.

— Нет, не маракуем. Работали старателями две недели.

— И м-много з-з-заработали?

— Восемьсот рублей... з-закопали.

Наниматели засмеялись. Сергею ребята понравились: молодые, здоровые, а главное, честные: цену себе не наби-вают. А Степан Степанович молчит, и пс молчит.

— Ну, как, Степан Степанович, возьмем? Ребята в Красной Армии служили, артиллеристы...

— Ходить много придется, — говорит наконец Степан Степанович. — От Невера сюда пешком шли?

— Нет. Приехали на почтовых оленях.

— А придется много ходить... Сапоги-то чинить умеете?

— Нет.

— А плотничать?

— Нет.

— А работы боитесь?

— Нет.

Тут и Степан Степанович засмеялся: все нет да нет, как из пушки в одну цель пристрелялись.

— Ну, Демьян, возьмем артиллеристов?

Демка ответил утвердительно. Раковский спрыгнул

с топчана и радостно, как будто приняли его, пожал ребя-там руки. А они, Миша и Андрей, вышли из помера, не сов-сем поняв: взяли их или пошутили над ними? Растерянно улыбались.

— В коридоре толпа спрашивала:

— Взяли?

— А что Демка-то сказал? Хвостом ударил?

На другой день наниматели вывесили полный список всех зачисленных в Колымскую геологоразведочную экспе-дицию. В этом списке увидели свои фамилии Миша и Анд-рей. Были в нем Петр Лунев, партиз и тоже бывший крас-ноармеец Евгений Игнатьев, отчаянный мужик с перебитым на германской войне носом, трое веселых алданцев — Яша Гарец, Кузя Мосунов и Петя Белугин и еще Тимофей Аксенов, хлебобор, Кирилл Павлюченко и Серов Степан.

Вольдемар Петрович Бертин список одобрил, заметив:

— Забрали у меня всех лучших.

Поднимались алданцы недолго. Ничем и никем не обре-мененные, авансы — в карманы, сидора на плечи, напут-ствуемые алданским комиссаром, потопали. Переваливали хребты Яблоновый, Большой и Малый Немныры, спуска-лись в широкие долины, переходили наледные, в зеленова-тых подтеках реки и речки. Шли от зимовья к зимовью, от стана к стану, от рассвета до заката.

От Незаметного до Невера, станции Забайкальской же-лезной дороги, — семьсот верст с гаком, почти месяц хоро-шей ходьбы, оттопали за пятнадцать дней.

Перед Невером, в селе Ларино, бывшей резиденции амурского золотопромышленника, шиканули, как в стари-ну: откупили на всю ночь ресторан и крутили граммо-фон, пока не сорвали пружину. На станции подсчитали фи-нансы и не наскребли на самые дешевые бесплацикартные билеты.

Раковский отстучал Билибину пространную телеграм-му: не скупясь на слова, расписал успешный переход всех пятнадцати алданцев, Эрнеста и Демки с Незаметного на Невер, в конце смиренно попросил подкинуть еще авансик.

Через пять часов получили ответ: «Перевел тысячу. Ду-маю, до Владивостока хватит». Деликатно, одним словом «думаю» Юрий Александрович и попрекнул, и посоветовал тоже думать... Пошел Сергей вместе с Эрнестом на почту получать эту тысячу, а там загвоздка: нет таких денег в на-личии, надо ждать дня три-четыре, может, накопятся. Ждать всем табором — только проедаться. Выпросили сколько есть, а остальные пусть переведут во Владивосток.

Стали ждать поезд. Пришел транссибирский экспресс. Он стоял на Невере минуты, а сесть оказалось не так-то просто: один проводник не пускал Демку без намордника, другой — без билета, кое-как уговорили третьего, сунув ему красненькую. Устроились на нижних лавках, Демку — под лавку. Воспитанный на воле, пес был весьма недоволен: выл, ворчал и даже лаял. Пассажиры грозились высадить вместе с Демкой всех алданцев.

Во Владивостоке — новые неприятности. Ливрейный швейцар гостиницы «Версаль» с нескрываемым презрением оглядел Эрнеста с его лохматой шапкой и раскисшими торбасами, Сергея в куртке с подгорелыми полами и отрезал: — Номеров нет.

Тогда Эрнест постучал по жестяному объявлению:

— К-к-как нет? Ч-ч-читай! «Шестьдесят уютно обставленных номеров с-с-с удобствами, ванны, два р-р-ресторана, д-д-джаз с утра до трех ночи, б-б-бильярдная и т-т-тэ д-д-дэ». А говоришь, номеров нет? Т-т-телеграмму получили? «З-з-забронировать номер для экспедиции. Б-б-бертин и Р-р-раковский»?

Подействовал ли эрнестовский рык или фамилия Бертин, известная на весь Дальний Восток, но швейцар и подлетевший администратор вмиг преобразились:

— Для товарища Бертина номер оставлен.

— Бертин — это я! Раковский — он!

— Извините, товарищ Бертин. Пожалуйста ваш сидорок, товарищ Бертин.

Эрнесту и Сергею предоставили роскошный номер из трех комнат с кабинетом, камином, зеркалами, резными шкафами. Как тут терять марку золотоискателей! Пошли в модный магазин, вырядились как парижские франты, даже лайковые перчатки натянули. За гостиницу расплатились за полмесяца вперед и с форсом: сдачу не взяли. В главный ресторан «Версаль» пригласили всех своих рабочих-алданцев, разместившихся в меблированных комнатах «Италия», и до трех часов ночи, пока играл джаз, отмечали свое прибытие на берега бухты Золотой Рог.

На другой день получили телеграмму Билибина: «Отдыхайте, скоро приеду». И «отдыхали»: скоро от той тысячи ничего не осталось. Просить у Билибина еще аванс Раковский постеснялся. Началась такая безденежная пора, что хоть продавай обратно лайковые перчатки. Все, что могли толкнуть на Семеновском базаре, толкнули. Даже байковые одеяла из меблированных комнат «Италии» потихоньку сплавляли: придет Билибин — расплатимся. На деньги

от одеял покупали соленую кету, она стоила дешевле хлеба. Днем съедят кетину, запьют водичкой, вечером — то же: обед и ужин. В тайге голод переносить легче: там голод — для всех голод, а тут, как в Европе, на каждом шагу французские булочки, венская сдоба, пиво «Мюнхенское», а ты глотай слюнки...

А Билибин все не приезжал, только телеграммы присылал: скоро да скоро. А уже шла вторая половина мая. Наконец прибыл его заместитель по хозяйственной части Николай Павлович Корнеев. Все к нему, как к богу:

— Деньги давай!

Деньги шли за ним следом. Всей оравой двинулись на почту. А там — новое дело: перевод пришел, но не на Корнеева, а на Корнева. Где-то кто-то одну букву поленился написать, а завхоза чуть не избили за то, что он Корнеев, а не Корнев. Пока выясняли, уточняли, подтверждали — бедствовали еще три дня.

Наконец перевод получили, завхоз заключил со всеми договоры, выдал все, что причитается, избрали профуполномоченного и взялись за дело: начали закупать инструменты, хозяйственную утварь, одежду, продовольствие...

В конце мая приехали во Владивосток Билибин, Царегородский и Казанли. Юрий Александрович сразу же всю подготовку взял в свои руки, установил строгий порядок: каждый с утра занимался делом, вечером все собралось вместе, отчитывались, предъявляли остатки денег, оправдательные документы на истраченные, намечали, что делать завтра, получали новые суммы на расходы и все вместе отправлялись в ресторан «Золотой рог» обедать и ужинать заодно.

Все шло хорошо. Юрий Александрович нашел общий язык со всеми солидными организациями: Совторгфлотом, Акционерным Камчатским обществом, Комитетом Севера. Только в Дальгеолкоме и Дальзолоте попытались было вставить палки в колеса. Оказалось, они сами намеревались заняться поисками и добычей золота на Колыме, назначили туда своего уполномоченного и уже направили туда с первым пароходом артель рабочих. А он, Билибин, вроде бы свалился как снег на голову и только мешает им.

Местные деятели могли оказать куда более серьезное сопротивление, чем тираннозавры Геолкома. Получалось, что Билибин понапрасну добивался в Москве и Ленинграде организации экспедиции, что он лезет куда его не просят. Поначалу Юрий Александрович растерялся. Давать телеграмму Серебровскому? Но вдруг Серебровский даст ука-

знание расформировать экспедицию Билибина, раз Владивосток посылает свою?..

Однако Билибин, видимо, родился в рубашке: Серебровский сам приехал с инспекцией во Владивосток.

Он быстро разобрался в ситуации. Оказалось, Дальгеолком и Дальзолото никакой экспедиции на Колыму не организовывали, а старательскую артель послали наобум, преждевременно. Словом, Серебровский посоветовал местным руководителям никаких препятствий Билибину не чинить, а своими делами заниматься посерьезнее. Отошло время золотых лихорадок, начинается планомерное, на научной основе, развитие золотой советской промышленности.

ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ КОРОЛЬ

У Совторгфлота на Дальнем Востоке своих пароходов было мало. Плыть предстояло на зафрахтованном японском «Дайбоши-мару», дряхлой, изъеденной ржавчиной посудине. Ее, пятнадцать лет пролежавшую на дне, подняли недавно и пустили по рыбалкам Охотского побережья.

Билибин при посадке озорно пошутил:

— Колумб плавал на «Святой Марии», а нам приходится на какой-то «Дай бог шмару...»

Все захохотали, и даже очкастый японец в черном кимоно, который стоял у трапа под клеенчатым зонтом и неразборчиво выкрикивал по списку пассажиров, захихикал, хотя, вероятно, и не понял, как обозвали его галошу.

В дождливую теплую ночь двенадцатого июня 1928 года расставались с огоньками бухты Золотой Рог. Молча и долго стояли на мокрой палубе, прикрываясь плащами и рисовыми циновками.

В Японском море судно сразу же окутал туман, такой непроглядный, что с кормы не было видно носа, и посудина будто стояла, лишь в пенястом шлейфе за винтом было заметно какое-то движение. Сквозь туман не разглядели остров Хоккайдо, вслепую прошли опасный пролив Лаперуза. В Охотском море туман сгустился и начало покачивать.

Далькрай навязал экспедиции врача, так как на все Приколымье не было даже ни одного фельдшера. Билибин взял в свой штат престарелого доктора Переяслова, не без ехидства спросив, кого он, кроме себя, будет лечить... При первой же качке лицо Переяслова стало похоже на незре-

лый лимон, и старик проклинал медицину, которой отдал жизнь, а она не придумала для него никакого снадобья от морской болезни.

Беспокоили Билибина сильные гудки «шмары»... Для инженеров и доктора матросы по приказанию капитана сколотили из горбылей каюту с двухъярусными нарами, поставив ее на палубе у самой трубы, и громкие, протяжно хриплые гудки, издаваемые пароходом через каждые пять минут, дабы не столкнуться с другим судном, действовали на нервы пассажиров, не давали глаз сомкнуть.

Спотыкаясь о снасти, разбросанные где попало, по облитой воющим мазутом палубе Юрий Александрович добирался до борта, задремывал на какой-то миг и вздрагивал, лишь захрапит гудок.

Цареградский качку переносил легко, но гудки и его выматывали. Тонкие губы перекосила кислая усмешка. Все поэты, воспевавшие море, казались лжецами. Альбом для зарисовок он не доставал, фотоаппарат не открывал.

Лишь Миндалевич, уполномоченный Дальзолота, — он плыл со всем семейством в трюме — инженерам завидовал:

— Как буржуи плывете, в каюте. И почему капитан услужил только вам?

Билибину этот губастый Миндалевич сразу как-то не понравился, и не хотелось с ним говорить.

Ответил Цареградский:

— Мы вам охотно уступили бы свой люкс, но вы и ваша супруга проклянете нас за одни эти гудки...

— Да ладно... Мы и в снегу почевали, нам и трюм привычен. На Севере что главное? Непритязательность. Завернулся в шкуру и спи. Непритязательность и терпеливость. Велят ждать — жди. Жди пароход, который неизвестно когда придет. Жди каюров, которые перед дорогой пьют чай часа три, а ты сиди и жди. Сам не торопись и других не торопи. Да и куда торопиться? На кладбище, что ль? На Севере и на кладбище можно не спешить. Труп, хотя и скоропортящийся товар, тут может лежать долго, а закопают в мерзлоту — тысячу лет пролежит... Я тут, в Охотске и Оле, пять лет уполномоченным Дальгосторга служил, а это в тутошних краях — бог и царь! Потому что на Севере главное — торговля, еще раз торговля и тысячу раз торговля! Через нее все снабжаются, все питаются, через нее государству — пушнина и золото. Я ныне уполномоченный Дальзолота. Первый золотой король! А Дальгосторг передали Лежаве-Мюрату... Имя у него громкое. Был председателем Государственного резинотреста, слышали? А те-

перь вот — в наших отдаленных краях... А я мог бы и раньше ухватиться за колымское золото. В позапрошлом году приехал ко мне в Охотск этот... Поликарпов. Бородатый, черный, как цыган, и сам без роду без племени. По Колыме бродил, а ко мне приехал заявку делать...

Билибин наострил уши, но вида не показал.

— Да, приехал заявку делать, а золото, подлец, не дает. Я к нему и так и этак, всю политику пустил. Не клюет, подлец.

— Так-таки и не показал золото?

— Показал бы, товарищ Билибин! Я его тогда крепко прижал! В тюрьму посадил! Не выложишь золото — не освобожу! И выложил бы, да прокурор нагрянул. Ему бы, законнику, совместно со мной, ради госторговли, потрясти этого хищника... А он, буквоед, за отсутствием улик его освободил, а меня чуть не посадил якобы за нарушение законности. Но не на того нарвался! Я в двадцать втором...

— А может, Поликарпов не имел золота?

— Имел, товарищ Билибин. Чутье говорит, имел. Уж теперь-то я до него доберусь! Слышал, опять в Охотске обретается...

Но не доплыли еще до Охотска, как покатила на закат звезда «золотого короля» Миндалевича. Бросили якорь на рейде рыбацкого селения Иня. С берега Миндалевичу доставили телеграмму. Лежава-Мюрат из Охотска приглашал его на радиостанцию для важного разговора и в той же телеграмме спрашивал, кто плывет, сколько человек, сколько груза. Миндалевич отправился на шлюпке в Иню. Разговор у него с Лежавой-Мюратом был не из приятных.

Лежава-Мюрат знал хорошо, кто такой Миндалевич, поэтому весь телефонный разговор приказал записать.

МЮРАТ. У аппарата Лежава-Мюрат. Здравствуйте. Прежде всего, имеете ли Вы лично что ко мне? Отвечайте на заданные мною в телеграмме вопросы.

МИНДАЛЕВИЧ. Здравствуйте. Отвечаю. Главное, еду совместно с исследовательской геологической экспедицией. Указанная экспедиция на основании директив центра...

МЮРАТ. Подробности не нужны. Когда пароход зайдет в Охотск?

МИНДАЛЕВИЧ. Предполагаем прибыть в Охотск через шесть дней.

МЮРАТ. Передаю важное для Вас распоряжение. Правление Союззолота семнадцатого июня передало мне полное руководство работами по Колымскому краю. Вы лично поступаете в полное мое распоряжение. Условились

с Союззолотом использовать Вас, если согласитесь и совместная работа окажется возможной. В первую очередь Вы должны ознакомить меня со всеми планами, вручить все материалы, совместно с ответственными работниками экспедиции пересмотреть весь план работы, что лучше сделать в Охотске. Сможете ли немедленно выехать с ответственными работниками, не дожидаясь отхода парохода? Каждый час дорог. Желательно избежать по поводу лишних разговоров. Подумайте, отвечайте, жду.

МИНДАЛЕВИЧ. Отвечаю. Передам начальнику экспедиции Ваше предложение выехать в Охотск. В крайнем случае, выеду один.

МЮРАТ. Хорошо. Имею еще ряд вопросов. Сколько на пароходе ваших людей и груза?

МИНДАЛЕВИЧ. Тридцать пять человек, включая мое семейство. Груза с инструментами, возможно, наберется до пятнадцати тысяч пудов. Вполне понимаю, что главное — учет транспорта...

МЮРАТ. Сделаны ли Вами предварительные распоряжения по организации транспорта в Оле?

МИНДАЛЕВИЧ. Экспедиция запрашивала Олу. Ответ не получен. Имеется ряд конкретных соображений по выходу из данного положения. Удобнее обсудить при личном свидании... Дальзолото настаивало, чтобы я взял в Хабаровске сто-двести человек старателей. Я отказался до выяснения с Вами вопросов снабжения...

МЮРАТ. Очень хорошо поступили, но, по сообщению из Владивостока, на «Кван-Фо» едут какие-то рабочие, везут груз. Что Вам об этом известно?

МИНДАЛЕВИЧ. Перед моим отъездом из Владивостока, несмотря на мой категорический отказ, выслали четырнадцать человек старателей, отобранных специально для первой необходимости...

МЮРАТ (перебывает). Товарищ Миндалевич! До моего вмешательства Дальзолото во главе с Перышкиным наделало ряд несуразностей, в том числе в Охотске, что я сейчас решительно ликвидирую. Положение создается необычайно трудное. Нам всем предстоит каторжная работа, выдержка, предусмотрительность. Передайте всем ответственным сотрудникам мою большую просьбу к происшедшим персональным изменениям отнестись спокойно, со всей серьезностью к создавшемуся положению. Буду рассчитывать на полную искренность, готовность сотрудничать, решительность и дисциплину. Можете вызывать по поводу в любое время. Помимо меня с Хабаровском и Москвой не

спосится во избежание новых противоречий. Жду Вашего и товарища начальника экспедиции приезда с нетерпением. Ознакомьте его с содержанием нашей беседы. Будьте осторожны лично в отношениях со старыми знакомыми. Вокруг Вашего имени здесь создано неблагоприятное положение, с чем необходимо считаться. Я кончаю, если не имеете дополнительных сообщений. Сейчас Вам передадут распоряжение Союззолота, подождите приема телеграммы № 32437 Перышкина. До свидания.

Миндалевич дождался телеграммы, которую можно было и не ждать. Она сообщала известное: «Ряду обстоятельств руководство передаем Мюрату тчк Вы поступаете полное его распоряжение выданную Вам доверенность передайте Мюрату тчк Перышкин».

— Точка. Перышкин,— подытожил Миндалевич, порвал телеграмму на мелкие клочки и, посыпая ими свой след, поплелся на пароход.

Билибину Миндалевич в двух словах передал разговор с Мюратом и его предложение, но в таких словах, что Юрию Александровичу не захотелось срывать с парохода и скакать на лошадях в Охотск к Мюрату. Не будет ли этот Лежава еще одним камнем преткновения на тяжком пути к Колыме?

Билибин ответил:

— Нет, на лошадях в Охотск не поеду. Да и куда торопиться, товарищ Миндалевич? На Севере, как вы сами говорили, спешить некуда и незачем.

Миндалевич поскакал из Ини в Охотск один.

ВТОРОЙ ЗОЛОТОЙ КОРОЛЬ

В Охотском порту для супруги Лежава-Мюрата сгружали рояль. Когда его спускали в кунгас и подгоняли по волне к берегу, он издавал никогда не слыханные в этой глухомани звуки. Его владелица, в длинной черной юбке и пышной белой кофте, нетерпеливо похаживала по отмели, вертя шелковый, радужной расцветки зонтик.

Капитану «Дайбоши-мару» она почудилась очаровательной гейшей.

— Хоросая барышня!

Капитан, в соломенной шляпе и желтых лакированных штиблетах, сам спустился в кунгас и поторапливал своих гребцов. На этом же кунгасе отплыли на берег Билибин и Бертин. Эрнеста Юрий Александрович взял на всякий

неприятный случай и ради представительства: все-таки родной брат известного Бертина!

Пошуршали по дресве Билибин и Бертин. Триста лет назад так же по этой же дресве ради прииска новых земель шли казаки-землепроходцы, ставили здесь Охотский острожек и, неся цареву службу, терпели великую нужду.

Юрий Александрович и Эрнест издали увидели дом, посolidнее прочих, в который шустрые японцы-матросы вносили дорогой инструмент. Дом стоял на площади, напротив церкви. Вошли в него и они.

Эрнест, проинструктированный начальником, с порога бахнул:

— Б-Б-Бертин!

Юрий Александрович ему в тон:

— Билибин!

Но Лежаву их голоса не оглушили. Он чуть ли ни облобызал желанных гостей. Он их ждал почти полмесяца. Сразу же усадил за стол, уставленный вином и яствами, и сразу же предложил приступить к деловым переговорам.

Однако его супруга, Жанна Абрамовна, истосковавшаяся по столице, бесцеремонно оттеснила мужа, представилась Билибину как бывшая московская актриса и жадно начала расспрашивать о Москве, Ленинграде, а когда узнала, что известный художник Билибин, завсегдатей артистических кафе,— дальний родственник Юрия Александровича, то ударились в воспоминания, пересказала множество каламбуров и острот художника Билибина, и все это под легкую музыку своего новенького рояля.

Лежаве-Мюрату ничего не оставалось, как вести деловые переговоры под эту же музыку и самому произносить тосты впережку с анекдотами. На это он был неистощим как истинный кавказец.

Билибину и Бертину ничего не оставалось, как слушать и поднимать бокалы.

Лишь Миндалевич сидел в этой компании как в воду опущенный.

Зашла речь и о колымском золоте. Лежава-Мюрат извлек из сейфа невзрачную бутылочку из-под сакэ, тяжелую, как граната.

Билибин так и впился в нее:

— Золото? С Колымы?!

Юрий Александрович осторожно, обеими руками, как младенца, взял посудину, высыпал из нее пяток золотинок на ладонь, рассматривал их и на свет, и против света, любясь матовым мерцанием.

— Здесь два фунта, а Поликарпов говорит, что намыл бы два пуда, да отощал, все запасы съестного у него вышли... Точного анализа пока нет, но предварительно мною установлена восемьсот восемьдесят восьмая проба.

— Да, посветлее будет алданского,— заметил Эрнест,— да и мелкое, как козявки. Может, Юрий Александрович, вернемся? На что нам мелочь?

Лежава-Мюрат шутить не собирался:

— Из-за этих козявок, товарищ Бертин, после того как их показал Поликарпов в этой бутылочке, вся моя епархия взбесилась! Двести приискателей работу побросало! В Охотске всех лошадей скупили, в лавке все припасы забрали! Не придержи я этот народец — вспыхнула бы золотая лихорадка, страшнее, чем в книжках Джска Лондона. А с меня, с Лежавы-Мюрата, как с молодого барашка, шкуру долой, а мясо на шашлык. Куда вы, говорю, сумасшедшие? На голодную смерть? В Хабаровск, Владивосток, в Москву молнировал: решительно прошу запретить въезд на Колыму. Добился! Кордоны выставили. Стихию осадил. Но всякое дело — палка о двух концах. Страна сколачивает золотой фонд. И если на Колыме, в моей епархии, открылось золото — значит, надо форсировать его добычу. Иначе тебя опять на шашлык, как барана-оппортуниста. И я форсирую. Привел к себе Поликарпова, посадил вот за этот стол, накормил-напоил, предложил по всем законам оформить заявку на имя Союззолота и пообещал назначить его старшим горным смотрителем на первый колымский прииск. И вознаграждение за находку золота, и руководящая должность! Вот так вот! — Мюрат метнул торжествующий взгляд на Миндалевича; тот хотел вроде возразить, но только поморщился.— И вот она — эта заявочка. И я от имени Союззолота и лично товарища Серебровского прошу вас, товарищ Билибин и товарищ Бертин, проверить ее на Колыме.

Юрий Александрович, волнуясь, взял заявку Поликарпова. Где погиб Бориска, да и нашел ли он золото — точно никто не знал. Розенфельд в своей записке и на карте не указывал, где он видел жилы, подобные молниям. Экспедиция ехала без адреса, без привязки. А в заявке Поликарпова все точно обозначено: речка Хиринникан впадает справа в Колыму, устье ключа Безымянного — в двадцати верстах от устья Хиринникана.

Билибин обнял Лежаву-Мюрата:

— Дорогой кацо! Я с великим удовольствием проверю эту заявочку товарища Поликарпова и выполню задание

ваше, товарищ Лежава, и товарища Серебровского, которого я имел счастье дважды видеть! Мы будем искать золотую пряжку Тихого океана в долине ключика Безымянного!..

Юрий Александрович просил познакомить его с Поликарповым.

Лежава-Мюрат вопросительно посмотрел на Миндалевича, сидевшего насупленно, как сыч, и развел руками:

— Невозможно. Сейчас Поликарпова в Охотске нет, он на приисках. Но я направлю его на Колыму, и там вы найдете с ним общий язык. Мужик умный и честный.

Переговоры продолжались всю ночь. Обсудили все вопросы: и транспортные, и продовольственные, и как организовывать добычу золота.

Под утро Билибин, Бертин и Миндалевич вернулись на пароход.

Капитан «Дайбоши-мару» встретил их вежливыми упреками:

— Нехоросо, господа. Задерска, господа.

— Пардон, капитан! Поднимай якоря, капитан! Форсируй!

— А иначе — с-с-саслык! И не видать вам хоросей барысни!

В каюте Билибин всех поднял громовым голосом:

— Возрадитесь, догоры! Мы будем танцевать от печки! — и шепотом: — Я держал на ладони колымское золото.

ОЛЬСКОЕ СИДЕНИЕ

ХРОНИКА СЕЛЕНИЯ ОЛА

Старый тунгус рассказывал:

— Давным-давно орочи, оленные люди, жили в верхнем мире, в горах, где мать-земля мягким мхом расстилалась, где рос корень жизни — ягель. Где ягель, там олени. Где олени, там и оленные люди. Олень — пища и одежда ороча, его дом — из оленьих шкур. Так они жили, и много оленей у них было — полная долина.

Но однажды, в долгую зимнюю ночь, вспыхнули шесть радуг. И погасли звезды, и запылали багровые сполохи. Они взметнулись огненными столбами, а потом зелеными лентами стали извиваться по черному небу.

Невиданное сияние взволновало оленных людей. Шаманы изрекали: шесть радуг — знамение Евоена, бога и праотца орочей, сполохи — его лицо в гневе, зеленые ленты — его волосы... И пророчили шаманы всякие беды. И собаки выли.

А когда сияние погасло — с полуночной стороны налетел сильный и холодный ветер. Все завихрилось и закружилось в бешеной снежной пляске. Пурга разметала чумы. Пурга погнала оленей в полуденную сторону, и туда же, гонимые ветром, побрели люди и собаки.

Много дней и ночей шли олени, собаки и люди. Изнемогали, падали, поднимались... Поднимались не все, только сильные. Разбрелись и потерялись в пурге олени. Остались лишь собаки и люди. Безоленные, голодные, измученные, люди собрались умирать и вскарабкались на высокие горы.

Но тут пурга улеглась, и люди увидели с гор в полуденной стороне другой, нижний мир. В полуденном нижнем мире зеленела широкая долина, быстрая река бежала по долине к морю. А море было большое и синее, как небо.

И еще увидели люди: река от гор до моря бурлит и кишит рыбой. Голодные люди бросились в нижний мир с радостными криками:

— Олра! — Что значит — рыба.

Олра спасла людей и собак от смерти.

Рыба шла вверх, на нерест. Шла так густо, что терлась одна о другую, вытесняя одна другую на берег и в кровь разбивалась о камни. Рыбу ловили без всяких снастей. Входили в реку, хватали за жабры, за хвосты и выбрасывали на берег.

Здесь, в нижнем мире, на берегу реки и моря люди поставили из лиственничных жердей чумы, покрыли их вместо оленьих шкур корьем и землей. Рыбы запасали вдоволь и для себя, и для собак. Другой пищи не знали.

Так оленные люди, орочи, бродячие тунгусы, потеряв оленей, отказались от вольного кочевья и сели на устье реки, у моря. Стали морскими людьми, ламутами, сидячими тунгусами. А все они: и орочи, и ламуты — эвены, от одного праотца Евоена. А реку так и называли — Олра. Русские люди перекрестили ее в Олу. Так и поселение нарекли — Ола.

Служивые царевы люди Олу почему-то долго обходили стороной, может, потому, что нечего было взять с ольских сидячих тунгусов, а может, и побаивались: во времена присоединения российскими казаками Сибири тунгусы показали большее мужество, нежели прочие племена.

На закате, в трех собачьих перегонах от Олы, казаки поставили Тауйскую крепостицу, на востоке срубили Ямское зимовье, а на Оле долго ничего не ставили. И лишь в прошлом веке уездное начальство учредило Ольский стан, нарядило сюда казака Иннокентия Тюшева. Был он в службе усерден, за многолетнее усердие медалями обвешан и дослужился до зауряд-хорунжего.

Христовы слуги, православные священники, желавшие во что бы то ни стало обратить в свою веру всех инородцев-язычников, тоже почему-то долго не тревожили ольских сидячих тунгусов. В Тауйске сначала часовню срубили, а затем в 1839 году и церковь, Благовещенскую, освятили. Пять лет спустя в Ямске построили церковь Покрова. В Оле лишь через полвека поставили двуглавую деревянную церковь Богоявленскую, освятив ее в 1896 году.

Была она однопрестольная, священника своего не имела, наезжал из Ямска отец Серапион. Престол был в январе, на Богоявление. В это время и ярмарка. Поп — с крестом, торговые люди — с товарами, бродячие тунгусы — с мехом. Поп исповедовал всех: и бродячих, и сидячих, крестил всех детей, народившихся за год, венчал всех, кто уже не только женился, но и детьми обзавелся. За наспех

и чохом свершенные обряды отец Серапион брал белками и горностаями. Красным зверем брали за охотничьи припасы, мелкую галантерею и огненную воду торговые люди. Мягким золотом взимал ясак для белого царя казак Иннокентий Тюшев. Про царя тунгусам он говорил: высок царь, выше гор и звезд, и много-много шкурок надо, чтоб одеть его. Тунгусы верили и попу, и купцу, и казаку Тюшеву, и своему шаману.

Здесь же, на ольской армарке, отведав огненной водички, под шаманские бубны тунгусы исполняли свои древние танцы. Кончался престол, кончалась ярмарка, бродячие орочи откочевывали, сидячие ламуты оставались. И затихала, засыпала Ола до следующего января.

Еще в позапрошлом веке среди ольских сидячих тунгусов объявились насельниками первые русские, Якушковы, из тех хлебопашцев, коих повелением матушки Екатерины посылали в дикий край хлеб сеять. Но скупая земля не захотела рожать, а Якушковы чуть не вымерли. Из всех осталась в живых вдова Евпраксия с пятью дочерьми и двумя сыновьями. Чтоб окончательно не известись, занялись хлебопашцы рыбной ловлей, породнились с морскими людьми, стали скуластыми, узкоглазыми, свой родной язык покорежили, засюсюкали, как тунгусы, окамчадались. Так и выжили. Два сына вдовы Евпраксии такие корни пустили, что через полвека расплодилось в Оле шесть крестьянских семей Якушковых. Одна, Николая Якушкова, занявшись торговым делом, перед революцией в мещане записалась.

Прежде путь в Колымский край лежал через Якутск, Верхоянск, Зашиверск, Алазейск — долгий северный путь, две с половиной тысячи верст, проторенных русскими землепроходцами еще в XVII веке. Двести лет спустя, в 1893 году, бывалый казак Петр Калинин пришел на берега Колымы с Олы. Эта дорога оказалась на две тысячи верст короче, причем шли с юга, с Охотского моря, а по нему из Владивостока можно доставлять грузы без особых неприятностей. И не будучи купцом, Калинин решил заняться развозным торгом.

Для этого люди нужны лошадные. Таких в Оле, кроме Якушковых, не нашлось. У остальных — одни собачки, а на собачьих нартах до Колымы ничего, кроме собачьего корма, не перевезешь. И тогда Калинин подрядил из разных якутских улусов людей, испокон лошадных: Михаила Александрова с сыновьями, бездетного Макара Медова, Николая Дмитриева, по прозвищу Кыллахан, и еще троих.

Они перебрались поближе к Оле, но к ольскому обществу насельников не приписали и называли их гадлинскими якутами, поскольку юрты самого богатого, Михаила Александрова, были поставлены в урочище Гадля, а другие обосновались на три-четыре версты друг от друга. Так возникло поселение Гадля.

Калинкин сделался купцом. Гадлинские якуты и два брата Якушковы стали у него вроде разъездных приказчиков. Все безграмотные, поэтому Калинин каждого одарил перстнем с именной печаткой, чтоб могли ставить оттиски на торговых бумагах вместо росписи.

Торговля пошла прибыльная. За фунт сахару — три беличьи шкурки, за фунт листового табаку — шесть хвостов, за фунт кирпичного чая — семь. Через десять лет купец Калинин расщедрился и доброхотно пожертвовал волнистое цинковое железо на кровлю управы Ольского стана и двуглавой Ольской церкви, за что получил благословение на широкую торговлю и навечно был занесен в церковную летопись.

Вслед за Калининским двинулись через Олу на Колыму торговые люди Шустовы, Соловьевы, Бушуевы и даже пронырливые американцы фирмы «Олаф Свенсон и К^о». Выпала на долю бедного, богом забытого селения Ола честь служить морским портом и исходным пунктом великого, на сто оленьих переходов, Колымского тракта.

Ходил по этому тракту, искал и другие удобные пути тот самый Розенфельд, приказчик благовещенского купца Шустова, что узрел однажды молниеподобные жилы и стал первым провозвестником несметных сокровищ золотой Колымы. За ним увязывались конюхами охотские старатели Михаил Канов, Иван Бовыкин, Софей Гайфуллин и тот самый Бари Шафигуллин, легендарный Бориска, что прятал колымские самородочки от самого себя и был похоронен якутами Михаилом Александровым, Николаем Дмитриевым и Колодезниковым в своем шурфе. Конюхи-старатели иногда вместе, чаще тайком друг от друга вымывали на речных косах небогатое косовое золотишко, потихоньку сплавляли его торговым и церковным людям.

После смерти Николая Якушкова, а умер он в двадцать первом году, когда белая банда Бочкарева высадились в Оле, остались не только пятистенный дом с пристройками, не только шкурки белок, лисиц, горноста, всякая мануфактура и галантерея, но и деньги разной валюты: американские и мексиканские доллары, японские иены, золотые импералы, разменное серебро царской чеканки и 273 зо-

лотника россыпного, еще не очищенного, шлихового золота.

В ольской Богоявленской церкви после того, как ее грабили бочкаревы, наряду с американскими и мексиканскими долларами, японскими йенами и романовскими рублями обнаружили такое же россыпное золото, правда немного, всего шесть золотников.

А когда упразднили в Оле торговую фирму «Олаф Свенсон и К°» и Ольский волостной ревком реквизировал ее капиталы, то и среди них оказалось 244 золотника шлихового золота.

Откуда оно, шлиховое? С материка сюда не повезут. Может, из Охотска? А может, и с Колымы. Золото светлое, да дела темные. И неспроста будоражно погуливала молва о колымском золоте, хотя говорили, что его никто и не видел.

Когда в 1921 году высадили в Оле есаул Бочкарев и начал грабить так, как и купцы не грабили, то ведь и он своему начальству во Владивосток с похвальбой телеграфировал: «Сажу на золоте и одеваюсь мехами».

При бочкаревшине-то и появился в Оле рязанский мужик Филипп Поликарпов. У ставленников Бочкарева он доверием не пользовался, прилачился к бесхитростному татарину Софею Гайфуллину, а тот проживал у якута Александра. Под честное слово богатого якута и за счет бочкаревского поручика Авдюшева ольская лавка американца Олафа Свенсона выдала Поликарпову, как сказано в торговой книге, «на золотые работы» 10 кулей муки, 13 фунтов кирпичного чая, 28 фунтов табаку, 5 фунтов мыла, 3 фунта свечей, 8 фунтов сухих овощей, 3 рубашки, 3 карандаша, топор, лопату, ножницы, гвозди, порох, дробь и еще кое-что по мелочи на 462 рубля.

Вышли Поликарпов и Софейка по крепкому насту ранней весной 1923 года. Повел Гайфуллин Поликарпова по тому пути, по которому с Розенфельдом ходил. Все лето бродили, но ничего не нашли. Пришлось бы расплачиваться с бочкаревшинами своей кровью. Но на их счастье, к тому времени с бочкаревшиной было покончено, Авдюшева расстреляли.

Когда после разгрома Бочкарева на Охотском побережье окончательно установилась Советская власть, первым председателем Ольского ревкома был назначен Иван Бовыкин, а соседнего, Ямского, — Михаил Канов. Они значились рабочими золотой промышленности и единственными в этом крае представителями пролетариата. Взялись за дело ревкомовцы по-революционному, все нетрудовые зо-

лотые запасы, у кого они были, реквизировали, в 1924 году организовали Ольско-Ямскую трудовую горнопромышленную артель.

Было это в сентябре, как раз когда снова вернулись из колымской тайги Филипп Поликарпов и Софей Гайфуллин. Они были шурфы в верховьях Хиринникана и зацепились за золото. Выбили четыре шурфа, на большее не хватило сил. Ревкомовцы решили во главе своей новой артели поставить Поликарпова и двинуться на Хиринникан в следующем году. Но крепкий мужик Филипп Романович зацинговал, Гайфуллина за какие-то темные прошлые делишки под конвоем отправили в Николаевск-на-Амуре. Ольско-Ямская трудовая горнопромышленная артель распалась.

В 1926 году в истории селения Ола произошел поворотный момент. Был образован Ольский район, и небольшое село стало административным центром. В апреле на Первом районном съезде Советов делегаты от орочей, камчадалов, якутов выбрали исполнительный комитет. В то время во всем районе не было ни одного партийца, в исполкоме оставили для него место и запросили коммуниста из окружного ВКП(б). Из Охотска приехал Михаил Дмитриевич Петров. Он и стал первым председателем Ольского райисполкома и первым и единственным долгое время членом партии на весь огромный район.

Решительный, боевой, горячий, он развернул активную деятельность, иногда в своем стремлении поскорее вывести край из дикости перегибал палку, но за два года сделал многое. Непроста прозывали его Петром Первым. Лежав-Мюрат, когда встретился в Охотске с Билибиным, настоятельно советовал ему «следовать указаниям предрика Петрова, единственного надежного работника, считаться с его резкостью и прямотой».

Петров обратил внимание и на колымское золото, хотя оно находилось за пределами его района. В 1926 году Поликарпов, Канов и Бовыкин, по разрешению председателя райисполкома, забрали в ольской кооперативной лавке на две тысячи продуктов и снова артелью направились на заветный Хиринникан, называя его по-русски Середнеканом и Среднеканом.

Там, в левом истоке, они пробили пятнадцать шурфов. Содержание было небогатое, подломи на лоток, но попался один шурфик и с тремя долями. Беда была в том, что все шурфы оказались на таликах, воду не отольешь. Словом, заработали немного, но вернулись с великими надеждами и, по совету предрика, направили Поликарпова в Охотск

на переговоры с уполномоченным Дальгосторга Миндалевичем делать заявку. Переговоры, как известно, закончились арестом Филиппа Романовича.

В начале 1927 года он, освобожденный прокурором, возвратился в Олу, и с помощью райисполкома артель снова снарядилась на Среднекан. Летом прошла ниже левого истока и в устье безымянного ключика, опробуя каменную сланцевую щетку, сразу же вымыла шесть крупных золотин. На ключике Безымянном — так они его окрестили — артель проработала до ноября и намыла более двух фунтов. С этим золотом в зеленой бутылочке из-под сакэ Филипп Романович, снова рискуя своей свободой, вторично объявился в Охотске. Но тут был уже другой уполномоченный — Лежава-Мюрат, и загорелась звезда Поликарпова, а вместе с нею вспыхнула и та золотая лихорадка, которую Мюрат пытался пригасить всеми своими правами и силами, но не очень успешно.

Первым вышла из Охотска в Олу артель какого-то американца Хэттла и Сологуба. В самой Оле Бовыкин и Канов, не дожидаясь возвращения Поликарпова, снова организовали артель. Как только море освободилось ото льда, еще одна артель, Тюркина, на вельботе приплыла из Охотска в Олу. С первым рейсом парохода «Кван-Фо» из Владивостока в Олу прибыла хабаровская артель. Такого наплыва людей Ола никогда не переживала, кончилась ее вековая спячка.

Билибин, подплывая к Оле, очень надеялся на помощь и содействие предрика Петрова. Но Юрий Александрович не знал, что в это время краевые власти откомандировали Михаила Дмитриевича, единственного коммуниста и надежного работника, и пароход «Кван-Фо», на котором он покинул Олу, в открытом море в непроглядном тумане разошелся с «Дайбоши-мару» где-то между Олой и Охотском.

ПРИЗРАЧНАЯ НОЧЬ В СОБАЧЬЕМ ЦАРСТВЕ

После Охотска пароход «Дайбоши-мару» полз как черепаха.

Билибин сетовал:

— Чем ближе к цели, тем медленнее тащимся. От Ленинграда до Владивостока — десять тысяч километров. Ехали десять суток. От Владивостока до Олы — три тысячи. Шлепаем двадцать суток. Это какая-то арифметическая

регрессия! И если от Олы до Колымы шестьсот километров, то будем добираться месяц?

Море все еще покачивало посудину, и чем мористее отходили, тем гуще становился туман. Лишь когда вошли в Тауйскую губу, волны улеглись и туман отступил.

Прилетали с берега белые чайки, а вскоре показался и сам берег. Слово из воды поднялись дымчато-серые горы. Билибин и Цареградский прилипли к биноклям.

Шли мимо полуострова Старицкого. Слева возвышался крутой скалистый мыс, напротив него — другой, еще круче и скалистее. Из-за их плеч вздымались останцы, похожие не то на царскую корону, не то на средневековый замок. Эта гора в лоции называлась Каменным Венцом. Меж скалистыми мысами — вход в бухту Нагаева, или, по-старинному, Волок. В этот пролив, словно белые овцы в ворота, забегали последние клубы тумана.

О бухте Нагаева та же лоция не без восторга сообщала, что это самая удобная якорная стоянка на всем северном побережье Охотского моря и почти от всех ветров защищена, в шторм отстояться можно, и к берегам ее подходить можно близко, а у подножия Каменного Венца есть ключ Водопадный с пресной водой, которой можно пополниться при помощи нехитрого устройства, один недостаток — берега бухты безлюдны и запастись провиантом невозможно. «Дайбоши-мару» не зашел в эту бухту, и геологи проводили его с недоумением: самая удобная якорная стоянка и — необитаема.

— Нам надо обследовать эту бухту, — сказал Цареградский.

— Обследуем. Все обследуем.

— Петров, князь Ольский, — с ухмылкой вставил до того молчавший Миндалевич, — уже обследовал и предложение делал: построить тут порт-базу...

— Ну и что? — заинтересовался Билибин.

— Да ведь прожектор он, этот предрика, а его прожекторами Север не преобразишь... Предполагается построить эту порт-базу, но когда это будет...

— Будет. Все будет. И скоро.

Миновав полуостров Старицкого, пароход пошел левым бортом к северным берегам Ольского залива. То темно-серые, то буро-красноватые, они медленно разворачивались длинной лентой. Над ними зеленели, курчавясь кустарниками, невысокие увалы, кое-где поднимались сопки с темными голыми вершинами. За гольцами синели и уходили вдаль горы.

Над сопками и по-над морем стояла такая тишина и воздух был такой прозрачно-чистый, не замутненный ни единым дымком, что казалось, здесь еще не родился и не жил ни один человек. Огромное алое солнце погружалось в море. Небо розовело, море краснело, и червонным золотом отливали берега.

Когда подходили к рейду,* видели широкую долину, в которой блеснули рубинами и аметистами окна домов, засеребрилась кровля двуглавой церквушки. Но подошли ближе — все это, словно мираж, исчезло, скрылось за высоко намытой прибрежной косой.

В этот закатный час третьего июля 1928 года «Дайбо-ши-мару» бросил якорь на Ольском рейде, в одной миле от берега. В девственной тишине якорные цепи заскрежетали пронзительно и громко плюхнулись в воду. С тревожными криками взметнулись чайки.

Не пройдет и десяти лет, как Колыма станет одним из крупнейших горнопромышленных районов в Союзе.

В 1938 году, накануне десятилетия Золотой Колымы, за десяток тысяч километров от нее, в своей ленинградской квартире Билибин будет вспоминать о Первой Колымской экспедиции и начнет свои мемуары «К истории колымских приисков» так:

«Самые первые годы освоения Колымы, когда она была девственным, совершенно необследованным районом, кажутся сейчас необычайно далекими и начинают уже покрываться дымкой забвения. Вряд ли найдется много людей, которые знали бы историю этих первых лет и были бы ее непосредственными участниками. Их всего небольшая горсточка, этих подлинных пионеров Колымы. Так как мне пришлось участвовать в освоении Колымы с самого начала, я думаю, что некоторые мои воспоминания об этих первых годах не будут лишены интереса».

Да, их была горсточка. В ту ночь с 3 на 4 июля 1928 года на ольский берег высаживалось всего двадцать два человека: начальник экспедиции Юрий Александрович Билибин, палеонтолог Валентин Александрович Цареградский, геодезист Дмитрий Николаевич Казанли, прорабы, поисковики-разведчики Эрнест Петрович Бертин и Сергей Дмитриевич Раковский, врач Дмитрий Степанович Переяслов, завхоз Николай Павлович Корнеев, рабочие, промысловщики, шурфовщики, мастера на все руки Иван АLEXИН, Петр Белугин, Петр Лунев, Михаил Лунеко, Степан Дураков, Кирилл Павличенко, Дмитрий Чистяков, Петр Майоров, Евгений Игнатьев, Кузьма Мосунов, Яков Гарец,

Андрей Ковтунов, Михаил Седалищев, Тимофей Аксенов, Степан Серов.

Имена их всех можно было бы высечь на стеле, воздвигнутой среди прибрежных скал, недалеко от места их высадки. Стелу открывали ровно через пятьдесят лет, 4 июля 1978 года, когда из участников экспедиции в живых почти никого не осталось. Один лишь Цареградский приехал на открытие. С утра было пасмурно, туманно, но проглянуло солнце и словно разогнало «дымку забвения». Яростно защелкали фотоаппараты, кинокамеры...

А та незабываемая ночь была белой — светлая и какая-то призрачная. Тогда никто не хотел спать. Все стояли на палубе и молчали, а если кто заговаривал, то почему-то шепотом, словно боясь нарушить тишину и спугнуть призраки. Молчаливо, в одиночку летали чайки, отражаясь в стылой воде каждым перышком. Высовывались из воды пучеглазые усатые нерпы. Сизо-черные вороны степенно похаживали по отмели и что-то беззвучно поклевывали, будто кому-то кланялись. Солнце скрылось, а его отблески все еще блуждали по небу и воде. Серебристые, дымчато-голубые, розоватые и золотистые, они переливались словно перламутр.

Таких переливчатых отблесков Цареградский не видел на Неве, они беспокоили душу, и он затаенно спросил у Казанли:

— Ну, как, Митя?

Валентин и Митя за долгий путь от Ленинграда очень сдружились, читали друг другу стихи Лермонтова, Блока, Есенина, Гумилева и петроградских декадентов. Один был наделен любовью к живописи, другой — к музыке. Но оба упорно считали, что важнее науки нет ничего, без нее современное человечество шагу не ступит.

— Ну, как, Митя? — повторил Валентин.

Митя небрежно ответил:

— Звезд не видно. А мне нужны звезды. Судя по лонии, мы находимся на одной параллели с Ленинградом, но это надо еще уточнить.

Был отлив. Морское дно обнажилось почти на километр. Огромные черные кунгасы валялись на мели, обсыхая до самого кия. Выгрузка откладывалась до полной воды, часов на шесть. Гроыхая сапогами, Билибин пошел к капитану и, обещая хорошо заплатить, попросил шлюпку.

На ней вместе с Корнеевым и Седалищевым он добрал-

ся до берега и наконец ступил на землю обетованную.

На берегу стояли летние юрты рыбаков и торчали вешала из жердей, похожие на высокие прясла. На них висели остатки прошлогодней вяленой рыбы — юколы, изъеденной червями и нестерпимо вонючей. С вешал взметнулась черная туча ворон и затмила перламутровое небо. А из-под вешал выскочила свора собак.

— Ну, догоры, обетованная земляца встречает нас вороньим граем и собачьим лаем! — весело воскликнул Билибин.

Но веселому благодущию скоро наступил конец. Вокруг пришельцев остервенело закружились собаки. Бежать от них было некуда и не следовало. Билибин вскинул огненную бороду как факел и двигался молча.

Якут-переводчик Седалищев наступал ему на пятки и то плаксиво тянул: — Ружье надо взять, ружье... — то на всех трех знакомых ему языках умолял собак отстать, но эти твари не понимали ни по-русски, ни по-якутски, ни по-тунгусски.

Завхоз Корнеев прикрывал собой тыл, то отмахивался портфелем, то загоразживал им свой зад. Портфель был модный, из грубо выделанной свиной кожи и раздражал псов.

Свора, чем ближе подходила к селению, росла. Нарастало и напряжение.

Дошли до первых халуп. Приземистые, потемпелые, крытые корьем, они стояли вразброс, не поймешь как, передом или задом. Вокруг ни загородачки, ни кустика, лишь торчат колья, а к ним привязаны собаки. Привязные — голодные, злые, рвутся так, что, того гляди, горло себе пережегут ошейником. Надеялись, из домов выйдут люди и утихомирят собак. Но никто не выглянул.

— Дрыхнут, черти, — сменил один отчаянный напев на другой Седалищев и опять: — Ружье надо взять...

А собачий эскорт все увеличивался. Всех пуше кипятился голенастый кобель волчьей масти. Он брызгал желтой слюной прямо на сапоги Билибина, и Юрий Александрович не выдержал:

— Не взяли ружье!

И вдруг, как по заказу, грянул выстрел. И этот волкодав, самый настырный, взметнулся дугой, сверкнул гранатовым глазом и распластался у самых ног Билибина, ощерив клыкастую пасть. Все гулявые кинулись врассыпную, привязные виновато заскулили.

Пришельцы оглянулись. К ним подходили двое. Один —

долговязый, будто на ходулях, в мешковатом пиджаке, как в балахоне. Другой — вдвое меньше, но щеголеватый, со сверкающей кокардой на суконной новенькой фуражке, в маленьких, будто с дамской ножки, юфтовых сапожках, в перетянутой ремнями черной гимнастерке — милиционер.

Видимо, очень довольный метким выстрелом, он, подойдя к убитой собаке, ткнул ее острым носком сапога:

— Точно — он! Бурун, кобель ямский. Трех оленей зарезал, детишек кусает. Давно мою пулю ждал!

Размашистым шагом подошел и долговязый, вытянул руку:

— Белоклювов, райполитпросветкульторг и зампредтузрика в текущий момент. А вы — товарищ Марин, новый предтузрика?

Билибин назвал себя и сразу спросил:

— Мою телеграмму получили?

— «Молнию»! — для солидности вставил Корнеев.

— Ха, «молнию»? В этом крае ни грома, ни молний не слышать, не видеть, а как церковь закрыли, и про Илью-пророка забыли...

— Я посылал «молнию» через Тауйск.

— Нет, товарищ Билибин, не получали. Тауйск от нас двести верст, а телеграф там — лучше б его не было. По крайности знали бы, что телеграфа нет, и сами никаких телеграмм не давали бы и от других не ждали. Застряла ваша «молния».

— Я просил подготовить транспорт. В крайкоме говорили: лошади здесь есть, оленей не менее трех тысяч.

— Лошади есть, и олешек много. Но кто их считал, олешек? Оленехозяева считать и до ста не умеют, неграмотные. Много, полная долина — вот и весь счет. И вам не сказали, каких оленей. А они почти все не ездовые, под вьюком и в нартах не бывали...

— Дикие! — услужливо подсказал милиционер. — Подсчету не поддаются и никому не подчиняются!

— А там, — зампредтузрика махнул длинной рукой куда-то в полуденную сторону, — знают о нашем крае по туманным слухам. Я тут скоро год по направлению, а за это время ни один из крайцентра сюда не заглядывал. Живем в отбросе и забросе.

— Ну, а лошади-то, говорите, есть?

— Есть, да не про нашу честь. Тунгусы их не держат, камчадалы тоже. Одни якуты. За ними числится сорок голов. Но вы не вовремя приехали. Экспедиция Наркомводпути вас опередила, взяла в аренду у якутов двадцать ло-

шадей, половина уже вышла на Колыму, половина пока сидит. Третьего дня с «Кван-Фо» артель вольноприискателей высадились, другая из Охотска на шлюпке пришлепала, всех коняшек и порасхватили, а какие остались, тех якуты для убоя держат, на пропитание.

— Значит, ни ездовых оленей, ни лошадей, одни собаки?

— Так точно, товарищ Билибин, одни собаки! — согласился милиционер. — Беспородных развелось. Всех пострелял бы! Патронов не дают. На этого Буруна, волкодава, по разрешению товарища Белоклювова пулю затратил, и акт придется составлять. А на всех собак тут не только пуль, но и бумага не хватит.

— Собачек много, — подтвердил и зампредтузрика. — В Оле двадцать шесть дворов, жителей обоего пола сто семьдесят душ, а собак — шестьсот привязных и несчетное количество гулявых. На зиму каждый ездовой псине заготавливают пятьсот рыбин! Гулявые сами кормятся, то есть воруют. Местный учитель задал детишкам задачку: рыбопромышленник платит за кетину восемнадцать копеек, во сколько обходится содержание ольских собак? Детишки подсчитали: пятьдесят четыре тысячи рублей в год! Капитал! Петров вынес обязательное постановление о ликвидации некоторых собак, как прожорливого класса. И я, многогрешный, по его указанию, на собрании всех ольских граждан делал доклад по собачьему вопросу. Сперва, как положено, текущий момент, мол, строим, товарищи-граждане, новую жизнь, а от собачьей прожорливости одни убытки. Гулявых развелось — ступить некуда. Дохлах убирать некому — антисанитария кругом. Да и многие привязные держатся без надобности, ради соревнования какого-то, или обычай вроде такой: пацан еще ходить не научился, а ему уже заводят полный потяг собак. «Как же мощно бешшобашному?» Не нужно, говорю, товарищи, граждане-туземцы, столько собак! Когда построим социализм, будем ездить на автомобилях! И не будет при социализме ни одной собаки! Слушали, соглашались вроде, а потом один старик тунгус покрыл голову платком, как шаман, и говорит: «Слушай сказку, нюча. — Они нас, русских, нючами зовут. — Одна птичка другую спрашивает: «Что у тебя вместо котомки?» — «Собачьи кости вместо котомки». — «Что у тебя вместо котла?» — «Собачья голова. Собачья челюсть мне служит посохом, собачье ребро крючком, шкура с головы собаки — постелью, собачьи кишки — ремнями». Понял, нюча?» Как тут не понять! Выходит, без со-

бачки тунгусу нет жизни. А бывший предтузрика Петров, как его я прозвал, царь Ольский, князь Тауйский, принц Ямский...

— Читал об этом, — бесцеремонно прервал Билибин, — в «Тихоокеанской звезде», заметку за подписью «Олец».

— Напечатали! А газетка у вас не сохранилась?

— Нет.

— Жаль! Селькор Олец — это ваш покорный слуга. Так вот к чему все это я писал и говорю. Нужен постепенный подход, без левацких загибов. Мы тунгусам взамен собачек автомобиль обещаем, а он, «и ныне дикий тунгус», Пушкина еще не читал и этот самый автомобиль только вчера, да и то в кинофильме увидел. Ох, и смеху было! «Кван-Фо», по моей заявке, завез нам киноаппарат. Натянул я в пардome, бывшей церкви, собственную простыню и сам начал крутить. Я ведь тут на все руки от скуки. Так вот, кручу я аппарат, показываю море, как наше Охотское. Сидят, смотрят. Но вдруг с экрана вроде бы на зрителя поехал автомобиль с зажженными фарами... И все мои зрители — грох на пол! «Злой дух! Злой дух!» — кричат. Я им, конечно, поясняю: никаких духов нет, а это как есть автомобиль, нарта на колесах. Но разве сразу поймут! Они и колес-то не видели. А после про кинофильм так говорили: «Это — самый большой шаман! Море унес. Злого духа таскал». Вот она, дикость-то какая в собачьем царстве! А вот и наш Дом Советов. Все, как в Москве, только крыша пониже да грязь поуже. Заходите и головы наклоните.

Вошли. Большая комната с голландской печью. На печной чугунной дверце отлита охотничья сценка. Вдоль стен — широкие лавки. Письменный стол накрыт кумачом. Пишущая машинка «Ундервуд». С невысокого закопченного потолка свисает семилинейная керосиновая лампа под жестяным абажуром.

— При старом режиме хозяйничал здесь зауряд-хорунжий Тюшев, он и сейчас жив, приходит и при дверях как на часах стоит. А теперь полномочные хозяева — мы: я, многодолжностной, да вот Глущенко, единственный милиционер на весь район. А вы, значит, экспедиция. Чтой-то сей год облюбовали Олу экспедиции. Нарком пути сидит без пути, а теперь вы...

...Из тузрика Билибин, Корнеев, Седалищев вышли и тяжело вздохнули. Сидели битых два часа. О всех ольчанах узнали всю подноготную, а о деле, о транспорте — ни до чего не договорились.

Нет, догоры, надеяться на них — только терять время. Завтра барда к якутам! В Гадлю!

Позже, десять лет спустя, в своих мемуарах «К истории колымских приисков» Билибин писал:

«Высадившись в Оле, мы тотчас столкнулись с острым недостатком транспорта... Положение усугублялось тем, что в Оле в это время находились две артели охотских старателей, привлеченных слухами о колымском золоте и всеми силами рвавшихся на Колыму. А там, в устье кл. Безымянного, уже вела хищнические работы одна небольшая артель. Золото они никуда не сдавали, продовольствием снабжались через ольских жителей, расплачиваясь с ними золотом. А от этих последних золото уплывало командам японских и китайских пароходов, которые тогда фрахтались Совторгфлотом для снабжения Охотского побережья и довольно часто заходили в Олу.

Таким образом, наше прибытие в Олу и стремление попасть на Колыму очень не улыбалось ни старателям, ни местным жителям. Они рассматривали нас как государственную организацию, которая хочет установить над ними контроль и тем лишить их значительной части доходов. РИК принял их сторону и начал чинить нам всевозможные препятствия в работе...»

КРАСНЫЕ ЯКУТЫ И ЖЕЛЕЗНЫЙ СТАРИК

К якутам в Гадлю с подарками пошли делегацией: сам Билибин, Раковский, Бертин, Седалищев, Казанли...

Первой на пути, за речкой Угликан, в трех верстах от Олы, среди густого ивняка стояла юрта Свинобоева. В нее можно было не заходить. Иннокентий Свинобоев жил бедняком, имел всего один потяг собак, извозом не занимался, лишь в прошлом году обзавелся лошаком.

Но Юрий Александрович решил засвидетельствовать почтение всем гадлинским якутам, а Свинобоевой Иулите — особое. Сам Иннокентий был знаменит только тем, что прозывали его Нючекан, то есть «руссенький», так как родился от заезжего рыжего попа и был лицом светел, волосом рус. Но его жена, тунгуска Иулита, худощавая, черная, лет на десять моложе мужа, слыла бой-бабой и как член Гадлинского сельсовета могла посодействовать экспедиции.

Про нее Белоключов геологам сказывал: в день выборов в Советы зашел к Свинобоевым в гости Конон Прудецкий, якут с придурью, и стал насмехаться: чего, мол, бабе делать в Совете, какой из нее член... И тут Иулита Андреевна показала, какой она член! Схватила березовый остол, которым нерадивых собак наказывают, да и огрела Конона, как собаку. И сама же на собрании всего сельского общества об этом заявление сделала, а в стенгазете «Голос тайги» заметка была под заголовком «Туземка, помни свои права!» с карикатурой на Конона. Со дня выборов Конон по угликанскому мостику не ходит, где-то брод нашел.

Иулита и Кеша дома не оказалось, ушли на рыбалку. Лишь их дочка Вера, черноглазая, длинноногая, вся в мать, что-то наставительно внушала собакам. Они, заслышав людей, рванули было, но девочка скомандовала:

— Той! Той! Урок не кончен.

И собаки присмирели.

— Ты — кто? — спросил Билибин девочку.

— Учитель.

— И кого же ты учишь?

— Собачек. Маму и папу выучила, а теперь их учу считать. Ликбез.

— И научила?

— Научила. До двух считают.

— Ну, а нас научишь? Мы за науку конфетки дадим, — и Юрий Александрович протянул жестяную коробку монпансье. — Моссельпромовские! Московские!

Девочка взяла было коробку, но почему-то насторожилась:

— А зачем вас учить? Разве вы темные?

— Темные. Вот не знаем, как до Колымы добраться, где лошадей найти, — Юрий Александрович раскрыл коробку.

Леденцы засверкали, как стеклянные бусы, и так же заблестели девчоночьи глазенки:

— В Гадле кони есть! Александров — богатый саха. У него десять коней, сорок оленей... Пойдемте в Гадлю! Там и школа наша, и учитель Петр Каллистратович! А он все знает!

— Вот и договорились! Бери конфеты, садись на своего стригунка и веди нас в Гадлю.

От Угликана до Гадли — верст пять. Шли среди душистых тополей, высоких и прямых чозений, ивовых и ольховых зарослей, по хорошо утоптанной дороге. Беспокоили лишь комары.

Впереди ехала на гнедом стригунке Вера. Она то и дело оборачивалась и неустанно просвещала геологов. Про Угликан сказала: речка местами не замерзает, и вон там утка держалась всю прошлую зиму. Увидела на выпасе коров, поведала о холмогорском бычке, которого крестком завез, чтоб улучшить якутских малодойных коровок. Переходили еще одну речку — пояснила: по-тунгусски — Гадля, по-русски — нерестилище, сюда на нерест кета идет.

— А ты и тунгусский знаешь?

— Знаю. С мамой говорю по-тунгусски, с папой — по-якутски, а с вами по-русски.

— Полиглот! — восхитился Билибин.

— Зачем дразнишься?

— Нет, напротив! Полиглот — это тот, кто знает много языков. Слово греческое, а ты греческого не знаешь и зря обижаешься.

— Узнаю. Поеду в Москву, где такие конфетки делают, выучусь на учителя и все буду знать. А вон и наша школа! — указала Вера на взгорок, где среди старых замшелых лиственниц золотился свеженький сруб под двумя крышами, с двумя коньками и кумачовыми флажками на каждом коньке. — Наша школа имени товарища Ульянова-Ленина! А вон там Александровы живут. У хотона Устюшка стоит. Она глухая и немая, с ней вы ни о чем не договоритесь, только я ее понимаю. — Вера подхлестнула своего стригунку, подскакала к Устюшке, длинной и нескладной девице, и вернувшись через некоторое время, доложила: — Сам Александров на рыбалке, старшие сыновья в горы ушли, Паша, Ванятка и Гавря в школе, вон они бегут. А вон и Петр Каллистратович!

Ребятишки скатились со взгорья, как шарики, облепили Веру, она стала оделять их леденцами и всем объявляла, что поедет учиться в Москву и оттуда привезет конфет еще больше. По глазенкам якутят, зыркавших на приезжих, Билибин понял, что им нужно, и достал еще три коробки монпансье.

Подошел учитель. Ему лет тридцать, он, как большинство якутов, невысок, черноволос, черты его лица утонченны той интеллигентностью, которая обычно отпечатывается и на лицах русских сельских учителей. И одет он, как русские учителя: белая косоворотка навывпуск с наборным ремешком, пиджак, накинутый на плечи.

Об учителе Федотове зампредтузрика тоже кое-что рассказывал. Петр Каллистратович из крестьян, закончил духовное училище, затем учительскую семинарию. В Гадле

обосновался недавно, обзавелся семьей. Секретарь сельсовета, выступает с докладами, стихи пишет для праздничных стенгазет, да и сама-то школа в Гадле — его детище.

Не успели войти в двери, над которыми пламенело: «Гадлинская единая трудовая школа 1-й ступени имени В. И. Ульянова (Ленина)», как учитель, словно мать о своем новорожденном, начал:

— Эти сени сложены из амбарного сруба Медова. Есть такой замечательный якут! Для постройки школы сельсовет распределил, кому сколько заготовить бревен, плах, корья. Старик Медов все, что от него требовалось, сделал, да еще подарил новенький сруб. Сам-то неграмотный, но всех детей — и своих и приемных — наладил в школу. О пользе грамотности объяснять никому не приходится. За школу проголосовали в годовщину смерти Владимира Ильича и выразили полную уверенность, что школа и ее культурно-просветительская ячейка в лице ликбеза станет руководителем и застрельщицей культурного и хозяйственного возрождения местных якутов! А вот и портрет товарища Ленина! Сам срисовал с газеты... Петров о школе много заботился. Ведь что скрывать, кое-кто из краевых руководителей считал нашу школу незаконнорожденной: на содержание не ставили и даже зарплату мне не платили. Петров добился узаконения... А вот здесь моя келья. Проходите почаевничаем. Я уже слышал — у нас торбасное радио работает неплохо, — что прибыли вы искать золото, если не секрет...

— Надо бы держать в секрете, но от торбасного радио, видимо, не скроешь, — усмехнулся Билибин.

— Великолепно! Найдете золото — край перестанет быть диким, пробудится от вековой спячки! Возродится наш Ольско-Колымский тракт! Больше тридцати лет гадлинские якуты им кормились: одни делали нарты, другие резали ременную упряжь, третьи обшивали уезжающих, четвертые нанимались в конюхи, пятые кредитовались у купцов и их подрядчиков — всем было что заработать и поесть. А в последние годы тракт захирел. Начали на мясо переводить и ездовых оленей и коней. А я думаю, что извоз, хотя и отхожий промысел, благосостоянию не повредит. Нужно организовать артель «Красный якут», чтоб не так, как было: одни наживались, другие проживались... Я предлагал нашему крестному, но кое-кто даже в тузрике против, Белоклювов говорит, что создавать надо колхоз... Конечно, нужно и то и другое, но не в одногодье...

— Верно! — горячо подхватил Билибин. — Сегодня

нужна транспортная артель! И проводники нужны, чтоб повели нас на Колыму! Есть такие?

— Есть. Старик Кылланах — Николай Давыдович Дмитриев, Макар Захарович Медов, Александровы... Правда, сам-то Александров, Михаил Петрович, прижимист. Расхождения у меня с ним, говорит: учить якутскому языку незачем, надо только русскому.

— Странно...

— Странного ничего нет. Простой расчет. Чтоб его сыновьям вести торговлю, достаточно писать-считать по-русски, а на якутский нечего тратить время. А как же быть с культурным возрождением якутов? Со стариком Александровым в одни нарты не впряжешься. Кылланах, Медов — это настоящие красные якуты...

— Они на месте? Так проведите нас, пожалуйста, к красным якутам!

Кылланах жил в урочище Нух, в трех верстах от Гадли. По дороге Петр Каллистратович говорил о нем:

— Прозвище у него такое. Перевести затрудняюсь, очень искаженное слово — не то железный, не то беззубый. Подходит к нему и то и другое. Сам он сказывал, Кылланахом его прозвали после того, как жандарм ему зубы выбил. Было это, когда он, еще совсем молодой, вез двух жандармов и одного ссыльного в Вилюйский острог. Есть предположение, что самого Николая Гавриловича Чернышевского: по времени совпадает и внешность со слов вроде та же. Так вот, когда вез он их на Вилюй, то не поладил с жандармом, а тот, как все царские держиморды, — в зубы. А сюда Дмитриев прибыл тридцать пять лет назад вместе с Медовым, Александровым и другими... Было ему уже тогда лет под семьдесят, но крепкий старик, железный. Шестьдесят годов с гаком бобылем жил, на семидесятом женился на девушке-сиротке Анне, которую сам и воспитал, и детей нарожала она ему кучу. Старший сын сейчас у нас председателем сельсовета, младшие, Иван и Алексей, в комсомол записались, у меня в школе учатся, а старик и ныне крепок, хотя уже за сто лет перевалило. В прошлом году Трофима Аммосова, здорового мужика наших лет, за непочтение к старшим так посохом проучил, что тот милиционеру жаловался, а Глушенко протокол на столетнего настрочил... Историки не поверят в такое! А вот он и сам.

Кылланах встретил гостей у входа в юрту. Был он одет по-зимнему: голова по-бабы повязана платком, поверх платка малахай, оленья доха спадала отрепьями, на но-

гах — разбитые торбаса. Был он высок и не казался согбенным, несмотря на то что опирался на палку.

Знакомство началось с обычного «капсе»:

— Капсе, догор Кылланах!

— Эн капсе, догоры...

Но капсе-новостями обмениваться не торопились, пока капсе означало лишь приветствие. Прошли в юрту, душную, сумрачную. Тут началось знакомство со всеми чадами Кылланаха. Представлял их Петр Каллистратович, а все пришельцы каждому, и взрослому и малолетке, пожимали руки, каждого называли по имени, взрослых и по отчеству, каждого, начиная с самого Кылланаха и кончая трехгодовалой девчушкой, одаривали: одному — кирпич чаю, другому — коробку конфет, третьей шелковую ленточку... Круглолицую, моложавую, лет под шестьдесят, хозяйку Анну буквально осчастливили серебряными полтинниками, она тут же стала прикладывать их к плечам и груди.

Митя Казанли взглянул на Анну, потом на ее трехлетнюю дочку и в упор спросил Кылланаха:

— Твоя?

— Баар.

— Врешь, — Митя пошевелил пальцами между стариком и его хозяйкой. — Не может быть баар.

Анна прыснула. Кылланах насупился.

Билибин одернул Митю:

— Не порть дипломатию, посохом огреет... Николай Давыдович — батыр саха! — Юрию Александровичу захотелось чем-то особенным задобрить старика и, когда увидел в его корявой жмени костяную, до желтизны обкуренную трубку, радостно воскликнул:

— Куришь, батыр саха! А мы специально для тебя табачок привезли! Лучший в мире! — быстро вытащил из мешка с подарками пачку «Золотого руна». — Кури на здоровье!

Кылланах отвернул блестящую фольгу, понюхал табак и от восхищения зашелкал языком:

— Цо-цо... Черкасский?

— Нет, не черкасский и не турецкий, дорогой догор! Московской фабрики «Ява»!

— «Ява»! Хорош «Ява»!

Все, кто курил и не курил, закрутили самокрутки, и в сумрачной юрте совсем стемнело.

Кылланах пригласил Билибина на почетное место, сам сел рядом и всем предложил рассаживаться кто куда пожелает.

Началось чаепитие и обмен капсе-новостями. Разговор из уважения к хозяину по-якутски вели Седалищев и Раковский. Обменивались капсе не спеша и так же не спеша пили чай. Выпили по кружке, по другой, добрались до десятой — всех пот прошиб, но капсе не кончились. Гости не понимали по-якутски, но старательно поддакивали.

Наконец Юрий Александрович не вытерпел и прямо спросил:

— Батыр саха, догор Кылланах, в горы поведешь? На Колыму?

Старик бодро вскочил, шустро прошелся по ровному земляному полу до двери, вернулся обратно медленно и тяжело:

— Стар я, однако, сопсем стар, нога стар, глаз стар. В гору Дапыдка ходит, моя давно не ходит... Дапыдка туда-сюда и тебя — туда.

— Нам нельзя ждать, пока твой Давыдка из тайги вернется. Нам надо туда сегодня же. Садись на коня и веди...

— Стар я... И конь суох. Но ничего-ничего. Макарка пойдет! Сопсем молодой Макарка! Много-много ходил, хорошо ходил. Пойдем к Макарка!

Из Нуха отправились к Макарке, в Хопкэчан. Впереди ковылял Кылланах. Солнце припекало изрядно, комары жарили, а он шел с головы до ног в мехах и шерсти, похожий на медведя, и подрагивал плечами:

— Зябко, однако, сопсем зябко стало... А табак хорош! «Ява»!

Шли верст пять густым стройным чозеником, по едва приметной тропе. На перекате перебрались на тот берег Олы, и там за ивовыми зарослями у подножия невысокой сопки — потому и Хопкэчан зовется — увидели такую же, как у Кылланаха, юрту. Когда тридцать пять лет назад ставили эту юрту, река была далеко, а теперь, подмывая берег, подкралась совсем близко.

СПИЧЕЧНАЯ КАРТА

«Сопсем молодому Макарке» оказалось без малого семьдесят зим. Под стать Кылланаху, такой же высокий и плечистый, Макар Захарович Медов встретил гостей приветливым огоньком в узких карих глазах и доброй улыбкой на обветренном оливковом лице, безбородом, в оспинах и морщинах.

Как и Кылланах, тридцать пять лет назад он поселился

в этой юрте, двадцать лет ходил в конюхах и каюрах у Петра Калининна, но не было у бедного Макара детей-помощников, и ничего он не нажил. И лишь когда женился на Марфе Кудриной, подвалило ему счастье. Марфа привела в юрту Макара трех кудринят, уже готовых стать помощниками, а за десять лет жизни с Макаром подарила ему одного за другим еще четырех макарят.

На всех кудринят и макарят подарков не хватило. Билибин и опустевший заплечный мешок торжественно вручил хозяину:

— Носи, Макар Захарович, мой рюкзак.

Макар Медов за свою долгую жизнь много ходил. Из Якутска в Охотск ходил. Из Охотска — в Якутск. Всю Колыму исходил. Во всех колымских городках бывал: в Верхнеколымске, Среднеколымске, Нижнеколымске... И туда ходил, где его известный тезка телят не пас. Но такого мешка с кармашками и ремешками отродясь не видел и не носил.

— Хороша торба!

— Носи на здоровье! И веди нас на Колыму! Не сегодня, так завтра на Колыму надо! Шибко надо!

— Зачем завтра? Лето — Колыма далеко. Зима будет — Колыма сопсем близко будет.

— Надо, Макар Захарович, вот как надо! — Юрий Александрович ребром ладони резанул по горлу. — На собачках нельзя, на олешках нельзя, а на лошадях можно?

— На конях можно. Однако коней мало-мало. Кони из тайги пришли, камни копыта сбили, сопсем слабые кони.

— Надо сильных найти, а слабых подлечить, коновал у нас есть, — пошутил Юрий Александрович, — доктор Перяев, нас лечит, и всех твоих детей и лошадок вылечит... И мы за платой не постоим, и подарки еще будут...

— Как найти? Где найти? Зима скоро. Снег скоро. Уйдут кони. Не вернутся кони. Подохнут кони.

— Не подохнут. До снега вернутся.

— Как вернутся? Два месяца туда, два сюда...

Макар Захарович был прав. Так и в тузрике говорили: поход до Колымы займет не меньше полутора месяца, а в первых числах сентября там уже выпадает снег и не тает.

И вдруг Юрия Александровича озарило: до Яблонового хребта, говорят, километров двести пятьдесят, до снега лошади успеют дойти и вернуться, а от Яблонового до Колымы экспедиции можно сплавиться. И, видимо, такой же мыслью загорелся в этот миг Сергей Раковский, и оба в голос:

— По рекам можно?
— Хорошо можно. Зима будет — река хорошая доро-
гая будет.

— Плыть можно? На лодках, на плотах?
— Плоты вниз плыть можно, вверх плыть не можно.
— Сначала мы на лошадях пойдем. До хребта, до пе-
ревала. Ты нас поведешь. А как перевалим, ты с лошадьми
назад, а мы на плотах до Колымы, — по-якутски пояснил
Сергей.

— Понятно, Макар Захарович? — с надеждой спросил
Билибин, хотя и сам не понял, что говорил Раковский.

— Понятно. Сопсем понятно, — заулыбался Макар За-
харович.

Тут и Митя Казанли, решив, что наступил момент его,
геодезиста-картографа, закричал:

— Тихо, догоры! Говорить буду я! Отвечать будете вы,
Макар Захарович, и вы, товарищ Кыллапах! Остальные
будут молчать! Река Ола течет так, — Митя прошел от ка-
мелька до порога юрты. — От хребта Яблонового до Охот-
ского моря. Понятно? Отсюда вверх по Оле плоты, конеч-
но, не пойдут. Это — аксиома. А мы, завьючив лошадей,
пойдем. Так, Юрий Александрович? Идем вверх. От устья
Олы идем. По берегу идем. Километр идем. Два. Три... —
Митя передвигал ноги медленно и с каждым шагом счи-
тал. — Семь идем...

— Кес, — сказал Макар Захарович.

— Что — кес? — не понял Митя.

— Кес — это семь верст. Якутская мера длины. Один
переход, — враз стали объяснять и Петр Каллистратович,
и Седалищев, и Раковский, и Кыллапах, и сам Макар За-
харович.

Все догадались, что задумал Митя.

— Кес — это хорошо! — обрадовался Митя и отбежал
к порогу юрты. — Начнем сначала. Масштаб: каждый
шаг — кес! — Но тут он смекнул, что по маленькой юрте не
расшагаешься, масштаб слишком крупный, подскочил
к Кыллапаху, раскуривавшему «Золотое руно», выхватил
у него спички: — Каждая спичка — кес! Кес прошли, —
Митя положил спичку на земляной пол у самого порога. —
Еще кес... Понятно?

Всем все было понятно, и все, словно дети, увлеченные
игрой, стали участвовать в составлении спичечной карты,
каждый услужливо предлагал свои спички.

И очень скоро на земляном полу юрты из спичек была
выложена вся река Ола от устья до истока со всеми ее при-

токами. Из спичек, положенных крест-накрест, поднялся
Яблоновый хребет. По его другую сторону побежала река
Буюнда, что в переводе на русский означает «дикий олень»,
и пала в реку Колыму.

— А где Среднекан? Хиринникан где? — спросил Би-
либин.

— Долина Рябчиков, — перевел Петр Каллистратович
Федотов.

— Да, Хиринникан нужен! Рябчики нужны!

Среднекан, Долина Рябчиков, оказался на много кес
выше Буюнды, долины Диких Оленей, и подняться по Ко-
лыме до Рябчиков на плотах немисливо...

— Какая улахан река впадает в Колыму выше Сред-
некана? — спросил Билибин.

— Бохача, — ответили Кыллапах и Медов.

— Митя, давай Бохачу!

Казанли стал выкладывать Бохачу с ее притоками.
Один из них, Малтан, оказался рядом с верховьями реки
Олы — только лишь перевалить Яблоновый хребет.

— По Малтану на плотах плыть можно?

— Малтан можно. Бохача не можно.

— Почему?

— Бешеная Бохача.

— Как бешеная?

Макар Захарович нагнулся над спичечной картой, раз-
бросал спички там, где текла Бохача:

— Тут — тас, тут — тас, много — тас...

— Камней много. Пороги, — перевел Раковский.

— Улахан начальник, большой начальник, однако, по-
койник будешь.

— Почему? Чего ты шаманишь, Макар Захарович?

— Моя не шаман. Моя правду знает. Кыллапах знает.
Плохая река Бохача. Наши люди не ходят. Казаки плы-
ли — покойники были.

— Ваши люди не ходили. Казаки не проплыли. А мы
проплывем! Но что же получается, догоры? — вдруг заду-
мался Билибин и стал что-то подсчитывать. — По карте, со-
ставленной Геологическим комитетом Академии наук, Ко-
лыма от Олы — в шестистах километрах, а на спичечной
и четыреста не наберется. Кому же верить?

Все примолкли и недоуменно переглянулись.

Ответил Раковский:

— Почтенные академики своими ножками здесь не хо-
дили, а Макар Захарович и Кыллапах каждый кес на жи-
воте проползли. Их карта точнее ученой.

— Да и я так думаю,— сказал Билибин.— Да вот от радости в зобу дыханье сперло. Из Олы еще не вышли, а двести километров уже отмахали! Спасибо, Макар Захарович! Спасибо, догор Кылланах. Художник Корнеев, зарисуйте эту карту! Она войдет в историю великих открытий! Макар Захарович, будь нашим проводником! Веди в горы, вот сюда до сплава! Обратишь вернешься и еще раз проведешь! И все твои кони будут целы, а если кагая лошадка погибнет — заплатим, сполна заплатим...

Старик Медов снова запричитал и опять стал отговаривать от сплава по Бохапче, но тут все, разгоряченные, начали Макара Захаровича уговаривать и так расписывать его достоинства, что получалось — во всей Якутии и на всем свете лучшего проводника и землепроходца, чем Макар Захарович Медов, не было, нет и не будет.

Эти похвалы «сопсем молодому Макарке» разобидели столетнего Кылланаха. Он вскочил не по годам шустро и объявил:

— Макарка не пойдет — моя пойдет! Бешеная Бохапча — начальник смелый, улахан начальник! А сопсем молодой Макарка — трус, однако. Не саха — Макарка, сахаляр — Макарка, баба — Макарка.

Таких упреков от своего многолетнего друга Макар Захарович никогда не слышал. Они его задели за живое. И он согласился не только провести экспедицию за хребет, до реки Малтан, но и коней подыскать, на худой конец — вьючных оленей...

Билибин тотчас же распорядился: все — на мобилизацию транспорта!

Петр Каллистратович заявил:

— Создадим артель «Красный якут»!

В поисках тягла обошли всех якутов, тунгусов и камчадалов, но ни в Нухе, ни в Быласчане, ни в самой Гадле, ни в самой Оле лошадей не купили, не заарендовали, ездовых оленей не выпросили. Лишь Макар Захарович предложил трех своих лошадей, которые должны вернуться из тайги, да еще двух, заморенных, была надежда взять у сына Кылланаха, тоже по возвращении его с гор. У самого богатого саха Александра было семь коней, но он их продал охотским старателям.

Старик Медов посоветовал закупить оленей у Луки Громова. У него восемь тысяч голов, а больше, есть и ездовые. За то что платил большой ясак белому царю, медаль носит. Все тунгусы Уяганского, Маяканского, Тасканского родов под его рукой. Лука продаст — и дру-

гие продавать будут. Лука откажет — никто не поможет. Не очень-то он, тунгусский князец, признает новую власть, но уговорить его можно, если не поскупиться на подарки. Деньги не возьмет: что ему с ними делать! В тайге магазинов нет.

Подарками: серебряными полтинниками, шелковыми лентами, разноцветным бисером, моссельпромовскими леденцами, кирпичным и байховым чаем и огонь-водой — Раковский набил полную сумку и пошел вместе с Макаром Захаровичем на речку Маякан, в долине которой кочевал в то время Лука Громов.

Старик Медов всю дорогу кряхтел и жалостливо вспоминал своего ученого коня, переданного четыре года назад за долги Луке Громову. Должен был Луке восемьдесят рублей, конь, конечно, стоит дороже, но дал его под залог, а тунгусскому князю конь ни к чему, и он продал его тому самому Конону Прудецкому, которого огрела остолом Иулита Свинобоева... И поделом — злой человек, дурной, купил ученого коня, чтобы пустить на мясо. Макар тогда просил волревком, чтобы запретили ему, Прудецкому, резать коня, а он, Макар, продаст новую швейную машинку, коей только что обзавелся, чтобы обшивать кудринят, и вернет долг Луке Громову. Но Конон Прудецкий местной власти заявил: никаких дел с Макаром Медовым не имел, коня купил у Громова. И убил. А он, Макар, с тем конем всю Колыму исходил. Ученый был конь, все тропы знал...

С неохотой шел к Луке бедный Макар, едва передвигал ноги. Сергей так медленно по тайге никогда не ходил. Плелись два дня, на третий увидели огромное стадо оленей, а на берегу сверкающего, как полтинник, озера — остроконечные чумы, крытые ровдугой.

Сергей обрадовался — наконец-то дошли, а Макар скис:

— Кусаган, Сергей, сопсем кусаган...

— Какая кусаган? Какая беда?

— Мас суох. Сэргэ суох.

— Коновязи нет? А зачем она? У нас лошадей нет...

— Мас суох — эн капсе.

— Ясно,— догадался Раковский: он кое-что слышал о таком тунгусском обычае: сэргэ, точнее, просто толстую палку не поставили, значит, гостей не принимают.— Так что же делать? Зря подарки тащили? Так?

— Так...

— Нет, не так! Пошли, будем убеждать, требовать, форсировать.

— Не надо, Сергей! Оленей угонят... Ждать надо. Палатку ставь. Чай пить будем. Ждать будем.

Поставили палатку, заварили ароматный чай — далеко пахнет. Макар Захарович пил, громко причмокивал:

— Хорошо! Ой как хорошо! Сопсем хорошо!

Пили долго, но из стойбища никто не глянул в их сторону.

— Барда спать. Чай оставь. Все оставь.

Макар залез в палатку, Сергей послушно за ним, оставив все съестное у костра. Ночь была светлая, комары набились под полог. Выкурили их, улеглись и вдруг слышат шепот.

— Пришли,— улыбнулся Макар Захарович и приоткрыл полог.

У костра стояло четверо ребятшек, немытых, тело в коросте, в непричесанных волосах пух. Они вытаращили черные глазенки на монпансье и глотали слюнки.

Сергей жалостливо шепнул:

— Не берут...

— Тунгус чужое не возьмет. Выходить надо,— и Макар Захарович, как бы по своей нужде, потихоньку, не спеша вылез из палатки, подошел к ребятшкам и приветливо спросил:

— Чай пить пришли? Садитесь.

Гости, видимо, хорошо знали дедушку Медова, быстро расселись, но, увидев еще одного, незнакомого человека, задичились.

— Это — Сергей, добрый нюча. Не бойтесь.

Сергей снова развел костер, подогрел чайник, открыл еще одну коробку с леденцами. А когда угостили чаем, то собрали оставшиеся яства и по местному обычаю раздали ребятам. Те, довольные, убежали.

Макар и Сергей снова полезли в палатку, снова развели дымокуры и только стали засыпать — опять говор.

Медов приоткрыл полог:

— Люди идут! — получше взгляделся и с явной досадой поправился: — Кыыс кэлэ.

— Бабы?

— Ага. Однако, встречай надо.

Опять встали, раздули огонь, заварили чай и — кому горстку бисера, кому шелковую ленточку.

Сергею хотелось спать, и он мысленно ругал и этих кыыс и всю туземную дипломатию, но вида не подавал, даже любезничал. Наконец распрощались. Снова Сергей и Макар залезли в палатку и заснули как убитые.

Утром Макар Захарович разбудил Раковского:

— Вставай! Сэргэ есть — капсе будет!

В стойбище гостей ждали. Полным ходом шла стряпня. В котле варилась оленина, аппетитно пахло мясом. Тунгуски щеголяли нарядами: несмотря на жару, все в камусных торбасах, сверкавших бисером, на каждой передник, опущенный мехами и тоже весь в бисере, на груди серебряные рубли и полтинники.

Гостей провели в урасу, покрытую тонкой ровдугой. В урасе душно и дымно, посреди костер. А перед ним, как перед жертвенником, восседал, скрестив ноги, худой морщинистый старик с отвислыми щеками. На нем был такой же, как у тунгусок, расшитый бисером передник, на тонкой шее большая, на цепи, серебряная медаль с профилем Александра III.

Старик важно, не вставая, протянул руку:

— Мин князь Громов.

Гости сели. Князь запустил грязные руки в деревянную плошку с мозгами из оленьих ног и попросил гостей последовать его примеру.

Сергей извлек свою походную серебряную с чернением рюмку, наполнил ее спиртом и поднес хозяину. Громов выпил одним глотком, а рюмку задержал в руках, залюбовался ею. Макар Захарович сразу понял его желание, подтолкнул Сергея, и Раковский, хотя очень дорожил своей рюмкой, торжественно произнес:

— Тунгусскому князю Луке Васильевичу дарю с радостью!

Князец осклабился и вроде бы беспечно спросил:

— Зачем на Колыму?

Медов перевел, Раковский ответил:

— Посмотреть, чем богата.

— Золото копать? Земля царская — копать нельзя! Царь, — Лука ткнул в изображение Александра III на медали, — накажет!

— Не накажет, царей уже нет...

— Землю копать, палы пускать — мох ачча. Мох ачча — олешки ачча.

— Нет, Лука Васильевич, мы землю жечь не будем. А за олешек хорошие деньги дадим! Серебро дадим! Вот! — Сергей зазвенел полтинниками. — Новенькие! Блестят ярче твоей царской медали. И на каждой не царь-покойник, а кузнец, кующий счастье! Видишь, как искры летят. А на другой стороне герб, серп и молот... Союз рабочих и крестьян!

Агитировали тунгусского князца долго. Наконец он согласился продать оленей, но только диких. Сергею приходилось иметь дело с необъезженными животными на Алдане. Можно их, конечно, приучить к вьюку и нартам и чтоб далеко не уходили, но нужно хотя бы немного и ездовых. Сергей высыпал еще крупную горсть полтинников. Кое-как договорились. Продал Громов и пяток обученных оленей.

Отловили двадцать пять дикарей, два дня продержали их голодными, чтоб не бесились в дороге, связали по шесть голов в связке и повели.

ПЕРВЫЕ МАРШРУТЫ

Цареградский и Казанли попросили Билибина освободить их от тягловых забот, чтоб заняться обследованием побережья. Юрий Александрович охотно дал согласие и выделил им в помощь четырех рабочих: Евгения Игнатьева, Андрея Ковтунова, Тимофея Аксенова и Кузю Мосунова.

У старика Александрова Валентин взял в аренду вельбот, который оставили ему охотские старатели за лошадей.

Ранним утром на этой посудине Цареградский, Казанли и четверо рабочих, увязался еще доктор Переяслов, вышли из устья Олы и отправились по Тауйской губе на запад — к вожденной бухте Нагаева. Рабочие сидели на веслах, Цареградский на корме рулевым. Он родился на Волге и чувствовал себя заправским моряком. Митя и доктор устроились на носу в качестве пассажиров. Ветерок обдувал, легко и мягко ударялись в борта пологие волны, солнце сверкало вовсю и обещало погожий денек, приятное путешествие.

Сначала шли вдоль низменного побережья Ольского рейда, выложенного накатанной галькой. Затем справа по борту возвысились обрывистые берега, прикрытые лишь поверху густой травой, ольхой и корявыми лиственницами. Насколько глаз хватал, а видно было до самого полуострова Старицкого, тянулись то серые, то бурые, то желтые, то красные берега. Миновали кекуры Сахарную Головку и Две Сестры, стоявшие между берегом и морем. Одна скала из Двух Сестер была похожа на человека, подносящего ко рту бокал.

С шутками, с прибаутками, с песнями пробежали одиннадцать миль. Заходить в залив Гертнера не стали: решили обогнуть весь полуостров Старицкого и войти с помпой

прямо в парадные ворота бухты Нагаева. Цареградский направил вельбот круто на юг.

Миновали еще один заливчик. У его северного мыса поднималась из воды одинокая скала, очень похожая на скорбную женщину с печально наклоненной головой. У южного мыса этого же заливчика стояли три кекура, один другого меньше, как три брата. Их, словно мать или сестра, провожала одинокая скала в открытое море. Так показалось Цареградскому, и он загорелся мыслью написать картину «Сестра и Три Брата». Это будет первое полотно о диком и романтическом Севере.

Вельбот подошел к Трем Братьям. С голых черных скал взметнулась туча птиц и затмила солнце. От Трех Братьев прошли еще немного на юг, но ветер здесь покрепчал — впереди открылось море. Оставалось обогнуть еще один, самый южный мыс полуострова и взять курс на запад, но встреч поднялись такие волны и так ударили в нос и днище вельбота, что посудина завертелась и запрыгала на месте. Сильные гребцы сидели на веслах, но противный ветер жал сильнее, и весла, казалось, вот-вот переломятся.

— Не пройдем, — сказал Цареградский. — Крепче держись! Будем разворачиваться...

Усталые, мокрые, как мыши, вернулись к Трем Братьям, зашли в безымянный, не упомянутый в лоции, заливчик и оказались в таком затишье, словно попали в иной мир. Опять стало радостно и весело на душе. А подкрепились, так и совсем повеселели и безымянную бухточку назвали Веселой, а светлый бурливый ключик, из которого жадно пили воду, — Веселым Яром.

Велико было желание увидеть хотя бы краешком глаза бухту Нагаева, и Валентин решил подняться на ближнюю сопку. За ним Митя и все остальные. По ключику сквозь заросли ольховника и кедровника продрались на пологую и голую седловину, прошли километра два по плоскому гольцу и, прыгая по серым базальтовым камням, забрались на вершину сопки. И отсюда открылась широчайшая панорама.

На юге, сверкая, расстилалось море с двумя голубенькими, похожими на облака, островками. На востоке был виден весь Ольский рейд, и даже двуглавую церковку с домиками можно было рассмотреть в бинокль. На севере горы переливались грядками: синие сменялись голубыми, голубые — белыми. А на западе, совсем рядом, будто под ногами, в бинокль видна даже золотистая рябь, — светила бухта Нагаева. Ее берега были обрамлены зеленью,

и она показалась и на всю жизнь запомнилась Валентину Александровичу оазисом среди голубых барханов морской пустыни и синих гор.

Цареградский решил, что непременно придет на берега этой бухты специальным маршрутом и обстоятельно обследует ее и опишет, будет первооткрывателем и ее первым поселенцем... А пока, пользуясь попутным ветром, хорошо бы отправиться на восток, вон к тем видимым отсюда высоким синим горам, которыми любовались еще с парохода и которые манили к себе обнаженными складчатыми склонами. Там наверняка найдутся палеонтологические остатки, а может быть, и полезные ископаемые, то же золото, ради которого Билибин рвется на Колыму...

Валентин скомандовал «всем на берег». Спустились с сопки — как шары скатились. Вышли из бухты Веселой, подняли парус, и вельбот, подгоняемый крепким ветром, понесло к ольским берегам. В Оле оставили доктора Перяслова, его немножко мутило, взяли Билибина.

Юрий Александрович тоже пожелал сплавить к заманчивым горам. Обивать порог тузрика ему уже порядком надоело. С транспортом было туго, но что-то все-таки делалось, и можно потратить денек на осмотр ближайших гор. Поплыли.

Погода на Охотском побережье изменчива. Ветер вдруг стих, гребцам пришлось сесть на весла. А вскоре с моря навалился такой туман, что не только те высокие горы, которые час назад были отчетливо видны с полуострова Старичьего, но и ольские берега, которых чуть ли ни касались веслами, скрылись. Лодку будто накрыло матовым копаком.

Туман был промозглый, леденящий, гребля не согревала. Плыли без шуток, без песен. Гребли и Билибин и Казанли. Каждые полчаса менялись, кто отдыхал — залезал под брезент. Лишь Цареградский бессменно сидел за рулем. Плыть было опасно. Валентин чутко вслушивался, как бьет прибой о невидимые в тумане прибрежные скалы, и по их шуму старался определить, какие здесь берега — обрывистые или пологие. Там, где волна ударяла с грохотом, Валентин брал мористее, но и далеко опасался отходить, ждал, как только слышатся мягкие накатывающие волны, чтоб пристать и выйти на берег.

Нервы были напряжены, и, может, поэтому он с особенной остротой примечал во мраке все: светящиеся воронки от каждого удара веслом, призрачные сверкающие полосы от каких-то рыб или неведомых животных, рассекавших

под днищем густую черную воду, и фосфоресцирующее свечение, неизвестно от чего исходившее...

Вдруг Валентин услышал, что шум прибоя изменился, стал тише и мягче, осторожно направил вельбот на этот шум и не скомандовал, а попросил:

— Потихе, ребята.

Ребята опустили весла, притормозили. Нет, шум прибоя не усиливался, здесь берег явно пологий.

— Сейчас будем купаться, — невесело пошутил Цареградский.

В той же лоции он читал, что приставать в сильное волнение нужно строго перпендикулярно к берегу, иначе волна перевернет, а то и перевернет лодку. А когда лодка подойдет близко к суше, нужно очень быстро и ловко, без сильного толчка, выскочить из нее и, пользуясь следующей волной и по-прежнему сохраняя то же перпендикулярное направление, притянуть лодку к берегу. Мудрая лоция — в ней все сказано.

Но получилось не так, как советовала мудрая лоция. Вельбот не удалось поставить перпендикулярно, потому что в этот момент, а точнее, за секунду до волны Валентин первым выскочил из вельбота, но не так ловко, как нужно, слишком сильно оттолкнулся.

Вельбот занесло, и волна захлестнула его. Хорошо, что здесь было мелко, лодка заскребла днищем по песку, села и не перевернулась. Да и люди — Аксенов, Мосунов, Ковтунов, Игнатьев, Билибин — смелые и сильные. Не растерялся и Митя Казанли. Выскочив из вельбота, никто не побежал к берегу. Все вцепились в борта и, скользя по мелкой гальке, глотая соленую воду, развернули посудину перпендикулярно набегавшей волне и с ее помощью вытянули на берег.

Цареградский чувствовал свою вину, но никто не осуждал его, вроде бы и не заметили его поспешки, напротив, все, хотя и искупались в ледяной воде, радостно возбужденные, благодарили рулевого за то, что вывел их на берег, называли опытным капитаном. Лишь Юрий Александрович как бы между прочим и вовсе не по адресу Цареградского заметил:

— Капитан оставляет судно последним.

Они оказались на узком галечном пляже. Судя по наплывам морской капусты, приливная волна не заливала это место, и можно быть спокойным, что не зальет, если прилив и не кончился. Перед ними высились голые скалы, туман срезал их вершины, вероятно, очень высокие. Ниче-

го не оставалось, как располагаться на дне этого мешка.

На берегу валялось много наносника. Собрали что посуше, разложили костер, обогрелись, обсушились, подкрепились, натянули брезентовую палатку. Она рассчитана на четверых, залезли все семеро. Уплотнились так, что если один переворачивался, то и остальные вертели как шестерни. Но ворочаться почти не приходилось. Страшно усталые, спали как убитые.

Утром тумана как не бывало. По камням вскарабкались наверх. Горы круто обрывались к морю, а в другую сторону полого переходили в равнину, болотистую, с небольшими озерками. Одно из них было довольно крупным. Прошли к нему, обследовали берега, дно, попробовали воду и предположили, что это озеро, как и прочие, лежит на дне бывшего моря, и прибрежные горы, по всей вероятности, молодые.

— Золота здесь определенно нет, — сказал Билибин.

И Цареградский подумал, нет смысла терять время на поиски древней флоры и фауны. Оба решили пешком возвращаться в Олу. Казанли с рабочими остался устанавливать астропункт.

Билибин и Цареградский считали, что до Олы недалеко, к ночи можно дойти. Взяли на двоих банку мясных консервов, пачку галет и попрыгали по кочкам. Но путь оказался не близкий. Пока было светло, прыгали хорошо, как лягушки, а стемнело, стали спотыкаться, проваливаться в мочажины. Кое-как выбрались на твердую землю и решили переночевать. А спички, оба некурящие, не прихватили, наломали веток карликовой березки, уложились на них, прижались друг к другу спиной, накрылись одним плащом...

Вот так, в сидячем положении, прижавшись друг к другу, подремали часика два, пока не забрезжил рассвет. На завтрак проглотили банку консервов и пачку галет, запили болотной водицей и пошли. Весь день топали, без привала, голодные.

Поздно вечером вышли в долину Олы. Реку сразу узнали по голубоватой прозрачной воде. И местность показалась знакомой — Хопкэчан. Где-то здесь юрта Макара Медова.

УЛАХАН ТАЙОН КЫХЫЛБЫТТЫХТАХ

Макар сидел в темном углу юрты, низко опустив голову. Он даже глаз не поднял на вошедших гостей. Билибин и Цареградский долго не могли допытаться, что случилось. Макар молчал. Молчала Марья. Молчали кудринята и макарята.

Наконец Макар Захарович выдавил:

— Убьют.

— Кого? За что?

— Моя убьют...

— Кто убьет? За что?

— Никто не убьет! — выскочил из своего угла Петр, старший кудринский отпрыск.

Ему двадцать лет. Он ловок, строен, крепок. Учитель сказывал, что Петр первым записался в комсомольскую ячейку, первым сел за парту в школе, когда ему уже перевалило за восемнадцать, и Макара Захаровича, которого зовут дядей, и свою мать стал обучать грамоте — ликбез на дому...

— Никто не убьет. Это пустые угрозы. Я заявление сделаю: это происки живоглозов, богатых оленехозяев! Это или князец Лука Громов подстраивает... Жадный, пожадничал — дешево продал вам своих оленей... Или наш богатый саха Александров... Не понравилось ему — его как бы обошли. А кто виноват? Кто виноват, что он своих коней на лодку променял... Все кого-то обмануть норовит, нажиться хочет! А теперь от зависти лопаются: дядя Макар экспедиции помогает, почти даром помогает, на этой помощи Александров загреб бы, а дядя Макар его конъюнктуру сбил... Конъюнктуру, понятно? И теперь валят все на дядю Макара и на вас, товарищи! Говорят, что вы и палы пускаете, и лес без разрешения рубите...

И Юрий Александрович узнал все, что случилось. В урочище Нельберкан кто-то поджег моховище. Подозреваются люди из геологической экспедиции: прогоняли оленей, купленных у Громова, и подожгли. Может, нечаянно, а может, и с умыслом. А прогоняли, как известно, Макар Захарович с Раковским, и подозрение падает на них.

Заявление о пожаре сделал в тузрик безоленный тунгус Архип Григорьев. За него, конечно, кто-то все это состряпал, и будто бы он, Архип Григорьев, просит раймилицию принять наиболее строгие меры относительно виновников лесного пожара в интересах туземцев, охраны лесного богатства и оленьего корма. На этом заявлении сам Бело-

ключовов резолюцию наложил: разобрать сначала на исполкоме Гадлинского сельсовета! Из сельсовета бумага пошла обратно в тузрик, дальше пойдет в округ, оттуда и до Москвы!..

С этим заявлением еще не разобрались, а милиционер Глущенко сельсовету уже новое дело подсунул. Экспедиция на речке Угликан, недалеко от юрты Свинобоевых, для оленей, купленных у того же Громова, поставила изгородь, кораль, из жердей: полторы тысячи шагов, 223 пролета... Милиционер точно все подсчитал и усмотрел нарушение: молодняк рубили в запрещенное законом время и причем там, где он защищал коренное население от ветра... Словом, акт составил по всей форме.

Слушались оба заявления без представителей экспедиции.

— Дядю Макара, — рассказывал Петр, — из сельсовета вывели и в протоколе записали — за халатность... И еще — за то, что он зажиточный, что батраков имел — это нас-то, сирот Кудрина! А какие же мы батраки? Дядя Макар с мамой в законный брак вступил, нас усыновил, на ноги поставил! Чтоб одеть-обуть, последнего своего бычка продал, а швейную машинку купил. Теперь все будут косо смотреть на него. Грозятся, что все наше семейство из Олы выселят...

Навзрыд заплакала Марья, заревели малыши.

— Никто вас не выселит! Не плачьте, товарищи! Ты, Макар Захарович, не вешай голову! Готовь коней, пойдем на Колыму! Никто тебя пальцем не тронет! Пошли, Цареградский! И ты, Петя, иди с нами — как комсомолец! Мы им «выселим»!

Юрий Александрович и Цареградский, забыв про голод и усталость, несмотря на поздний час, а была уже ночь на исходе, вместе с Петей отправились в Олу.

Макар Захарович проводил их до реки, лодку оттолкнул и на прощание перекрестил:

— Улахан тайон кыхылбыттыхта!

— Какому это он богу молится? — спросили геологи у Петя.

— Тысячу раз безбожную агитацию проводил, тысячу раз говорил ему: «Дядя Макар, бога никакого нет и религия — опиум». Иконы снял, а креститься еще не отвык. А «улахан тайон кыхылбыттыхта» — это не бог, это дядя Макар так назвал товарища Билибина: «Большой начальник красноротый».

В Олу пришли рано утром. В тузрике ни Белоключова, ни Глущенко еще не было, но старый казак Иннокентий

Тюшев, добровольно исполнявший обязанности сторожа, уже стоял при входе как на часах, поблескивая царской медалью «За усердие».

В коридоре Билибин и Цареградский увидели свежий номер стенгазеты «Голос тайги». Под заголовком «Экспедиции» шел текст: «Чтой-то сей год Олу облюбовали разные экспедиции. Экспедиция Наркомпути СССР, еле-еле душа в теле, пошла пешком в тайгу, а их заменили геологи. Последним, видимо, придется, как это ни печально, ждать зимнего пути или выращивать своих оленей».

— Дубовый юмор у этого Ольца, — сказал Цареградский.

Под заголовком «Жилищный кризис» сообщалось о наплыве в Олу приезжих. Им рекомендовалось заблаговременно запастись теплым уголком, «а то, чего доброго, придется околевать». Это был явный намек на брезентовые палатки экспедиции.

— А вот и про дядю Макара, — заволновался Петя.

Под рубрикой «Хроника» Билибин и Цареградский прочитали то, что было им уже известно: Медов М. З. выведен из состава Гадлинского сельсовета за халатность и зажиточность и за то, что использовал в прежние годы комсомольцев Петра и Михаила Кудриных в качестве даровых батраков...

Билибин сорвал газету, несмотря на предостережение Цареградского:

— Не надо, Юра... Заведут дело «об изорвании стенной печати».

— Черт с ними! — Билибин стал рвать газету на мелкие клочки.

Тут как раз и появились Белоключов и Глущенко. С минуту остолбенело стояли на пороге.

Первым очнулся милиционер. Он многозначительно посмотрел на своего начальника:

— Изорвание стенной печати?..

Громыкая сапожищами, Билибин стремительно двинулся на Белоключова и Глущенко. Он обрушил на них такой словесный шквал, что те шарахнулись в разные стороны, пяtilись и рта не могли раскрыть. Еще бы! Экспедициям НКПС, ВСНХа, посланным сюда Советским правительством, вставлять палки в колеса!

— Нашелся один помощник, Медов Макар Захарович, так его, бедняка, в кулаки записали, из сельсовета исключили! Вольноприискателям — хищникам — коней продаете, а нам — дудки? Кому дорогу стелете? Чтоб транспорт

на Колыму был. Завтра же! Экспедиция от Высшего Совета Народного Хозяйства! Я не позволю срывать ее работу! «Молнирую» в Москву товарищу Серебровскому! А он доложит товарищу Сталину...

Белоклювов и Глущенко с минуту стояли по углам сени, затем, боясь наступить на клочки изорванной газеты, на цыпочках пробрались в кабинет. Там они долго молчали, с опасением поглядывая на двери. Придя в себя, занялись оформлением актов и протоколов.

Билибин тоже не сидел сложа руки. В тот же день он направил Эрнеста Бертина в Тауйск и наказал: «Если там телеграф бездействует — скачи в Охотск, к Мюрату. Молнируй в Москву и Хабаровск о задержке экспедиции.

Еще не скрылся за ольской околицей хвост лошади Эрнеста, как зампредгузрика будто проснулся от страшного сна. Тотчас же распорядился созвать внеочередное совещание коневладельцев Гадли и комиссию по перераспределению транспортных средств. На совещание послал Глущенко, на комиссию пошел сам. Билибина пригласил и туда и сюда.

Совещание постановило: в виду отсутствия коней, проданных за отсутствием возможного заработка в разные руки, пока из села Гадли кроме пяти коней т. Медова выделить в распоряжение экспедиции ВСНХа еще пять коней, принадлежащих гражданам Винокурову Г. Е., Дмитриеву Д. Н., Жукову С. П., Сыромятникову Н. К., Винокурову П. Г., провоз продуктов экспедиции, плата за коней и проводника такие же, как экспедиции НКПС. Переговоры будут вести от имени Гадли товарищ Медов Макар Захарович, член Гадлинского сельсовета.

Для экспедиции было выделено пятнадцать лошадей. Юрий Александрович и этому был рад. Жалел лишь об одном — совещались без Макара Захаровича. Его приглашали, но обиженный старик не знал, что все повернется в его сторону, и не пришел, а то порадовались бы вместе.

Одиннадцатого августа Билибин издал приказ о передовом разведывательном отряде. Пойдут: сам начальник, Сергей Раковский, Степан Дураков со своим Демкой, Иван Алехин, Дмитрий Чистяков и Михаил Лунко — шестеро, не считая собаки. Проводниками назначены: главным — Макар Медов, попутным — сеймчанский якут Иван Вензель, родственник Кыллаха. Рабочий экспедиции Петр Белугин идет как ученик главного проводника.

Проводники пройдут до сплава, и, как только возвратятся в Олу, по следу передового двинется второй отряд

под началом Эрнеста Бертина. Его поведет, если Макар Захарович почему-либо не сможет, Белугин. А когда прочно ляжет снег, то на лошадях ли, оленях или собаках выступят под руководством Цареградского остальные. К началу декабря все должны быть на Среднекане. Таков план Билибина.

ПО ТРОПЕ И БЕЗДОРОЖЬЮ

Юрий Александрович сиял словно солнышко, со всеми был приветлив, шутил, смеялся:

— Даешь, догоры, Колыму! Да и тебе, Демьян, хватит вожжаться с ольскими подругами. С нами пойдешь?

Демка не возражал: прыгал и крутил хвостом.

Навьючили четырнадцать лошадей. На пятнадцатую взобрался Медов, свесив ноги чуть ли не до земли. Остальные члены экспедиции взвалили на себя двухпудовые сидоры и потопали на своих двоих.

Вольноприскатели зубоскалили вслед:

— Адреса оставили, куда ваши кости посылать?

...В первый переход, за вечер, отряд прошел совсем немного, каких-нибудь километров пять, но на душе у всех было отрадн — вырвались из ольского сидения. На первом привале Юрий Александрович раскрыл полевую книжку и на титульном листе вывел:

ВСНХ СССР

Геологический Комитет

Колымская геологоразведочная экспедиция

Дневник передового разведочного отряда

Начат 12 августа 1928 г.

Кончен...

«12 августа, воскресенье.

Около 16 часов разведочный отряд выбывает из Олы по Сеймчанской дороге... Весь день проливной дождь. Дорога от Олы до Гадли идет все время долиной р. Ола по сенокосным лугам и небольшим перелескам, сильно размокла. Станом расположились, немного не доезжая с. Гадля, в 5 км от Олы».

«13 августа, понедельник.

Ночью на стану умер тунгус Спиридон Амамич, шед-

ший попутно с экспедицией к месту жительства на р. Чаху. Вызывали ольских властей. День простояли на месте. После составления протокола я и Раковский ушли в Олу, где и заночевали.

Весь день был дождь, то усиливавшийся, то ослабевавший».

«15 августа, среда.

Из-за предшествовавших дождей переправа вброд через Ланковую невозможна. Ожидаем, пока придет лодка Макара, и на ней переправляемся на правый берег реки, где и разбиваем на косе палатку».

«17 августа, пятница.

С утра тихо и пасмурно. Выходим со стана в 8.22. Впереди виден высокий хребет Джал-Урахчан, который предстоит сегодня переваливать. Дорога от стана идет все время по мари. Очень редкая мелкорослая листовенница, ягоды, мох, вода.

Еще раз, по-видимому в последний, пересекаем ключ Нельберкан. На косах много ржавого кварца. Тропа идет по ровной, почти совершенно безлесной мари. Начинается подъем на хребет Джал-Урахчан. Хребет начинается очень неожиданно и резко, сразу крутыми склонами, не отделяясь от мари какими-либо увалами.

Делаем привал и чаепитие. Выхожу с привала впереди транспорта. Тропа идет по неширокому логу. С боков лог ограничен гривками с останцами. Тропа круто взбирается на главный перевал.

Соседние гольцы поднимаются над ним на 300—400 метров. Отдельные вершины хребта на глаз до 2000 метров. Хребет сложен светлыми, серыми и розоватыми гранитами, большей частью крупно- или среднезернистыми. Местами они переходят в гранодиориты. Глыбы этих гранитов начинают встречаться вскоре же после начала подъема на хребет и тянутся на протяжении всего пути. Местами в небольшом количестве встречаются куски серых, розоватых и зеленоватых плотных порфиров, по-видимому жильных.

С хребта на юг видны системы увалов, иногда гольцового характера, вдоль берега моря и за ними мощные хребты полуострова Кони и острова Ольского (Завьялова).

С главного перевала начинается спуск в долину речки Чаха. К северу, за Чаха, видны увалы и далее, в 40—50 км, мощные горные цепи, представляющие уже, по-видимому, отроги Колымского (Яблонового) хребта.

Здесь останавливались в ожидании транспорта».

Так описан хребет Джал-Урахчан. Ныне восточная часть

его, на перевал которой поднялся в тот день Юрий Александрович, обозначается на картах Цепью Билибина.

По широкой долине многоводного и глубокого Маякана вышли на Ольскую тропу и вечером расположились станом в устье другой реки — Нух.

Здесь, в галечниковом обрыве, утром Юрий Александрович произвел первое опробование. Знаков золота обнаружено не было.

«19 августа, воскресенье.

...Другая тропа, Бохапчинская, идет далее вверх по р. Оле.

Мы двигаемся последним путем. Переправа через Нух довольно глубока. После Нуха идем по галечным косам Олы, то и дело пересекая отдельные ее протоки...

Долина реки здесь широка, окружена высокими и крупными гольцами. Каменные осыпи с них спускаются очень низко, часто к самой реке. В гальке на косах преобладают различные порфиры всевозможных цветов. Бросается в глаза обилие туфовидных и брекчиевых пород. Встречаются также кварц, глинистый сланец, халцедон...»

«20 августа, понедельник.

На наносах р. Олы начинают в большом количестве встречаться порфиры ярко-зеленого цвета, по внешнему виду напоминающие листовениты.

Справа впадает большая речка, текущая в такой же глубокой, как и Ола, долине. После нее листовениты кончаются.

В 18.45 становимся станом на р. Тотангичан с широкой сухой долиной, поросшей оленьим мохом.

От с. Ола — 151,41 км».

Тропа по Тотангичану только сначала шла широкой долиной. Затем долина стала быстро суживаться и мрачнеть. С гольцов крутыми осыпями сползали багрово-красные порфиры. В обрывах речки темнели черновато-серые песчаники...

В этих отложениях Юрий Александрович нашел древние ракушки: когда-то здесь было морское дно. Образцы фауны решил отправить Цареградскому для точного определения.

Тропа через увал вывела на ровное маристое место с небольшим озерком. Это была вершина главного перевала Колымского хребта. Казаки-землепроходцы называли его Яблоновым. Сказывали, что на его вершине растет одинокая, ветрами искривленная, на лосиный рог похожая лист-

венница. Тунгусы вешают на нее шелковые ленточки, белишн шкурки, расшитые бисером опояски — дары доброму духу, помогающему одолеть перевал.

Вот она, эта священная лиственница, склонилась над водой, подернутой по закрайкам ледком.

Юрий Александрович, соблюдая туземный обычай, привязал к священному дереву просоленный потом платок со своим вензелем, вышитым матерью, вздохнул всей грудью, еще раз оглядел панораму, открывшуюся с перевала, и вынул дневник.

«21 августа, вторник.

Строго говоря, перевала здесь почти нет, и для проведения тракта или железнодорожного пути с Охотского побережья в бассейн верхней Колымы это место является одним из наиболее удобных».

Не пройдет и пяти лет, как именно здесь ляжет знаменитая Колымская трасса.

«22 августа, среда.

Ночью выпал иней. Утро холодное. Довольно сильный северо-восточный ветер.

Подходим к руслу самого Малтана. Здесь это всего лишь небольшой ручеек. Невдалеке от него лежат громадные рога горного барана, свыше пуда весом. Здесь и развалины часовни. Место называется «Церковь».

Малтан очень быстро увеличивается в размерах.

Стан «Элекчан». Здесь на берегу реки имеется тунгусский лабаз. У Элекчана Малтан резко заворачивает влево. Перед станом настреляли много куропаток».

«23 августа, четверг.

Ночью был дождь, а все окружающие гольцы покрылись снегом. Утром холодно и сыро. Дождь прекратился, но около полудня пошел опять.

Смыл ковшом несколько проб на косах. Знаков золота нет. Много куропаток».

«24 августа, пятница.

От самого устья Босандры Малтан течет одним руслом и несет большое количество воды. Можно было бы уже начинать сплав, но необходимо убедиться, нет ли впереди мелких перекатов, чтобы не пришлось бросать плоты.

Переправляемся на левый берег. Слева впадает речка

Хюринда. Косы с многочисленными медвежьими следами. Выхожу без транспорта...»

На тринадцатый день пути Макар Медов заявил:

— Мин барда суох.

«Мой путь окончен, я дальше не пойду». Это было ясно и без перевода.

Десять дней Макар трясся на своей терпеливой лошадке. Десять дней тянулся за ним отряд — без выходных, без дневок.

Если судить по бесстрастным билибинским записям в дневнике — весь путь проходил как будто бы и гладко. Но как часто увязали в марях, и приходилось развьючивать лошадей и вытаскивать их вагами! А сколько купались в ледяных речках и ключиках, когда искали брод! А чащобы, из которых трудно выйти...

«25 августа, суббота.

Небо подернулось дымкой и легкими облачками. Сквозь них проглядывает солнце.

Становимся станом на левом берегу. Малтан имеет здесь внушительные размеры, и около стана есть сухой лес. Решаем начать сплав отсюда.

Перед самым станом, на сопке высятся далеко видные обрывы белых пород. От них называем этот стан «Белогорье», по-якутски «Урюм-Хая».

Макар Медов залез в палатку и сразу уснул. Никто не мешал ему набираться сил на обратный путь. Рабочие тоже с полдня легли отдохнуть и спали всю ночь.

Билибин весь тот день бодрствовал:

«Во второй половине дня поднимаюсь на Белую гору под станом. По каменистой осыпи подъем очень крут. Цепляюсь за стланики, но они растут редко и кучками. Сначала идут желтоватые породы, не то туфы, не то порфиры. С половинны горы — зеленовато-белые, мелкозернистые туфы. Они очень рыхлые, рассыпаются в белую глину. Высота горы над станом около 200 метров. С ее вершины хорошо видна река Хета, прихотливо извивающаяся серебряной лентой...»

26 августа, воскресенье.

День пасмурный. С утра легкий дождичек. Разбирали и сортировали груз. Начали заготовку леса для плотов».

Одни валили лиственницы, другие резали тальник на кольца, рубили клинья, ронжи, весла и прочую оснастку.

Работали споро, весело. Всеми работами руководил Степан Степанович.

27 августа связали один плот, на другой день — второй. Первый плот был на два аршина короче второго и поувертливее. На нем предстояло плыть Раковскому, и плот называли «Разведчиком». Второй хотели окрестить «Начальником», но Билибин настоял на названии «Даешь золото!».

Оба плота были готовы. Юрий Александрович написал письмо и распоряжения в Олу. Он подробно описал весь маршрут передвижения передового отряда, чтоб было ясно, как идти второму отряду. Как и в дневнике, краски не сгушал, напротив:

«В общем дорога была хорошая, по Тотангичану — прекрасная, а по долине Малтана можно одинаково хорошо пройти и без троп, правда, приходится три раза переправляться вброд, все три переправы довольно глубоки, и брод следует выбирать осторожно...»

Набросали такие же бодрые послания своим друзьям и остальные: Раковский — Бертину, Лунеко — Ковтунову, Алехин — Мосунову. Все это вручили Петру Белугину с наказом:

— Мы прошли — дело за вами!

На старых высоких тополях, росших по берегу Малтана, Раковский сделал затесы:

«29/VIII—28 г. Отсюда состоялся первый пробный сплав К. Г. Р. Э. Юрий Билибин, Иван Алехин, Степан Дураков, Михаил Лунеко, Сергей Раковский, Дмитрий Чистяков».

По просьбе Степана Степановича добавил: «Демьян Степанов».

К затесам Сергей подвел Медова, прочитал ему, что вырублено, и доверительно по-якутски попросил:

— Запомни, Макар Захарович, это место. В случае чего приведешь наших сюда.

Сергей подал старику топор:

— Пиши свою фамилию.

И Макар Захарович, пыхтя над каждой буквой, нацарапал: «Медоп».

28 августа, вторник.

Ночь морозная. Утром иней. Солнечно. Лошади и проводники ушли на Олу. К вечеру небо затянуло, поднялся ветер».

ДЕМКА — ВЕСТНИК БЕДЫ

Макар Захарович Медов и Петр Белугин возвратились в Олу в середине сентября. Лошадям дали немного отдохнуть, и в конце месяца выступил в тайгу отряд Бертина: Белугин, Игнатъев, Кирилл Павличенко и сам Эрнест Петрович. Цареградскому осточертело сидеть в Оле, и он вместе с Медовым решил сопровождать отряд до сплава и по пути самому покопаться в том месте, где Билибин поднял древние ракушки.

Стояла глубокая осень. Лиственницы пожелтели и осыпались, устилая тропы шелковистым ковром. Шли дожди. Река Ола разлилась и даже речушки, впадающие в нее, преодолевали, подолгу отыскивая брод. По ночам подмораживало, и дорога леденела. За день не делали и двенадцати километров.

Когда начали подниматься по Тотангичану на Яблонов-ый перевал, повалил густой тяжелый снег. Думали — растает, а он и не собирался таять, лег до весны. Макар Захарович решительно заявил, что дальше не пойдет: кони погибнут.

С ним согласились. Но и возвращаться обратно со всем грузом и всем отрядом Эрнест Петрович считал неразумным. Лошадей развьючили, груз сложили и надежно укрыли, поставили палатку с железной печкой. В этом таборе Бертин, Игнатъев, Белугин и Павличенко остались ждать олений караван, а если представится возможность — двигаться вперед... Цареградский с Медовым вернулся подготовить зимний транспорт.

17 ноября Евгений Игнатъев, пробившись по глубоким снегам и незамерзшим речкам, доставил Цареградскому письмо от Эрнеста Бертина.

Написанное 9 ноября, оно начиналось так:

«В. А., с нашим первым отрядом случилась, вероятно, какая-то неприятность...»

Эрнест паникером не был, но в письме с каждой скупой строкой усиливалась тревога и напрашивалось предположение, что отряд Билибина потерпел на порогах аварию и в живых остался только пес Демка: «Он сильно истощенный, побитый. Видать, долго плутал и пробирался тайгой, пока не вышел на наш стан».

Цареградскому не верилось и не хотелось думать, что шестеро его товарищей, молодых, здоровых, погибли. В крайнем случае они могли потерять на порогах груз, сидеть без пищи и теплой одежды, не имея возможности со-

общить о себе... Но почему собака пришла на стан одна?..

На все эти «почему» письмо ответа не давало. Ничего, кроме предположений, не мог сказать и Евгений Игнатьев. Они до прихода Демки ходили на лыжах в разведку, перебрались за Яблоновый перевал, но не встретили ни одного человека и ничего об отряде Билибина узнать не могли.

Валентин не знал, что делать. Игнатьева, не дав отдохнуть ему, послал к Медову в Хопкэчан, сам — к Лежаве-Мюрату...

Тот забегал по комнате:

— Черт-те что! Там экспедицию Нобиле ищет весь мир. А тут три месяца ни слуху ни духу — и никто не чешется! Завтра же выезжать по следу Билибина! Хоть на собаках, хоть на лыжах, хоть на брюхе!.. А сегодня, сейчас же, я собираю тузрик, партячейку и весь совпроф! Доклад о катастрофическом положении будете делать вы! Да поострее! Порезче! И письмо это непременно зачитайте! Собака беспокоится, ищет, а люди сидят, портки протирают...

Экстренное заседание тузрика, партячейки, совпрофа и комсомола состоялось в тот же день утром.

Валентин никогда прежде на подобных заседаниях не бывал, а тут сразу — докладчик! Хотел подготовиться, набросать тезисы, обратился за помощью к поднаторелому в таких делах Лежаве, но тот отрезал:

— Какие тезисы! Катай без бумажек!

И Цареградский «катал», сам себя не узнавая. Никогда он не был таким резким и прямым. Не щадил ни Белоклюдова, ни Марина, ни Миндалевича, ни самого себя:

— Нас послали сюда, чтобы, как говорил товарищ Серебровский, «расшевелить золотое болото», а мы сидим чепыре с половиной месяца в этой ольской трясице! Может, мы не очень опытные, может, среди нас кое-кто прежде не видел оленя, но мы делаем все, чтоб организовать транспорт. Взялись даже за обучение диких оленей. Пошли даже на опасный сплав по порогам. А вот вы, благополучно здравствующие, что делали вы во время нашего великого сидения в Оле? Вместе с Миндалевичем против нас туземное население восстанавливали? Завышали цены, отбивали у нас возчиков, лошадей, оленей...

Заседание еще не закончилось, как, резко распахнув двери, вместе с ветром и свежим снегом ворвался Макар Медов и, никого не замечая, кинулся к Валентину:

— Литин! Собаки баар! Нарты баар! Барда, Литин! Бохапча — барда! Билибин — барда!

Ранним утром 19 ноября первыми из Олы двинулись шесть собачьих упряжек, до отказа загруженных продовольствием, теплой одеждой и горбушей — собачьим кормом. Взяли с собой палатку и железную печку. На первых нартах торили путь сыновья Макара Захаровича Петр и Михаил. На остальных — Цареградский, Казанли, Ковтунов, Мосунов, за один день прошедшие у старика Медова курсы каюров. Сам Макар Захарович не каюрил, подсаживался то к одному, то к другому в качестве инструктора.

И в тот же день, чуть позже, выступили из Олы первые двадцать оленьих нарт. Через неделю — еще двадцать. Всего сто оленей. Двинулся большой аргиш. Кончилось великое ольское сидение.

ВПЕРЕД НА СОБАЧКАХ

Искусством управлять собачками быстро овладели не только Цареградский и приткий Кузя Мосунов, но и тяжеловатый на подъем Андрей Ковтунов, и рассеянный, как все ученые, Митя Казанли, прежде видивший собачьи упряжки лишь в книжках с картинками.

Макар Захарович был доволен своими учениками и каждому советовал:

— Купи нарта — каюр будешь, симбир саха будешь!

Торили дорогу Петр и Михаил. Макар Захарович пока никому, кроме них, не доверял это сложное дело.

Лишь после четвертой ночевки Медов распорядился поставить впереди нарту Цареградского. Валентин был горд.

Утром собаки, хорошо отдохнув за ночь, охотно, с радостным повизгиванием шли в упряжку. Только две, которых Валентин ставил в последнюю пару, плелись на это место уныло. Бежать и отдыхать на самом коротком ремне очень неудобно. Сюда обычно ставят провинившихся. Валентин так и сделал: справедливо, как опытный каюр, поставил в последнюю пару рыжего Буяна и ленивую Белку.

Наконец все позавтракали, собрались. Макар Захарович уселся на нарту Цареградского, спиной к нему, и небрежно махнул рукой:

— Ехай.

— Хак! — воскликнул Валентин, и его упряжка тронулась первой.

Сначала ехали густой прибрежной порослью, навстречу бежали высокие стройные чозении. Отягощенные снегом,

они осыпались мелкими белыми цветами и напоминали Валентину лесные сказки из далекого детства.

Из перелеска вылетели на лед речки Чаха, левого притока Олы, падающего с гор и потому быстрого, местами замерзшего. Макар Захарович предупреждал, что лед на Чахе, вероятно, еще тонок, могут встретиться и полыньи. Цареградский был настороже, всматривался зорко, но, когда собаки, встревоженные пролетевшей впереди кедровкой, понесли во всю прыть, Валентин опьянился такой ездой, забыл об осторожности и не только не притормаживал, а, напротив, криками «хак! хак!» и остолом подбадривал четвероногих.

Ветер свистел, полозья визжали, точно комары звенели, и лед, местами зеркально чистый, казался крепким, надежным. Макар Захарович, укрывшись от ветра за спиной своего ученика, навалился на него всей тяжестью — вероятно, крепко и сладко спал...

И вдруг — толчок! И нарта левым полозом повисла над провалом, и все пять собак левой упряжки заскользили вниз, увлекая остальных. Валентин в ужасе замер: под ним бурлила и неслась темно-зеленая вода.

Когда и как соскочил с нарты Макар Медов, Цареградский не видел, он только услышал:

— Прыгай сюда!

И прыгнул в один миг с этим криком, угодив прямо под бок старику. Макар Захарович, растянувшись по льду, цепко ухватился за копылы нарты. Последовал его примеру и Цареградский. Вместе они удержали сани и огромным усилием стали оттягивать от полыньи. Им помогала и правая пятерка собак, особенно рыжий кобель Буян: он зубами вцепился в постромки Белки и выволок ее из провала.

Когда вытянули весь потяг и оттащили нарты, собаки долго визжали и ошалело отряхивались. А Макар Захарович, насупившись, молчал. Валентин, избегая его взгляда, долго и старательно поправляя груз, разбирал собачью упряжь. Подъехали остальные.

— Искупались, вожаки? — спросил Кузя.

Валентин и Макар Захарович в ответ ни слова. Наконец старик сел на свое место и спокойно, как будто ничего не случилось, сказал:

— Ехай.

И только когда отъехали километра два, проворчал за спиной Цареградского:

— Худое место бежать надо... Не умеешь ездить, зачем взял нарта?.. Чужая нарта.

И больше ни слова упрёка.

Вечером того же дня пересекли кривун этой злосчастной Чахи и снова въехали в лес, мелкий, чахлый, заваленный буреломом. Сидеть не приходилось. Нужно было бежать, поддерживать нарту, скакать через нее.

Когда снова выбрались на ровный лед Олы и можно было отдохнуть, Макар Захарович ласково проговорил:

— Каюр будешь... Только своя нарта надо...

Но на другой день, когда по долине Тотангичана брали Яблоновый перевал, старик вперед все-таки опять поставил Петра и Михаила.

На Элекчане, в повом, еще пахнущем смолой, жарко натопленном зимовье, построенном Эрнестом Бертиным рядом с тунгусским лабазом, все чувствовали себя бывальными каюрами, было приятно сознавать, что завершили трудный двухсоткилометровый путь.

Самого Эрнеста Петровича и его рабочих Белугина и Павличенко в зимовье не застали. Макар Захарович осмотрел все урочище и доложил: все трое вместе с собакой ходили в стойбище тунгусов, когда те подкочевали близко, один кес отсюда, к Элекчану; обзавелись парой оленей, но не ездовыми, а полудикими, видимо, больше тунгусы продать не могли — у самих мало; трое свалили крепкую толстую лиственницу, выстругали из нее широкие лыжи, смазали их оленьим салом, срубили две березы, смастерили промысловые нарты, нагрузили их тяжело, сами впряглись, обоих оленей завьючили и пять дней назад отправились в сторону реки Колымы, на север, вместе с собакой...

— С Демкой?

— Кобель.

— Значит, он! А куда они направились? На Бохапчу или Среднекан?

— След завтра, однако, покажет.

— Тунгусы откуда прикочевали? Они могли знать, есть наши на Среднекане или нет?

Макар Захарович засыпал и ответил сквозь сон:

— След завтра покажет...

Назавтра, чуть дрогнул рассветом восток и начали меркнуть звезды, выехали. Мороз был такой, что дыхание перехватывало. Шли по следу Бертина. Когда он свернул туда, где розовел рассвет, Цареградский обрадовался: Билибин на Среднекане, нет нужды ехать на страшную Бохапчу, путь — на рассвет.

Но Макар Захарович возразил:

— Сергей и Билибин говорили: веди наших туда, — мах-

нул старик рукавицей на запад. — Там Урюм-Хая, Белая гора. Затес там. Читай затес — знай, где Билибин. Там са-ха, заика саха, он все знай...

— Бертин пошел туда, значит, от тунгусов он узнал, что Билибин на Среднекане, — стоял на своем Цареградский.

— Тунгус знай — не знай... Хиринникан люди — баар, а Билибин — баар, суох?

На таком сильном морозе не только дышать, но и думать трудно — мозги будто замерзают. Валентин с трудом понимал, что говорит старый якут, но все-таки соображал: тунгусы могли сказать Бертину, что на Среднекане есть нючи — русские люди, и там они есть: Оглобин, Поликарпов, старатели, но есть ли среди них Билибин, Раковский и рабочие экспедиции, тунгусы могли и не знать, для них они все — нючи. Макар Захарович, пожалуй, прав: надо ехать на Бохапчу, к якуту-заике и у него окончательно выяснить, прошел Билибин пороги или нет.

Собачий караван направился к Бохапче. В широкой долине Малтана кусты, деревья и даже ровный белесый воздух словно окаменели, замороженные. Было тихо. В этом безмолвии пронзительно скрипели полозья, да изредка, как выстрелы, раздавались «хак!», «тах!», «хук!».

Холод забирался под одежду, ныли кости. То и дело соскакивали с нарт и бежали, размахивая руками, чтоб как-нибудь согреться. Один Макар Захарович недвижно сидел, закутанный до самых глаз бабьим платком.

— Не замерз? — встревожился Валентин.

Старик в ответ слабо взмахивал рукой.

Белесоватое солнце лениво поблуждало по южным склонам гор и, не опустив свои лучи в долину, скрылось. А когда сумерки сгустились и посинели, Макар Захарович остановил нарту у старого, без вершины, раскидистого тополя, похожего на распятие, подошел к нему, смахнул с посеребренного ствола иней:

— Читай.

Все, сгрудившись, в один голос, тихо, но торжественно, словно клятву, читали:

«Двадцать девятого, восьмого, двадцать восьмого года. Отсюда состоялся первый пробный сплав К. Г. Р. Э.».

Макар Захарович подводил к другим деревьям, очищал затесы.

«Иван Алехин, Юрий Билибин, Степан Дураков, Михаил Лунеко, Сергей Раковский, Дмитрий Чистяков, Демьян Степанов, Макар Медоп».

— Моя! — воскликнул Медов.

За прибрежными тополями обнаружили остов палатки, щепки — все, что осталось на месте стоянки отряда Билибина. На этот же остов натянули свою палатку, щепки положили в железную печку, поставили чайник. Все делали молча, тихо.

И ночь наступала ясная и такая тихая, что слышалось, как смерзаются клубы горячего дыхания — шепчут звезды...

Нарушил молчание Митя Казанли:

— Валентин, помнишь, Юрий Александрович в письме, отправленном отсюда, просил установить координаты Белогорья? Займемся? Ночь самая подходящая, звездная.

Цареградский и Казанли вылезли на мороз и почти всю ночь устанавливали координаты Белогорья. И думали о Билибине, его отряде...

Валентин примостился на нарте, под свечкой, прикрепленной к дуге, держал в замерзающих руках хронометр и по нему отсчитывал доли секунды. Митя пристроил на высоком пне секстант, следил за движением Полярной звезды — она висела как раз над вершиной Белой горы — и время от времени командовал:

— Готовься!

— Есть.

Ртуть в горизонте секстанта замерзала. Лезли в палатку, отогревали, сами немножко согрелись и — снова:

— Готовься!

— Есть.

Валентин смотрел то на хронометр, то на крутой силуэт Белой горы и вспоминал, что именно с нее, с ее обрывистого склона, взял Билибин образцы породы с отпечатками древних растений и окаменевшие обломки стволов, направил их с Медовым в Олу, а он, Цареградский, определил их как верхнемеловые. Это были первые находки ископаемой флоры, которая восемьдесят — сто миллионов лет назад зелела здесь, а потом была законсервирована в вулканических пеплах. Такие пеплы, как успел узнать он, покрывают огромные пространства Охотского склона, на его водоразделе с бассейном Ледовитого океана. В таких пеплах и лавах, как известно науке, могут встречаться богатые месторождения золота и серебра, но россыпей они не дают и простым опробованием их не уловишь. Когда Билибин узнает, что образцы, найденные им в Белогорье, определены как верхнемеловые или третичные, очень обрадуется и еще больше заинтересуется этими белыми горами... Но узнает ли?

ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА

ПАХАЛИ ДО КРОВАВЫХ ЭПОЛЕТ

Перед сплавом Билибин заснуть не мог. В дневнике записал:

«29 августа, среда.

Ночь пасмурная и теплая. В 6 часов 50 минут начался дождь. Шел с перерывами.

С утра складываем груз на плоты. Плот «Разведчик» — длина 10 аршин, ширина 6 аршин, посадка $\frac{2}{4}$ аршина — груз, не портящийся от подмокания: горные инструменты, спирт, мука, крупа, сало, масло. Плот «Даешь золото!» — длина 12 аршин, ширина 6 аршин, 16 бревен, посадка около $\frac{2}{4}$ аршина — груз, портящийся от подмокания: личные вещи, экспедиционное снаряжение, сахар, соль, табак, спички, сушки.

Отплываем из Белогорья в 12 часов 51 минуту.

В 13.15. «Разведчик» ненадолго сел на мель.

13.23. «Даешь золото!» сел на мель. Вскоре подошел «Разведчик» и сел рядом. Стяжками снимали оба плота.

14.27. Снялись с мели. Вскоре «Разведчик» еще сел ненадолго.

Вследствие очень частых заворотов и постоянных мелей вести точную съемку невозможно. Общее направление долины реки далее — 350°. Средняя скорость плотов — 6 км в час».

На этом закончились записи в сохранившемся дневнике.

Еще на плотбище Юрий Александрович ставил водомерные рейки и с тревогой отмечал, как быстро падает вода — за сутки на двенадцать сантиметров! А когда остановились на первый ночлег, тревога усилилась — только за ночь вода убyla на десять сантиметров!

Лучшее время после дождей было упущено. Малтан мелел на глазах и обнажал перекааты. И скоро пришлось не столько плыть, сколько пропахивать плотами реку. Чтобы хоть немножко приподнять воду, собрать ее под плотом,

с переднего торца опускали оплеухи — две длинные, широкие, заранее вытесанные доски. Эти передвижные плотинки иногда выручали, но чаще приходилось проталкиваться стягами — крепкими сухими лиственничными кольями в два метра длиной.

Каждый плот с грузом весил не менее тонны. Подсовывали эти стяги под торцы и, по щиколотку увязая в мелкой гальке, разворачивали тяжело груженные махины туда, сюда, обратно, пока не сталкивали. Когда садились на мель рядом два плота, то налегали на них всем гамузом, вшестером. А если один ушел, другой засел, то тут вся тонна приходилась на троих.

Так и стягивали с мелей, волоком перетаскивали через перекааты. Толщиной в доброе бревнышко, стяжки ломались, будто спички. Чаще всего у Юрия Александровича — не соизмерял свою силушку. От этих стяжков в ногах долго не унималась дрожь, ломило все тело, а на плечах загорелись рубином ссадины.

А позже Билибин вспомнит: «Через три дня у всех у нас на плечах образовались кровавые эполеты».

Камни стесывали бревна как топором, перетирали тальниковые кольца. Хорошо, что их много нарезали про запас, на ходу меняли, а то плоты развалились бы.

Перекаатам и мелям, казалось, не будет конца. Опасались бешеных порогов, а тут трясогузкам по колено. Погуливают по камешкам, едва прикрытым водой, и кокетливо помахивают хвостиками. О порогах стали мечтать — поскорее бы до них добраться. И есть ли они?..

После впадения Хеты воды в Малтане заметно прибавилось. Перекаатов стало меньше, пошли глубокие плесы. Плыть стало веселее.

После еще одного притока, речки Асан, вынесло на такое длинное плесо, что заскучали. Плыли по нему часа полтора, не шевеля веслами. И тишь такая, что слышно, как вода журчит под плотом, убаюкивает.

Только главному лоцману не спалось. Это плесо ему не нравилось. Напряженно вглядывался, вслушивался, даже про трубку свою забыл — она не дымилась. И вдруг как гаркнет:

— Бей право!

От его зыка Миша, прикорнувший у кормового весла, чуть с плота не свалился. Все вскочили, затабанили веслами и шестами. Плоты вырвались из быстрины, закрипели по прибрежной гальке и врезались в перемычку протоки. Команду исполнили вмиг, но потом стали пересматривать-

ся — зачем свернули? Чтоб опять стяжками ворочать?

Лоцман молча раскурил трубку, молча обошел и осмотрел плоты — надежно ли сидят? — и, никому ничего не объясняя, пошагал туда, где за небольшим островком, за сквозными красноталами ртутью сверкала река. Демка весело потрусил за хозяином. И все, немного постояв, двинулись за Демкой.

Прошли несколько шагов и увидели такое, что Миша Лунеко, бывавший на Енисее, на Амуре, впервые ощутил, как поднимаются на голове волосы дыбом. Да и не он один.

Вода падала с двухметровой высоты и с грохотом разбивалась о камни. Несколько самых крупных торчали над водой, а сколько под водой — не счесть. Вокруг круговерть — будто в кипящем котле.

Если бы не главный лоцман, то троим: самому Степану Степановичу, Сергею Раковскому и Михаилу Лунеко — была бы верная смерть. Не только костей... от «Разведчика» и щепок не осталось бы.

Все стояли на обрывистом краю порога и, не веря, что остались живы, долго не могли вымолвить ни слова.

Наконец Юрий Александрович раздумчиво протянул:

— Н-да... «Так вот где таилась погибель моя». А ведь ни Макар Захарович, ни Кылланах об этом пороге на Малтане ничего не говорили...

Билибин не досказал, что подумал, но все поняли его и подумали так же: если на этом, не упомянутом якутами пороге плоты могли разбиться, то что же ждет их на самой Бохапче...

— Ну, что ж, догоры, надо быть осторожнее. Как говорят тунгусы, глаза есть, однако, видеть надо.

Вернулись к плотам, осмотрели протоку. Она была велика, но в трех местах совершенно сухая. И весь день, до глубокой ночи, разгребали деревянными лопатами и голыми руками галечные наносы, собирали воду, проталкивали плоты все теми же стягами и плечами с еще не зажившими кровавыми рубцами.

Так проложили канал и обошли порог. Порог называли Неожданным, протоку — Обводным каналом.

— Есть такой в Ленинграде, — пояснил Юрий Александрович.

При свете костра в конце рабочего дня он, как всегда, делал записи в полевой книжке, наносил пройденный маршрут на глазомерную карту. И в эту ночь натруженными, чуть дрожащими от работы пальцами — а они были у него крепкие, сильные — держал красный граненый карандаш.

Перечеркнул двумя жирными штрихами реку и сбоку написал: «Порог Неожданный. Проходить левой протокой, осмотреть». И начал вслух рассуждать:

— А ведь этого порога ни Макар, ни Кылланах не видели, потому о нем и не говорили. Лет десять назад его, вероятно, не было. А протока, по которой мы пробилсь, служила основным руслом. Так, Степан Степаных?

— Бывает, — согласился тот. — На дурных речках всякое бывает.

— Конечно, эти камешки специально для нас выросли, — усмехнулся Аলেখиц.

Билибин его вроде и не слышал, продолжал вслух мечтать:

— Вот найдем мы золото... И пойдут по Малтану, по Бохапче не только плоты...

Малтан пахали пять дней. Точнее, три дня пахали, два плыли. После Неожданного встретилось еще одно опасное место, но миновали его благополучно.

На шестые сутки вынесло плоты в Бохапчу. Река — широкая, полноводная, быстрая. Плыть по ней одно удовольствие. Правда, недалеко от устья Малтана пришлось потабанить с километр, но камней было немного. На карте так и написали: «Порог Широкий. Длина 1 км, плыть без осмотра».

А дальше опять одно плесо сменялось другим. Вода, как простыня, вытуженная доброй хозяйкой, без единой складочки. И течение приличное. Не хотелось приставать к берегу даже на ночлег. Шли по восемнадцать часов, от зорьки до зорьки. Наверстывали время, упущенное на непредвиденные задержки.

Всчерело. Смеркалось уже. Звезды высыпали. В начале сентября звезды на Колыме еще как августовские — крупные, яркие и такие низкие, что, кажется, рукой достанешь. В гладкой, тугой, как ртуть, воде они отражались, словно в зеркале. Плыли будто по Млечному Пути, держа курс на Полярную звезду. Красиво плыли!

Последнее плесо оказалось очень длинным, течение замедлялось. А уже всем было известно, что такое затишье — обязательно перед порогом или сильным перекатом. И все были настороже, чутко вслушивались, не шумит ли впереди... Но слышно было лишь, как журчит, тонко позванивая, водица под плотами.

Капитаны перекликались:

— Пристаем, Юрий Александрович? — спрашивал Раковский с «Разведчика».

— Потянем еще! — отвечал Билибин со своего «Даешь золото!»

И тянули.

А тихо было так, что когда кто-то шепнул: «Медведи», то все — на «Разведчике» и на втором плоту — вытянули шеи, словно гуси, и вперились в темноту.

В темноте у поворота на песчаной косе, под густой навесью тальника, что-то копошилось: одна фигура большая, другая маленькая. Очень похожи на медведицу с медвежонком.

Сам Степан Степанович — за двустволку, заряженную жаканами. Сергей Раковский — за пятизарядный винчестер. И Миша Лунеко — за свое оружие, которое у него то стреляло, то чихало. Все нацелились, забыв про весла.

На втором плоту увидели, что на первом изготовились к стрельбе, и тоже: матрос Чистяков — за берданку, лодман Алехин, заядлый охотник, — за двустволку и даже капитан Билибин, хотя охотником никогда не был, — за новенький, купленный на Семеновском базаре, «Саведж», небольшую американскую винтовку, из которой он еще ни разу не стрелял. Охотничий азарт захватил всех.

Один лишь Демка, охотничий пес, спал, свернувшись калачиком, и не повел носом. Плыл он в этот день на плоту «Даешь золото!». Его Юрий Александрович любил и всегда чем-нибудь вкусным приваживал, вызывая некоторую ревность Степана Степановича...

Итак, все, кроме Демки, нацелились и вроде бы команду ждали, чтоб пальнуть залпом... А на берегу в это время большая фигура, видимо, услышав что-то с реки, приподнялась и начала поворачиваться. И Степан Степанович, и Алехин, и Чистяков, и Раковский, и Билибин, и Лунеко, как они после признавались, уже готовы были в этот момент нажать на курки, и чуть было не грянул залп из шести стволов...

И грянул бы, если б не Сергей Раковский!

Он в этот миг увидел: над большой фигурой вдруг вспыхнула и погасла искорка — и истошно закричал:

— Люди!

Свой винчестер отшвырнул, ногой вышиб из рук Степана Степановича двустволку, спиной загородил ружье Миши.

На «Даешь золото!» остолбенели. С разгона второй плот ударился в борт первого, оттолкнулся от него и по быстрине полетел вперед. А за ним течением, бьющим от берега, понесло и выбросило на ту же быстрину и «Разведчика».

— Тас! Тас! — кричали люди с берега.

На «Даешь золото!» никто якутского языка не знал. Не сразу поняли, что такое «тас». А может, и поняли, да в себя еще не пришли...

С «Разведчика» Раковский крикнул:

— Камни! Порог!

Билибин, Алехин и Чистяков схватились было за стяжки и весла, но было уже поздно.

Плот «Даешь золото!» заскрипел всеми связками и носом полез на камни. Корма с грузом, портящимся от подмокания, опустилась в воду.

Демка успел прыгнуть на торчащий из воды торец и там неплохо устроился. А Билибин, Алехин и Чистяков скатились в воду. Она была ледяная, но они в горячке этого не почувствовали. Ногами дно достают, а устоять не могут: течение сбивает, и дно из-под ног будто выскальзывает.

А тут «Разведчик», хотя на нем веслами били вовсю, стал напирать на «Даешь золото!». Он на два аршина меньше, но тоже с людьми-то не меньше тонны!

Билибин, Алехин и Чистяков ошестинились шестью, пытались упереться ими в «Разведчика» и отвести его, но под ногами никакой опоры. И тогда, не сговариваясь, они толкнулись навстречу «Разведчику», уперлись руками в его передний край, а ногами в свой плот.

Так общими усилиями отворотили плот, отвели его и вытолкнули с быстрины к берегу. Билибин, Алехин и Чистяков вскарабкались на «Разведчика». На «Даешь золото!» остался один Демка.

Выбирая направление слива, «Разведчик» аккуратно обошел камни с застрявшим между ними плотом и мягко чокнулся в невысокий обрывистый бережок. Раковский и Лунеко выскочили с веревками и, обмотав их вокруг топей, пришвартовали плот.

Билибин, а за ним и остальные — все бросились к якутам:

— Медведи, живы! Живы, медведи!

Этот порог так и на карте обозначили — Два Медведя.

ЖИВЫ, МЕДВЕДИ!

Морщинистый безбородый якут с трубкой в беззубом рту и черноглазый скуластый мальчонка лет двенадцати стояли там же, на песчаной косе, под густой навесью тальника. У них в ногах валялась верша — рыбачили.

Билибин облапил старика, схватил и подкинул мальчонку:

— Медведи, живы! Живы, медведи!

И все обнимали их и тормошили:

— Медведи! Медведи!

А те не знали, что были на волосок от смерти, и понять ничего не могли. Мальчишка заплакал. Якут-заика, тот самый Дмитрий Заика, о котором говорил Медов, попытался произнести что-то вроде приветствия:

— К-к-ка-а-а-а...

— Капсе после будет! Улахан капсе будет! — кричал ему Билибин и тут же набрасывался на своих:

— Охотнички! Медвежатины захотелось?!

Степан Степанович чувствовал себя главным виновником. Молча пошел к реке.

Раковский — за ним:

— Груз спасти надо...

— Груз спасти, — передразнил его Билибин. — Что — груз?! Людей бы погубили, охотнички! — Накинулся он и на Демку: — А ты, сукин сын, что дрыхнул?!

— Правильно делал, — заступился за него Алехин. — Умная собака знает, когда спать, когда охотиться, когда в воду лезть. Надо было ее слушаться.

Из воды хотелось выпрыгнуть, будто из костра, но часа три возились, зуб на зуб не попадал.

К счастью, груз не весь оказался в воде. Подмокшие вещи отвязали, перетасили на берег. Железную печку искали, ныряли под плот, но не нашли, отложили поиски на завтра. Плот пытались снять, но он засел намертво, и у людей, уставших до изнеможения, не хватало силенок. Оставили до утра.

Выбрались все на сушу и — бегом к жарко пылавшему костру, разведенному якутами. А про Демку, оставшегося на плоту, забыли.

Сами не обсохли, не обогрелись как следует, начали распаковывать тюки и ящики, раскладывать, подсушивать все, что подмокло. Сахар стал, как шуга перед ледоставом. Кукуль Билибина — единственный спальный мешок на весь отряд — раскил.

Чтоб анероиды не заржавели, Раковский влил в эмалированную кастрюлю три бутылки спирта и погрузил в него приборы.

В ту ночь спали долго, до восьми утра. А встали — опять в ледяную ванну, снимать плот. За ночь вода заметно убывала, и плот, зажатый камнями, почти весь висел над водой,

но висел крепко. Повозиться пришлось часа три. Работали молча, слышались одни деловые советы: где нажать, куда толкнуть...

Плот высвободили, начали искать печку. Ныряли, под водой меж камней шарили, с километр вниз по реке таким манером прошли.

Печку так и не нашли и очень сокрушались: зимовать предстояло без нее. А после ледяных ванн никто даже на сморком не страдал: у всех несокрушимое здоровье было.

Все было готово к отплытию. А хватились — Демки нет! Стали звать — нет. Степан Степанович из дустволки раз пальнул, другой... Бывало, на первый выстрел хозяина пес тотчас являлся, а тут нет и нет. Ждали долго, а время дорого, начали злиться...

Степан Степанович рукой махнул:

— Догонит, подлец. — А через того же толмача Раковского все же попросил якута: — Вернется пес — приютит. Пропадет в тайге, сукин сын...

ЛОЦМАНЫ БЕШЕНЫХ РЕК

Полученные от якута Дмитрия Заики «сведения о порогах» были самые неутешительные, — вспомнит позже Юрий Александрович. — Общее протяжение их около 30 км. Проплыть нельзя никак, особенно с нашими плотами. Единственный выход — оставить груз и самим налегке тотчас возвращаться в Олу, чтобы успеть прибыть туда до снега. Дмитрий искренне нас жалел и чуть не плакал, когда мы отправлялись дальше.

Все мы были готовы к тому, что придется груз перетаскивать на себе в обход порогов, а плоты или спускать порожняком через пороги, или делать ниже порогов новые. Я считал, что будет большой удачей, если в течение недели нам удастся преодолеть пороги...».

После порога Два Медведя река, сжатая горами, понесла плоты стремительно.

— А вот и лебеди плещутся...

С лебедями Степан Степанович сравнил белые гребни. Они огромной стаей налетели на плоты и рассыпались по бревнам пенистыми перьями. Плоты запрыгали, будто телеги по булыжной мостовой. Но это был еще не порог, а только шивера. И называли ее Лебединой.

Пороги начались через десять километров, как всегда, после относительно спокойного, гладкого плеса. Каждый

порог, прежде чем проходить, решили осматривать, выбрать маршрут, и причалили к берегу.

Билибин предложил:

— Увековечим себя, догоры. Необходимо каждый порог нанести на карту и назвать. Порогов, как считают якуты, шесть, и нас шестеро. Вот и окрестим их нашими именами. А чтоб не было раздора между вольными людьми, начнем по алфавиту с Алехина до Чистякова. Согласны? Первый порог — Ивановский. Пошли с ним знакомиться.

«Но пороги оказались не так страшны, — продолжит воспоминания Билибин. — Правда, иной раз, осматривая всем коллективом порог, мы подолгу ломали головы, как же провести наши громоздкие плоты через этот хаос камней, между которыми вся в пене клокочет бешеная Бохапча. Иной раз задача казалась невыполнимой, но плыть было необходимо, и наши отчаянные лодманы С. С. Дураков и И. М. Алехин направляли плоты в такие места, где, казалось, они неизбежно должны застрять, но силой течения их все-таки протаскивало, иной раз прямо через камни. Иногда тот или иной плот на несколько часов застревал на камнях; приходилось перекладывать грузы, отрубать бревна, всем слезать в воду с риском быть сбитыми течением с ног и разбитыми о камни...»

Порог Ивановский начинался за поворотом реки и буйствовал километра на два. По одну сторону, на мелководье, гранитные валуны, по другую — камни под водой, но не глубоко. Поток кипит, пенится, гремит. В полукилометре от поворота стихает, а затем опять — вторая ступень порога. Валы на обеих ступенях достигают двух метров.

— Порожек весь в тебя, Иван Максимович, такой же вспыльчивый и быстро отходчивый. Пройдем?

— Пройдем.

Держаться решили середины русла и чуть правее, ближе к подводным камням.

Степан Степанович командовал на своем плоту:

— Бей лево! Лево!

Иван Максимович — на своем:

— Лево! Лево! Веселей!

Плоты выныривали на чистую воду, люди не успевали отдышаться, как Степан Степанович опять торопил:

— Бей лево!

Он знал, какие каверзы ждут на чистой воде после порога да еще на крутом завороте. Другим течением, из-под низу, со дна, плоты понесло на береговые скалы, а там эта же струя, завихряясь, потащила бы их на дно.

Вовремя раздалась команда. Вырвались из хитрого завихрения, прибились к другому, безопасному берегу с галечной отмелью. Отдыхались. Разложив костер, обсушились — ведь сухой ниточки не оставалось ни на ком.

Билибин на карте написал:

«Порог Ивановский. Без осмотра не плыть. Держать правее».

Пошли было осматривать следующий, но Юрий Александрович махнул рукой:

— Смотреть нечего, зря время теряем. — На карте заранее написал: «Порог Юрьевский. Не опасный».

И поплыли. Вдоль левого берега валуны, в русле подводные камни и плиты. Побить веслами и шестами их каменные лбы пришлось немало, особенно в конце порога, на открытых камнях. Но по струе прошли благополучно.

До третьего порога спокойно и быстро плыли два километра. Когда стали к нему подходить, Степан Степанович оглядел его со своего «Разведчика» и крикнул на другой плот:

— Пройдем без осмотра?

— Твой порог, тебе виднее! — ответил Билибин.

Но Степановский оказался и подлиннее, и посложнее Юрьевского. Навести пятьдесят метров он пробивался узким каньоном, всего в каких-нибудь двадцать метров шириной. Вход перегорожен подводными плитами. Слева кося вал, а с обеих сторон надводные камни. Проходили только по основной струе, узенькой, словно по ниточке. Прошли. О камни не ударились.

А за порогом начались шиверы. Один, второй... Пять штук насчитали. На них плоты изрядно потрясло и побило. И поработать пришлось до седьмого пота, пока не пристали к берегу на просушку, отдых и ночлег.

Смертельно усталые, люди были возбуждены и безмерно довольны. За день пройдено три порога и двенадцать километров. Если так плыть и завтра, то, глядишь, к вечеру — Колыма!

И Юрий Александрович, сидя у костра, нанося на карту Бохапчу, думал о том, что если их громоздкие плоты проходят после небольших дождей, почти в межень, то в большую воду пройдут не только плоты, но и карбасы, баржи. А если некоторые камни подорвать и убрать, а где-то воду приподнять насыпными запрудами, плотинками, то совсем станет судоходной бешеная Бохапча. И когда на Колыме откроются прински и рудники, то, пока не построят дорогу, все грузы можно будет сплавлять по реке.

— Будет, догоры, Бохалчинско-Колымское пароходство! Его начальником или главным лоцманом назначим Степана Степановича. Согласен?

Степан Степанович невесело вздохнул:

— Где Демка бродит, сукин сын? — и, попыхтев трубкой, добавил: — Впереди еще три порога. Выспаться надо...

Но заснуть Степан Степанович не мог. Вырывался из ущелья ветерок и выдергивал искорки из его трубки.

Не спалось и Юрию Александровичу. То вспоминал, как в пять лет уплыл на лодке на другой берег озера Неро, что под Ростовом Великим, то родного отца, как то ему служится в Днепровском пароходстве, то Вольдемара Петровича Бертина, его сплав по Алдану с продовольствием в голодный год на приисках, то Серебровского, кричавшего в телефон: «Золото даст огромный толчок развитию транспорта, сельского хозяйства и других отраслей там, где пока еще ничего этого нет...»

На другой день рано утром осмотрели четвертый, Михайловский порог. Зажатый между серыми мрачными скалами с останцами, похожими на идолов, с желтыми листовницами, горящими на выступах, словно свечки, порог пенился так, что и камней не было видно.

На берегах среди камней росла душистая смородина, малина. Под ее кустами, на влажном от росы песке четко отпечатались свежие следы медведя.

— Мой тезка лакомился, и нам не грех, — сказал Миша Лунеко.

Срывая на ходу ягоды, пошли к плотам. Первую ступень порога проходили правой стороной. Через полкилометра — вторая ступень. Здесь за крупными подводными камнями плоты проваливались в ямы, а ниже порога прыгали по ступенькам водопада.

— Красивый твой порог, Миша! — восхищался, оглядываясь назад, Юрий Александрович, когда плоты пристали к берегу. — Каскад! Страшная красота!

И Михаил был очень доволен и похвалами Билибина, и своим порогом, и тем, что прошли его бесстрашно.

Порог Сергеевский встретил тремя огромными камнями. А за ними — крутой слив среди бесчисленного количества камней. На волны и валы река здесь особенно щедра, и тянутся они более километра. Как проходить? Какими протоками? Нигде так не ломали головы лоцманы, капитаны и матросы, как при осмотре этого порога. Наконец махнули руками и отчаянно сказали:

— Попрыгали!

На этом пороге Степан Степанович команд не давал: бесполезно было. Он только сказал:

— Ну, ребята, каждый из вас сам себе лоцман. Смотрите в оба и бейте метко, не в гребешки, а в камни.

Так и делали. Плоты швыряло и подбрасывало. Они лезли и над водой и под водой. Посреди порога, в боковом сливе двухметровый вал вынес «Разведчика» на камень, и, затрепав, заскрипев всеми бревнами, тот замер как вкопанный, а его команда чуть не слетела в воду.

И «Даешь золото!» едва не наскочил на него. Хорошо, что Билибин и Алехин ударили о соседний камень шестами, а Чистяков со всей своей силушкой развернул на полукруг кормовым веслом. Пролетели мимо. А Иван Максимович еще и крикнуть успел разведчикам:

— Погостить задержались у крестника?!

Раковский, Степан Степанович и Лунеко загостились часа на три. Плот сидел крепко. Пришлось и в воду залезать. Проскочив все камни Сергеевского порога, команда «Даешь золото!», пробираясь по скалам, явилась на помощь. Все барахтались, но опоры ни у кого не было под ногами, а потоком могло сбить каждую секунду. Решили отрубить четыре бревна, намертво сидевшие на камне. Оставили их на память крестнику Сергея Дмитриевича. А они были прижаты водой так, что ходили по ним как по мосткам.

«Разведчик» стал совсем узким, похожим на челнок, оторвался и понес всех шестерых.

Остаток этого дня приводили себя и плоты в порядок. Обсушивались и обсушивали грузы. Ходили осматривать последний порог, Дмитриевский.

На другой день, 10 сентября, плоты вошли в Колыму-реку.

— Ура!!!

— Суши весла!

— Суши портянки!

«Благодаря опытности лоцманов и настойчивости всего коллектива, — напишет через десять лет Юрий Александрович, — пороги были преодолены в три дня. Все мы вздохнули облегченно. Не только было обеспечено наше прибытие на Колыму, но был найден удобный сплавной путь для снабжения приискового района. Если наши громоздкие, неповоротливые плоты благополучно прошли через пороги в малую воду, то не приходилось сомневаться, что весенней водой гораздо более подвижные карбасы пройдут через

пороги без всякого труда. И действительно, еще в течение шести лет после этого, вплоть до 1934 года, когда автомобильная дорога дошла до самой Колымы, Бохапча играла крупнейшую роль в деле снабжения колымских приисков, и ежегодно по ней направлялся сплавом большой поток грузов и пассажиров».

К этому надо добавить, что сам Юрий Александрович пройдет по Малтану и Бохапче дважды, а Степан Степанович, как и предполагал Билибин, все эти годы будет старшим лоцманом на бешеных Бохапчинских порогах. Правда, «без всякого труда» эти пороги карбасы не проходили, и жертв бешеная Бохапча взяла немало...

Из приказа № 95 от 29 июля 1932 года:

«...В проведении сплава должен быть отмечен подлинный героизм и ударничество, проявленные отдельными работниками и штурмовой бригадой в целом, которые в условиях опасности для жизни, не считаясь с препятствиями, героически преодолевали последние.

Штурмовая бригада в составе лодочной команды, работавшей под руководством Малащенко и С. С. Дуракова, премируется месячным окладом.

Погибли из штурмовой бригады Малащенко, Дудков, Васильев, Комиссаров, Будаков...»

«КОЛЫМА ТЫ, КОЛЫМА...»

На высокой стройной лиственнице, что хорошо виделась с реки, сделали большой затес:

«10/IX-28 г. Передовой отряд К. Г. Р. Э. закончил пробный сплав. Иван Алехин, Юр. Билибин, Ст. Дураков, Мих. Лунко, Серг. Раковский, Дм. Чистяков. Демка пропал... Прошу Д. Казанли и С. Обручева определить астропункт устья Бохапчи. Ю. Билибин».

Юрий Александрович сожалел, что экспедиция Наркомвода, поверив в непроходимость Бохапчи, не стала ее обследовать, и надеялся, что Казанли, сплаваясь с отрядом Бертинна, установит здесь астропункт. А если он почему-либо не сделает этого, то в следующем году будет сплавляться по Колыме экспедиция Сергея Обручева, и этим сможет заняться она... Кто-то обязательно должен нанести на карту точные координаты устья Бохапчи. Порожистая, но годная для сплава река послужит освоению Колымского края!

— А теперь, догоры, наша цель — Среднекан!

Отвязали чалки и на рассвете тронулись по Колыме.

После каверзного Малтана и бешеной Бохапчи плыть по широкой полноводной и спокойной реке — одно удовольствие. Колыма здесь в высоких берегах, без перекатов, бурнов, без крутых изгибов и островов. Шевели потихоньку кормовым веслом, поудобнее устроившись на тюках, освежай прохладной чистой водицей горячие волдыри на натруженных руках, залечивай рубиновые эполеты и любуйся сколько душе угодно красотами Колымы.

И каждый любовался, и каждый искал на этой реке, на ее берегах что-то родное, с детства знакомое и находил. Забайкальцы Алехин и Чистяков видели в Колыме широкие и раздольные сибирские реки. Лунко сравнивал ее с Амуром. Степан Степанович, уроженец Пермской губернии, вспомнил Каму. Ну, а Юрий Александрович хотел видеть и увидел что-то похожее на волжские берега...

То тут, то там среди густой поросли лиственниц встречались белоствольные березки, правда, тонкие и не плакучие, но самые настоящие, с розоватыми отблесками на бересте, сквозные и такие же золотистые в эту осеннюю пору... А когда Юрий Александрович увидел на солнцепеке в затишке под скалой осинки в багрянце, то не мог не воскликнуть:

— Да здесь же — Россия, братцы!

Слева и справа падало, сверкая по валунам, много речек и ключей, безымянных, не помнятых на спичечной карте Макара Медова. Разобраться невозможно, где какая... Хорошо бы встретить кого-нибудь. Макар Захарович говорил, что где-то здесь, близ устья Дебина, реки, впадающей слева, должна быть заимка якута не то Дягилева, не то Лягилева.

Только подумали об этом, глядь — на откосе человек. Плоты — к берегу. Сергей — прямо в воду и, будто белка, скок, скок вверх. Но человек кинулся от него бежать. Ненормальный или одичавший какой-то?.. С полчаса гонялся за ним быстроногий Сергей и привел за руку. Беглец оказался уже немолодым: весь какой-то помятый, с бегающими красными глазками... И лишь одно бормочет:

— Мин суох... мин суох...

Его стали угощать, подарки дарить, но ничего, кроме «мин суох», не добились. Даже фамилию свою не вспомнил. Узнали только, что река, по берегу которой гонялся за ним Сергей, как раз и есть Дебин.

— Баар... баар...

И то хорошо! Есть один надежный ориентир из названных Макаром Медовым. Распрощались с «мин суохом»

очень ласково, в торбу и за пазуху напихали ему всяких угощений. Жалели его: может, родился таким, может, испортили человека медведь или какая-нибудь белая банда, шаставшая в свое время по Колыме, а может, он десять лет ни одной души не видел живой и за все это время ни разу про Советскую власть не слышал.

Дебин — первая большая река после Бохапчи. Дальше, согласно спичечной карте, должны быть примерно такие же реки справа — Урутукан, слева — Хатыннах, или Березаллах, с березовой долиной, затем Таскан, Лыглыхтах, Ускунья, а там и Среднекан, по местному Хиринникан — Долина Рябчиков.

После Дебина решили останавливаться у каждой реки и речки, осматривать как следует, брать пробы. В устье Дебина в лотке оказались желтенькие крохотные знаки. Такие же намыли на Урутукане и Хатыннахе. А в наносах Таскана попала маленькая гладкая золотинка. На речке, впадающей справа, — еще две золотинки. Здесь же, на вечерней зорьке, настреляли жирных уток. Макар Медов называл эту речку Ускунья, а разведчики, воодушевленные удачной охотой, перекрестили ее в Утиную, а соседнюю — в Крохалиную. Ликовали охотники!

Юрий Александрович любовался тусклыми золотинками, первенцами... И восторгался, и сетовал:

— Вот она — Золотая Колыма! Здесь мы не пропадем! Здесь мы растегнем пряжку золотого пояса Тихого океана! Эх, долго добирались! Долго в Оле сидели... Хотя бы на месяц раньше! Мы бы тут все эти речки облазили! А, догоры?

Догоры, конечно, с ним соглашались и тоже вздыхали: лето кончилось, да его и не застали, будто его и не было, а уже пахнет зимой.

Колыма здесь хотя и тихая, без порогов, без шивер, без бурунов, но, видно, с трудом пробивала себе дорогу: то толкалась в гранитные скалы — отроги хребта, то продиралась протоками по широким долинам, то устремлялась на север, то круто поворачивала на юг. На плотах плыли, как на маятнике качались: солнце то слева, то в лицо, то в затылок.

И острова начали встречаться. За ними и поросшими тополями и чозениями осередышами трудно разглядеть впадающие в Колыму речки и ключики. Казалось, пора уже быть Среднекану — надоело две недели болтаться на плотах, да и прохладно стало.

Наконец увидели какую-то речку. При устье — неболь-

шой галечный осередыш, на противоположном берегу — коса, дальше вниз виден остров с кустарниками. По приметам вроде Среднекан.

Причалили плоты, начали подбирать место для склада и палатки. Но Билибин с Раковским решили осмотреться получше. Медов и Кылланах говорили, что летом недалеко от устья Среднекана рыбачит и пасет оленей якут Гермоген Аммосов, значит, должны быть какие-то следы. Но никаких следов ни оленей, ни человека не нашли. У правого берега, чуть повыше устья, по словам Макара Захаровича, должна быть небольшая каменистая шивера, а ее нет, да и второй островок должен быть на полкеса ниже, а тут — совсем рядом...

— Нет, догоры, — сказал Билибин, — это еще не точка...

— Запятая? — усмехнулся Алехин.

— Запятая.

Так и стала значиться речка Запятьой.

12 сентября подплыли к реке, по всем приметам похожей на Среднекан: и за шиверу, как за пережат, зацепились, в последний раз поработали стяжками, пропихивая «Даешь золото!».

Пока с ним возились, Раковский пробежался по берегу и скоро вернулся радостный, сияющий:

— Точка! Среднекан! Тут якут рыбу ловит... Толковый якут! Самый и есть Гермоген! Подтвердил: Хиринникан.

И все ликовали, кричали «ура» и палили из ружей.

Разгрузили плоты, поставили палатку. И только успели укрыть груз, как повалил снег. Крупный, тяжелый, сырой, он ложился на землю, на не опавшую еще листву, но не таял. Якуты говорили: если в сентябре снег ляжет, то до самого июня лежать будет, потому что на Колыме ни осени, ни весны не бывает.

Билибин радовался первому снегу:

— Колыма ты, Колыма — чудная планета!

— Двенадцать месяцев — зима, остальное — лето, — подхватил Алехин.

Так родились первые стихи колымского эпоса «Колымнада».

Разделись до пояса, натерлись снегом до красноты. После чаепития решили так: трое остаются на устье Среднекана сторожить табор, а трое — Билибин, Раковский и Лунько, навьюченные, пойдут по левобережью Среднекана.

— Вы там, ребята, остерегайтесь, — напутствовал Степан Степанович. — Среди старателей всякие бывают. Заслышим выстрелы — придем.

— И я с вами, Юрий Александрович,— схватил берданку Алехин.— Тут и двое справятся.

Впереди шагал Сергей Раковский, поджарый, невысокий, шустрый. Билибин старался от него не отставать. Миша Лунеко выжимал из себя последние силы, но его раскисшие ичиги почему-то очень скользили. Алехин подталкивал парня и посмеивался:

— Сидор тащить — не за хвост батарейной кобылы держаться.

До безымянного ключика, на который сделал заявку Поликарпов, было верст двадцать, хорошим шагом четыре часа пути, но не по такой земле. Утопали в снегу, спотыкались о кочки, скользили по гальке — тащились до позднего вечера.

Наконец за высокими кустами тальника заметили черный, от смолистых стлаников, дымок, а рядом с ним поднимался и опускался, будто кланялся, поскрипывающий шест.

— Иван, глянь, деревня — колодезный журавель! — обрадовался Миша.

— Очен, а не журавель! — поправил Алехин и мрачно добавил: — Хищники скрипят, из ямы пески тянут...

Пошли на этот скрип и наткнулись на какой-то помятый железный котел с резиновыми шлангами-щупальцами, как у осьминога.

— Ого, бойлер! Двухкубовый, не наш, американской марки,— недоуменно отметил Юрий Александрович.

От бойлера по заснеженной тропе вышли на изрытую, с кучками вынутого галечника, косу.

— Ну и шурфы...— уныло протянул Раковский.— Ямы помойные. И накопили где придется...

— Н-да, испохабили землю,— согласился и Юрий Александрович.— Тут и не подсчитаешь, сколько приходится золота. Ну что ж, пришли — будем наводить порядок. Это, значит, ключ Безымянный — на него дана заявка. Эти, с позволения сказать, шурфы будем считать первой разведывательной линией, а следующие линии заложим по всем правилам науки выше по ключу. Так, Сергей Дмитриевич?

— Так, Юрий Александрович. А пока все-таки познакомиться надо с прискателями-то... Вот один вылезает.

Из ямы выкарабкивался худенький щуплый человечек в стеганом черном ватнике, в овчинной лапaxe, из-под которой едва видны были маленькие глазки, с ножом на пояске в якутском кожаном чехле.

— Здорово, догор,— поприветствовал Сергей.

Человечек, еще не поднявшись с земли, вдруг увидел перед собой четыре пары ног, крепко, прописным азом, стоящих, вздрогнул и заморгал подслеповатыми глазками.

— Как золото? — спросил Билибин властно и строго.

Человечек, будто язык проглотив, раскрыл беззубый рот и забегал глазками по ружьям, висевшим на плечах неожиданных пришельцев. Остановился на Билибине:

— Мало... Совсем мало, начальник.

— А это и есть ключ Безымянный? — спросил, чтоб удостовериться, Юрий Александрович и кивнул на узенькую — перепрыгнуть можно — речку, прижавшуюся к правому скалистому берегу.

— Аллах знает... Все они тут безымянные...

— А сам-то с именем?

— Как зовут, что ль? Сафейкой кличут. Татарин я бедный, ничего нет: дома нет, жены нет... Ничего нет.

— А золота есть.

— И золота нет. Ничего нет! Вон там хозяин есть...

— Ну, веди к хозяину, Сафейка. Сколько тебе лет-то?

— Умирать пора, да аллах не дает...

Сафейка не по-стариковски шустро, вприпрыжку побежал по затоптанной среди свежего суга тропе к низенькой, с плоской крышей, хибаре, срубленной из неошкуренных лиственниц. Из нее доносились крики — видимо, там ругались.

Сафейка распахнул дверь:

— Гости, Иван Иванович! Принимай!

Голоса в хибаре смолкли. В двери показалась грузная фигура и загородила весь проем. Голова, крупная, седая, поднялась над притолокой и засверкала двумя рядами золотых зубов:

— Милости просим до хаты! Сологуб буду. Иван Ивановичем дразнят, слышали? И — Золотозубым. А на самом деле — Бронислав Янович. А вы зовите как хотите, только в печку не суйте. А это мои артельщики: Софрон Иванович,— указал он на Сафейку,— Софей Гайфуллин, первый в здешних местах разведчик, а Бовыкин, Якушков, Канов, братья Беляевы с Олы будут...

Маленькое окошечко, затянутое бязью, почти не освещало хибару, и, не приглядевшись, невозможно было не только рассмотреть Беляевых, Якушкова, но и сколько их — сразу не сосчитаешь.

— А вы будете экспедиция? И кто ж среди вас Билибин? — спросил Сологуб.

— Я — Билибин, — спокойно, но и настороженно ответил Юрий Александрович, очень удивленный осведомленностью Сологуба.

— Билибины! Сологубы! Один род древнее другого, а встречаются на краю света, на крохотном золотом пятачке. Ну, снимайте оружие, котомочки, садитесь. А мы тут немножко вздорим. Снег выпал, ну и разбегаться людишки хотят. Морозы здесь, говорят, ужасные, не то что в Оле. Неделю назад мой напарник Хэттл ушел. Не встретился вам?

— Нет, мы сверху, по рекам пришли...

— О! Смелые... Ну, а у моего напарника, американца, кишка оказалась тонкой, только материться умел крепче русского. Все Колыму проклинал. А я с этим Хэттлом на Клондайке познакомился, потом мы с ним в Австралии были, он-то меня и в Охотск затянул, а потом — сюда. А теперь сам сбежал и бойлер свой бросил. Услышал о вашей экспедиции, да еще о Союззолоте, и: «I go home, because there are no on the Colyma, absolutely no sands, god damn!...» — Я, мол, убираюсь домой, нет на этой чертовой Колыме, никаких золотых песков. А вас много?

— Много. Более двадцати человек в экспедиции, не считая Союззолота. А вас?

— И нас немало. Ну, а что ж ружья-то не снимаете? Располагайтесь. У нас и банька есть, попариться можно.

— Спасибо. Банькой еще попользуемся. А сейчас дальше пойдем вверх по ключу Безымянному.

— Что так торопитесь?

— Зима торопит.

Речка, прихотливо извиваясь, бежала меж высоких каменистых берегов, поросших красноталом, курчавой ольхой, тонкими желтыми березками. Она была очень красива в осеннем наряде, эта Безымянная речка.

Когда усталые, измученные и голодные билибинцы пробирались по ее каньону, начальник отряда то и дело взлетал на ее высокие берега, осматривал долину и простым глазом и в бинокль, восхищался пологими, с мягкими плавными очертаниями сопками, окружавшими долину, и с высоты, как с трибуны, кричал:

— Там, в устье Безымянной, — первая разведывательная линия. Здесь, от этой красавицы лиственницы, будем бить вторую! А вон там, от подножия двугорбой сопки, — третью! Всю долину покроем сетью шурфов и поймем все золото!

Примерно на пятом километре от Среднекана, отмахав

в этот день верст двадцать пять с гаком, билибинцы кое-как натянули палатку и заснули как убитые. Здесь же на следующее утро начали устраивать базу: рубить барак, ставить лабаз...

«THERE ARE NO SANDS... НЕТ ПЕСКОВ...»

На высоком берегу с очень удобным спуском к речке выросло в десять лиственничных толстых венцов строение с маленькими оконцами, с сениями для удержания тепла. На стропила уложили накатник из тонких лиственниц, на него — ветки стланика. Из больших камней сложили печку, и первый хлеб, выпеченный Степаном Степановичем и Раковским, хотя и попахивал дымком, показался вкуснейшим.

Но не успели обжиться на новом месте, не перенесли еще свое имущество с устья Среднекана на базу, не начали нарезать разведывательные шурфы, как объявились на Безымянной четыре новые артели. Неведомыми тропами сюда прокрался старатель Тюркин, по прозвищу Турка, с дружками, о которых недобрая слава бродила по сибирским приискам. В одночасье с ними охотские приискатели с главарем Волковым притопали, миновав все кордоны... Билибин вспомнил Лежаву-Мюрата, который строго наказывал не доверять «туркам» и «волкам». По пятам за ними приплелись одиннадцать хабаровцев с тощими котомками, трое корейцев...

Тридцать «хищников» сгрудились на маленьком пятачке возле устья Безымянной. Новые начали спорить со старыми, тянули жребии из шапки, рвали делянки друг у друга, орали и матерились до хрипоты. У каждого на пояске висел нож, и всякий за него хватался. Ямы били, где взглянется или куда упадет шалый полтинник.

Лихорадочно задолбили землю кайла. Повалил в чистое лазурное небо черный дым пожаров. Полилась из Безымянной в Среднекан мутная вода.

Пораженный такой бессистемной хищнической разработкой месторождения, Билибин со своим маленьким отрядом был беспсилен навести какой-либо порядок, хотя и пытался. Всех и каждого в отдельности старался он убедить искать и добывать золото по определенной системе, по научному методу.

— Шурфы следует нарезать на определенном расстоянии друг от друга, а где покажется приличное золото, там сетку шурфов делать почаще... Вот тогда и впустую дол-

бить меньше будем и все богатство возьмем! — с жаром заканчивал свои лекции горный инженер.

Его слушали, кто разинув рот, кто почесывая затылок. Но всегда находился такой, который косил на Юрия Александровича недоверчивым глазом.

— По-ученому, значит? Отмерить аршином али как по-не — метром и — копай? А он, что же, метр ваш деревянный, вернее бога знает, где золото хоронится?

— Нет, полтинник надежнее, по крайности без обману. Пофартит так пофартит, как в карты... А нет — с бога не взыщи, на судьбу не ропщи.

— Знаем мы вас, ученых. Вся ваша наука — нашему брату мозги морочить.

Лишь Сологуб своим ольчанам сказал:

— А может, ученые-то правы?

Бронислав Янович, как успел отметить Билибин, не был таким непробудно темным, как охотцы, хабаровцы и ольчане, да и таким безрассудно жадным «хищником», как Тюркин и Волков, не был. По всему видно, родился и воспитывался он в образованной семье, окончил по крайней мере гимназию или реальное училище, да и набрался ума-разума изрядно, скитаясь по приискам России, Америки, Австралии. Особенно он любил всякую механику...

Юрий Александрович надеялся на его поддержку и думал, что если Сологуб со своей артелью согласится работать по-новому, то, возможно, вслед за ним пойдут и другие.

Но Бронислав Янович окинул критическим взглядом своих ольчан и лишь языком цокнул:

— Нет, дорогой коллега, чтоб по науке работать, механика нужна и люди толковые. А у нас был бойлер, да и тот поломал в отчаянии господин Хэттл... А теперь и мои ольчане лыжи вострят... Но бойлер я налажу.

Билибину больше ничего не оставалось, как ждать приисковое начальство, которое обещал направить на Колыму Лежава-Мюрата, и надеяться, что эта власть будет действовать в тесной смычке с экспедицией.

И дождался. В конце сентября прибыли на Среднекан управляющий Верхнеколымской приисковой конторой Союззолота Филипп Диомидович Оглобин и старший горный смотритель Филипп Романович Поликарпов. Они два месяца пробирались из Охотска. Ехали верхом на лошадях и десять лошадей вели под вьюками. Встретился им тот самый американец Хэттл. Длинный, тощий и злой, он что-то выкрикивал на своем языке, но без толмача разобрали только слово «Колыма» и поняли, что он проклинает.

Оглобин прежде никогда не занимался золотым промыслом, всю жизнь, лет тридцать, лесничил, крутыми мерами наводил порядок, пресекая незаконные порубки. Своей твердостью, неподкупностью и энергией он пришелся по душе Лежаве-Мюрату.

На Среднекане Филипп Диомидович сразу же повел жесткую политику. Он разбил свою палатку не там, где стояли бараки приискателей, не на берегу Среднекана, а прямо на старательской площадке, среди накопанных ям. К стволу уцелевшего тополя приколотил фанерку от выючного ящика, а на ней густыми чернилами написал:

«Вся территория от Буюнды до Бохапчи закрепляется за государственной организацией «Союззолото». Все старатели обязаны сдавать намытое золото по строго установленной цене за грамм в приисковую контору. Копать пески только там, где укажет старший горный смотритель Поликарпов Ф. Р. по согласию с начальником КГРЭ Билибиным Ю. А.».

В объявлении чувствовался стиль самого Лежавы-Мюрата, да и характер управляющего сказывался. Вывешенное без ведома Юрия Александровича, оно явилось для него очень приятной неожиданностью и предзнаменованием того, что его надежды на новое приисковое начальство оправдаются: будет крепкая смычка науки и труда, а вольный дух «хищников» будет сломлен! Билибин хотел бы только вместо себя указать в объявлении Раковского, которого он уже назначил заведующим разведывательного района. Но такую поправку внести не сложно.

Среди старателей объявление Оглобина вызвало сильное негодование. В сологубовской артели особенно были недовольны и даже обескуражены тем, что старшим горным смотрителем над ними оказался Поликарпыч, с которым на равных Бовыкин, Канов, Сафейка много лет бродили по колымской тайге, искали золотишко, а в прошлом году, когда зацепились здесь за него, что-то не поделили... И теперь от выдвиженца Поликарпова ничего хорошего не жди. Хэттл вовремя ушел...

30 сентября весь день шел снег, мокрый и тяжелый. К вечеру стало подмораживать, и тропки покрылись скользкой ледяной коркой. Задубели промокшие ватники.

Вечером Оглобин возле своей палатки собрал весь приисковый народ, пригласил и разведчиков. Сам сел на пенек, распахнул черную кожанку, выставив напоказ яркочумачовую сатиновую рубашку, и, подкрутив жесткие, пшеничного цвета усы, громко спросил:

— Объявление читали? Ну а теперь слушайте доклад. Начал с текущего момента и с Чемберлена, который грозит нам. Чем грозит, не пояснил, а сказал, что мы добываем золото не для Чемберлена, а своему рабоче-крестьянскому государству и должны это золото все до крупинки сдавать в государственную кассу, то есть в контору, и это будет наш ответ Чемберлену.

— А кто не хочет — убирайся вон! Доклад окончен.

Оглобин направился к палатке. Но люди не расходились, переминались. Наконец кто-то из хабаровчан несмело спросил:

— А где оно, золото-то?

Другой посмелее:

— А транспорт когда придет?

Хабаровцев поддержал один из «турков»:

— Портки сползают, а ни транспорта, ни золота не видно!

— Когда сползут, тогда и увидишь, — сострил Алехин.

Все — в хохот, лишь владелец портков обиделся:

— Заржали! Им, разведчикам, можно ржать. У них: есть золото, нет золота, а за каждый шурф, за каждую проходку денежки в карман. А вы чего радуетесь?

Все враз смолкли, будто вдруг дошло, что контора за копку ям и промывку песков платить не будет, а только за золото.

Билибин воспользовался молчанием:

— Тут кое-кто завидует разведчикам. Так я предлагаю всем: идите к нам на проходку разведочных шурфов, и мы каждому будем платить как положено.

— А сколько положено?

— Сколько своим рабочим, столько и вам.

— В Охотске больше платят!

— И у нас, на Амуре, больше.

— А на Алдане еще больше!

— Алданскую расценку давай!

— Подумаем, посчитаем, возможно, алданскую положим, — пообещал Юрий Александрович.

— Ну, и мы подумаем...

На этом разошлись.

Контроль за старательским намывом золота Оглобин и Билибин возложили на старшего горного смотрителя Поликарпова и заведующего разведрайоном Раковского.

На следующее после собрания утро Раковский мелким четким почерком, буквами, похожими на бисеринки, на первой странице черноколенкоровой книжки записал:

«1 окт. 1928 г. кл. Безымянный.

Вчера были на собрании рабочих-старателей. Представитель Союззолота Оглобин делал доклад. Ввиду жалоб рабочих на отсутствие золота, так как разведанных участков нет, мы предложили им временно работать у нас на шурфовке. Относительно расценки на работы договориться не смогли. Условились, что мы ее выработаем, а затем предложим.

Домой пришли поздно. Идти было скверно, так как с утра все время шел снег, а к вечеру подморозило».

В конце того же дня Сергей Дмитриевич дополнил эту запись:

«Сегодня Оглобин и служащий Поликарпов были у нас. Совместно с ними обсудили расценки на работы. В основу взяли алданские расценки. Наши расценки по сравнению с алданскими ниже.

Снова идет снег».

Снег валил весь день. И снова, как вчера, к ночи стало подмораживать. Обговорив расценки и другие дела, Оглобин и Поликарпов по настоянию Юрия Александровича остались ужинать. Билибин очень хотел развязать язык молчаливому Поликарпычу, чтоб кое-что выведать о Колыме, о его поисках колымского золота, да и о нем самом.

Выпили, разговорились. Оглобин, Раковский и Билибин ударились в воспоминания. Только Филипп Романович помалкивал. Крепкий мужик, он не пьянел от выпитого, лишь оглаживал свою смоляную бороду-лопату и с поклонами благодарил начальника экспедиции за угощение, а больше за то, что приехал тот на Безымянный проверять его заявку.

— Фартовый ключик... Золотой ключик, — повторял он. Чувствовалось, что Филипп Романович нашел на этом ключике свою судьбу, все свои надежды возложил на него: — Получу вознаграждение, отправлюсь на родину... В Рязанской губернии я родился, под Скопиным. Женюсь, хозяйством обзаведусь...

А когда Билибин напомнил ему, чтобы разговорить, о том, как Миндалевич сажал его в тюрьму якобы за утайку золота, Филипп Романович беззлобно отмахнулся:

— Бог с ним, с Миндалевичем-то... Ключик зазолотил — и слава богу! Сколько он даст металла-то, Юрий Александрович? Мы бы летось два пуда намыли, да отошляли...

— Два пуда — это мелочь. Безымянный даст больше.

Вот разведаем и точно подсчитаем. Но и это еще не все! На Безымянном свет клином не сошелся! Таких ключиков, как твой, в этом краю много. Про Бориску-то слышал?

— Как не слышать... Его ключик и искали, да не нашли. Якуты Александров и Кылланах похоронили Бориску. Где-то здесь, на Хиринникане, а точно где — или рассказать не сумели, иль я не понял. Словом, пока еще не вышли на Борискин ключик. Вот приедут сюда Александровы, их надо поспросить. Они точно покажут Борискину могилу, а там, надо полагать, и его ключик...

— А Розенфельд где ходил?

— Не знаю. С Розенфельдом Сафейка ходил, вместе с Бориской у него в конюхах были. Но где ходили, там золото не находили.

— А вот карта Розенфельда, — Юрий Александрович извлек из полевой сумки точную ее копию. — Крестиками помечены золотые жилы, похожие, как писал Розенфельд, на молнии...

Поликарпов и Оглобин лбами стукнулись над восьмушкой бумаги и в один голос спросили:

— А где они, крестики?

— В том-то и дело: на бумаге есть, а где в природе — неизвестно, привязки у них нет. Сафейка-то согласится показать, где ходил Розенфельд? Проводником к нам пойдет?

— Сафейка сговорчивый, пойдет.

Мало сказал Поликарпыч, и спирт не помог развязать его язык. Никаких легенд, на которые так охочи золотоискатели, от Филиппа Романовича не услышали. Он молчал не потому, что был скрытен, а потому, что никогда языком попусту не трепал. Но и то, что сказал, было очень ценно.

Юрий Александрович проводил гостей почти до самого стана. А по дороге вместе с Оглобиным составлял план поисковых и разведочных работ. Борискин ключ покажут якуты Александровы. Они, вероятно, придут с ближайшим транспортом, а не придут, то их можно и привезти за счет экспедиции или Союззолота — за деньги старик Александров все покажет, и тогда на Борискином ключе экспедиция как и на Безымянном, поставит разведку, но пока не разведает, «хищников» на ключ не пускать! Ну, а места, где ходил Розенфельд, покажет Сафейка, если его нанять в экспедицию проводником. И тогда найдутся те молниеподобные жилы, что помечены на карте Розенфельда загадочными крестиками. Другой отряд направить по Колыме обследовать те речки, которые проплывали... А сам Били-

бин еще раз пройдет по порогам Бохачи, поищет золото в ключах, впадающих в Малтан и Бохачу, а заодно еще раз докажет, что по этим рекам вполне можно сплавлять грузы.

— Согласен, Филипп Диомидович?

— Согласен, — ответил Оглобин. — А сейчас нужно пробиваться в Олу, проталкивать транспорт, а то с голоду помрем. И якутов Александровых я сюда доставлю.

Сырой, тяжелый снег валил и на третий день. Утопая в нем, рабочие разбили вторую разведывательную линию, от левой террасы долины до правой наметили семнадцать шурфов, на расстоянии двадцать метров один от другого.

Четвертого октября с утра было ясно, но в обед, когда Степан Степанович и Миша Лунеко приступили к шурфовке — начали расчищать площадку, делать нарезку, — снова повалил снег.

В этот день Раковский окончательно доработал и переписал начисто расценки для старателей и направил их в приисковую контору.

Сергею Дмитриевичу казалось, что он хорошо знает старателей. Как они ни жаждали шального золота, но, пока его нет, готовы урвать и медную денюгу. Согласятся временно поработать на шурфовке потому, что оплачиваться этот труд будет неплохо, а тем, кто хорошо и честно поработает, приисковая контора выделит разведанные участки в первую очередь.

Так думал и Юрий Александрович. Соглашаясь на высокие, не предусмотренные сметой расценки, он надеялся с помощью старателей за короткий срок разведать всю долину ключа Безымянного, а золото, которое будет найдено, покроет все непредвиденные расходы. Об этом он договорился и с Оглобиным, пообещав все разведанные участки незамедлительно передать прииску.

Примерно так мыслили и Оглобин и Поликарпов, тоже вполне уверенные в золотоносности ключа Безымянного и в том, что труд старателей не пропадет даром.

Но старатели рассудили иначе. Несколько дней они спорили и рядили. Оглобин как раз перед этим ушел в Олу, Поликарпов в споры и уговоры не вступал, и всю кашу расхлебывал Билибин.

— Значит, и алданские расценки вас не устраивают? Значит, ямы ваши не такие уж пустые? Все ли золото сдаете?

— Проверь, начальник...

— Проверим! — пообещал Билибин.

...12 октября Раковский записал:

«Осмотрел работы старателей. Одна артель, Тюркина, промыв примерно 180 лотков, намыла 166 граммов — прилично... Пласт в их ямах немного светлее, чем у нас. Остальные старатели работают хуже. Идти на разведку по предложенной расценке старатели не согласились».

Но каждый день Сергей не мог проверять старателей: своих забот и работы было невпроворот. Он вставал в шесть часов утра, вместе с Юрием Александровичем делал пробежку, оттирался снегом и в семь часов проводил утренние наблюдения над погодой: записывал температуру, облачность, ветер, отмечал, сколько выпало снега. Потом отпрашивался вместе с рабочими на шурфы и там делал все, что и они: пожоги, нарезки, углубку, заготавливал дрова. Возвратившись на базу, кашеварил, пек хлеб. В эти же дни он тщательно готовился к промывке проб.

Старателей чаще проверял Поликарпов. Наметанным глазом он видел многое, но не всегда мог прижать «хищника», схватить его за руку с поличным... Оглобина недо-ставало.

Бывал на ямах и в бараках, где промывали пески, и сам Юрий Александрович. Однажды, 25 октября, когда был мороз под тридцать пять, Билибин вернулся со стана поздно и не в духе.

— Все у них по-старому. Хищники есть хищники... Сологуб американку сколотил, а все остальные моют лотками в бараках, как кроты. Волк намыл двести граммов. И у корейцев неплохо.

Юрий Александрович, не снимая дубленку, присел к столу и заиндевелой бородой уткнулся в шурфовочный журнал.

— Закончил смывать пробы десятого, девятого, восьмого и седьмого шурфов, — как всегда неторопливо докладывал Раковский и тяжело вздохнул: — Пусто. Лишь в девятой четверти седьмого шурфа оказались вот такие слабые знаки, — Сергей развернул бумажный пакетик со шлихом и едва видимыми блестками.

— Весьма слабые, — покачал головой Билибин.

— Все шурфы сели на мерзлоту. От пожогов тают плохо. Через два дня начну мыть пробы двенадцатого, одиннадцатого, шестого и пятого.

— Подвел нас Безымянный, не оправдал надежд, — печально констатировал Билибин.

— Поликарпов чувствует себя виноватым и несчастным.

— Н-да, заявочка его на долину Безымянного не под-

тверждается... Но пусть он голову не вешает. Подойдут наши. Организуем второй разведрайон по Среднекану, выше устья Безымянного. Возможно, россыпь идет оттуда... А летом развернем поиск. Нам бы лишь лета дожждаться.

А долгая колымская зима только еще начиналась.

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК НА ПРИИСКЕ

За какую-нибудь неделю морозы сковали игривую речку Безымянную.

21 октября по ее льду, не встретив ни одной полыньи, пришел с прииска Поликарпов. Он принес обратно почту, которая направлялась в Олу с Оглобиным. Филипп Диомидович уходил с девятью лошадьми и вместе с ольчанами из артели Сологуба. За Среднеканским перевалом они окунулись в такой глубокий снег, что пришлось вернуться. Три лошади у них пали, трех, вконец истощенных, они вынуждены были забить уже на стане, а те, что остались, настолько ослабли, что, если и их не поставить на корм, подохнут... Кормить же на прииске нечем: ни овса, ни сена...

— Вот она, матушка-тайга, — закончил свой невеселый рассказ Филипп Романович и еще печальнее добавил: — По такому снегу олени с Олы не пройдут, транспорта нам скоро не дожждаться...

Чтобы хоть как-то утешить Поликарпыча, Раковский бодренько сказал:

— Якутским правительством к нам специально прикомандирован человек! Владимир Елисей Иванович. Сейчас они с Билибиным на охоте. С Владимиром прибыл и Петр Попов из Тасканского кооператива. Мы заказали им теплые вещи, лыжи, кой-какие продукты. Многого не обещают, но кое-что к первому декабря подбросят, оленей подгонят...

Филипп Романович то ли уже знал об этом, то ли не очень верил в успех этого предприятия, как-то безучастно выслушал и направился к выходу.

— А может, Владимирова попросить насчет коней? — как утопающий за соломинку, ухватился Раковский. — Пусть отведет их в Сеймчан, к якутам, у них сено, наверное, есть, до весны постоят, а за прокорм заплатим!..

Поликарпов остановился в дверях, оживился:

— Очень хорошо бы! А то, ей-богу, жалко лошадей.

Морозы крепчали с каждым днем. Ночью 3 ноября в градуснике замерзла ртуть. Значит, ночью было все пятьдесят. И шептали звезды.

Собрав все порожние посудины, Билибин разливал по ним спирт и воду. Сначала делал расчеты на бумаге, чертил графики, потом тщательно отмерял жидкости стаканом, царапинами нанося деления, а затем эти жидкости перемешивал. Одну из этих смесей выставил на мороз и, когда смесь в бутылке зашуговала, он, сверясь с показаниями термометра, воскликнул:

— Точно как в аптеке!

Все бутылки с разными смесями развесил под стрехами.

Рабочие, придя с шурфовки, были немало удивлены. Первым высказал догадку Алехин:

— Ясно. Вместо фонарей. Как в большом городе!

— Братцы! — поддержал его Лунеко. — Ведь через три дня — праздник! А мы заработались и счет дням потеряли...

— Темнота! — с некоторой обидой протянул Юрий Александрович. — Это же термометры! Спиртовые термометры собственного изготовления! Перед вами, догоры, смесь воды и чистого спирта, spiritus vini, в точно рассчитанных количествах. Вот в этой бутылке расчет такой: как смесь зашугует — значит, пятьдесят градусов мороза. А в этой — пятьдесят четыре, здесь — пятьдесят восемь и так далее до семидесяти. Понятно?

— Понятно... Но сколько же на эту затею спирта пошло? Не весь ли запас?

— Весь, товарищ Алехин!

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

— Юрий Александрович, а чем же праздник Октября отмечать?

— Трудовыми успехами, товарищ Лунеко!

— И не жалко вам, Юрий Александрович?

— Жалко! — засмеялся Билибин. — Но ничего, догоры! Все это добро от нас не уйдет. Как под праздник вот эта, к примеру, бутылочка зашугует, так и мы ее зашугуем. Согласны?

— Ура! Качай начальника!

— А вдруг не зашугует, — засомневался Алехин. — Лучше бы в меня вливали эти смеси... Стал бы я жертвой науки и точнее показал градусы: зашуговал — пятьдесят градусов, свалился — все шестьдесят...

Все захохотали, но сомнение осталось:

— А вдруг к празднику потеплеет?

— Нет! — авторитетно заверил Раковский. — Погода, по моим наблюдениям, установилась, морозит основательно. Ему поверили, успокоились, и его предсказание сбылось.

6 ноября зашуговала в бутылке смесь, хотя и не самая крепкая, но приличная, градусов под шестьдесят. Седьмого эту бутылку торжественно и бережно внесли в барак и с подобающим великому дню тостами распили.

В этот момент с прииска появился профуполномоченный, он же и старший артельщик хабаровцев — Андрей Шестерин, чтобы пригласить разведчиков на стан, на торжественное собрание. Пошли туда дружной колонной и песню грянули: «Смело мы в бой пойдем».

С этой песней ввалились в барак хабаровцев — самый большой на приисковом стане. Билибин и Раковский прежде бывали здесь, на промывке песков. Старатели мыли лотками прямо на земляном полу, среди нар. Тогда воняло сыростью, пылью, осевшей на стенах, шерстью непрсыхающих полушубков, портянками, махоркой... Сегодня на вошедших пахло свежим ароматом хвон. Все простенки, углы и даже закоптелый потолок были убраны ветками стланика, только что нарубленного, из-под снега, и потому очень пахучего.

— Благодать! — воскликнул Билибин. — Как на рождественской елке!

— А у нас в России так после дождя в бору... — вздохнул кто-то.

И все начали вспоминать свои родные места, еловые, сосновые, кедровые...

— И кой черт загнал нас на эту Колыму?!

— Тут и лесов таких нет...

— И цветов нет...

— И баб нет...

— Ничего, товарищи, ничего, — успокаивал Оглобин. — Здешняя тайга тоже богата и красива. Говорю вам как бывший охотский лесничий. Вот дождемся весны...

— Дождешься, на-ко выкуси! — оборвал кто-то из хабаровцев.

И пошло:

— Транспорт где, Оглобин?

— Жрать чего, Оглобин?

— А золото где? Ученые, где золото? — это уже к разведчикам.

— Где обещанные участки?

— Понаехали на нашу шею...

— Праздник... Какой праздник на пустое брюхо?

Филипп Дюминдович отступил в передний угол, встал под красное знамя, которое смастерил из своей кумачовой рубашки:

— Тихо, товарищи! Вот сделаю доклад, и все будет ясно!

— Какой еще доклад?!

— Опять про Чемберлена?

— Долой Чемберлена!

— Долой доклад!

— Пустое брюхо к докладу глухо...

— За транспорт говори!

— Скоро, товарищи, скоро должен подойти олений караван. Большой аргиш.

— Большой аргиш — шиш! Где он?

— Сами, товарищи, видите, какая зима выдалась. Такой, говорят, здесь не бывало. Снегу выпало много, рыхлый он, мы вот пошли в Олу, да вернулись...

— Трех лошадей за перевалом оставили, кобыла ваша мать!

— Да, три лошади пали, трех пришлось пристрелить... Рано вышли, поторопились. Теперь, видите, морозы ударили, наст будет, и караван наверняка пройдет. Он теперь в пути, наверное. Скоро придет. А там, глядишь, и золото пойдет побогаче: сытому завсегда счастье подваливает...

— Подвалит — держи шаровары шире, а то не унесешь!

— Ученые обещали новые участки, да кукиш кажут.

— Какие они ученые! У них у самих в шурфах пусто.

— А премии получают за пустые шурфы-то...

— Им жить можно — у них жрать есть что и спирту завались!

— Они спирт, как буржуи шампанское, со льдом пьют. Для этого на мороз вывешивают.

— Товарищи! — встрепенулся Раковский. — Вы тут преувеличиваете! Премии наши рабочие действительно получили за октябрь, потому что работали каждый за двоих. Ведь вы-то не пошли на шурфовку! Пошли бы, работали так же, как наши разведчики, получили бы и премии, а может, и по сто граммов спирта к празднику, хотя спирт у нас не для того, чтоб пить... Вывесили мы бутылки на мороз ради научных целей. Это понимать надо, товарищи... А что касается золота и новых участков, то ничего от вас никто не утаивает. Да, ключик Безымянный, как устанавливает наша разведка, оказался бесперспективным, то есть золота в его долине нет, и передавать вам на промывку нечего.

— А зачем нас сюда звали?

— Никто вас не звал! — в один голос ответили Билибин и Оглобин.

— Но мы дело не свертываем, товарищи, — продолжал Раковский все так же выдержанно и спокойно. — Напротив. Намечаем поставить разведку от устья Безымянного вверх по Среднекану. Возможно, россыпушка, за которую тут зацепились, в далекие геологические эпохи принесена древней рекой оттуда. Так, Юрий Александрович?

— Весьма возможно, — уже спокойнее и миролюбивее отозвался Билибин.

— И еще, — продолжал Сергей Дмитриевич. — По рассказам Поликарпова, Филиппа Романовича, Гайфуллина, Софрона Ивановича, давно работающих здесь, где-то в долине Среднекана мыл золото Бориска. И, как вы слышали, богато мыл!.. Но где, на каком ключе, точно пока никто не знает. И мы, товарищи, обращаемся ко всем вам с просьбой: по долинам и распадкам ходите на охоту...

— Кто-то ходит...

— Помолчи! Мужик дело говорит!

— ...ходите на охоту и, может, заметите — сейчас под снегом, правда, трудно заметить, но вдруг, — где-нибудь встретите ямки, человеком выкопанные, или бугорки наваленные — покажите нам.

— А вы там разведку поставите?

— Да, поставим, — твердо ответил Билибин. — И никому не разрешим копать так, как вы здесь.

— Вот завсегда так: наш брат, пришкатель, открывает первым! А ученые придут, сивки снимают, а нам — кукиш!

— Вы еще пока ничего не открыли, — снова повысил голос Юрий Александрович, — а уже первооткрывательские требуете. Получите, если найдете Борискин ключ и он окажется промышленным. А пока, — и тут вспомнил Билибин, как метко говорил в таких случаях алданский политкомиссар, и не удержался, повторил его слова, — пока вы здесь не первооткрыватели, а последние хищники! — и сам пожалел, что сказал, сразу смягчил: — Насчет жратвы. Тут кто-то говорил, что у нас жратва есть. Скрывать не собираюсь: кое-что еще есть. Из Олы мы взяли в обрез, рассчитывали, что наши подойдут к ноябрю, теперь сами растягиваем, перешли на урезанный паек, но кое-чем поделимся с вами. Так, Сергей Дмитриевич?

— Конечно, поделиться готовы, но сами, товарищи, поймите: нас — шесть едоков, вас — тридцать, если мы даже весь свой скудный запас отдадим, то и сами с голоду помрем, и вы долго не протянете. У меня есть еще одно предложение: пока транспорт не подошел, а якуты обеща-

ли кое-что подвезти только в декабре, то не направить ли нам в Сеймчан, к якутам, свою делегацию? Может, они чем-нибудь помогут, а Сеймчан — это не очень далеко. Софрон Иванович Гайфуллин там бывал, дорогу знает и по-якутски говорить умеет, проводником быть не откажется... Как, Софрон Иванович?

— Моя везде пойдет! Моя готова!

— И я пойду, — объявил Оглобин.

— Я тоже, — сказал Билибин.

— Так и решим, — подытожил Филипп Диомидович. —

Пойдут три человека.

— Якуты — народ добрый, помогут!

— А теперь доклад давай, Диомидыч!

По дороге домой Юрий Александрович все похваливал Раковского:

— Молодец, Сергей Дмитриевич, умница и дипломат. А я вот не всегда могу ладить с этим народцем: иногда жалко его — темнота, своего счастья не видит, а иной раз такое зло берет...

ЗАПИСИ В ЧЕРНОЙ КНИЖКЕ

...Снова повалил крупный снег. Потом поднялся ветер — он задул с северо-запада, сильный, холодный. Через три дня стих, и ударили морозы! Прежде хоть в полдень отпускало, а теперь и днем и ночью шуршал, смерзаясь, выдыхаемый пар. Солнце не показывалось, бродило где-то за горами и розоватыми отблесками играло на вершинах далеких сопок.

Работать на воздухе было невозможно, но все же приходилось: заготавливали дрова — печку топили и днем и ночью, — были и другие неотложные дела. Да и не могли сидеть сложа руки. Раковский предложил проект устройства тепляков для промывки проб прямо на линии и при любом морозе. Билибин одобрил проект, и все взялись за его осуществление.

По вечерам под руководством Степана Степановича шили торбаса и рукавицы. Золотые у него руки были. Без единого гвоздя мастерил небольшие, легкие, но вместительные нарточки. Оглобин восхищался ими:

— Теперь можно в Сеймчан ехать! С такими самокатами — хоть на край света! И пора ехать. Продовольствия у нас почти нет. Последнюю кобылу тоже придется забить, хотя в ней одна кожа да кости... Берег ее для тяги, думал,

в Сеймчан возьмем, подкормим, но она еще ноги переставляет. Но живы будем — не помрем!

В те дни Сергей Дмитриевич записывал в книжке с черноколенковой обложкой:

«29 ноября 1928 г.

Сегодня домыл пробы с левого борта. Вечером пришел Оглобин. Поговорили о положении вещей и решили, что он, Ю. А. и Софрон Иванович пойдут в Сеймчан в субботу утром. Надеются приобрести там хотя бы немного мяса, так как на приiske у всех, исключая первую артель, остается продуктов не более как на две недели, да и то при очень урезанном пайке. У нас также положение печальное. Остается пуд муки».

Субботнее утро выдалось и с туманом и с морозцем. В семь часов Юрий Александрович, Оглобин и Гайфуллин перекинули через плечи брезентовые ляжки. Провожал делегацию весь Среднекан, все были бодрь и веселы.

Сафейка успокаивал людей:

— Моя везде ходила! Сеймчан ходила! Колыма ходила!

По его словам, до Сеймчана не более ста верст. Лет пятнадцать назад Сафейка, тогда совсем молодой, шел туда три дня. Правда, дело было летом, ехали на лошадях. Теперь лошадей нет, дороги нет, снега много. Неделю — туда, неделю — обратно.

— Через полмесяца ждите! — кричал на прощание Оглобин. — Пустыми не придем!

«1 декабря 1928 года.

С 1 декабря садимся на голодный паек. Работу временно приостанавливаем».

«3 декабря 1928 года.

Двое ходили на охоту. Убили всего лишь шесть белок. Стирал белье. Ружье Лунеки стреляло на третий раз».

«4 декабря.

Составил сведения о работах за ноябрь. Ходили на охоту, убили одну белку».

«6 декабря.

Хлеб закончили вчера. Осталась только забитая лошадь, ее будут делить на всех».

Но ее не успели разделить. 7 декабря она пропала. Эту весть принес к разведчикам Поликарпов. Украли, видимо, «турки», а может и артель Волкова, но Филипп Романович не стал допытываться, чьих это рук дело: надеялся, что люди сами назовут вора, осудят и мясо отберут.

На следующий день к разведчикам прибыли на оленях

уполномоченный Тасканского кооператива Аммосов и двое якутов. Они привезли семь пудов мяса — на всех и на неделю не хватит, но Сергей Дмитриевич несказанно обрадовался этому. Два дня прогостили якуты у Раковского. Уезжая, Аммосов общал пригнать на мясо двадцать оленей и еще кое-что из продуктов и теплых вещей, и все это — к Новому году.

Мясом Сергей Дмитриевич поделился со всеми старателями. Немного дал и первой артели, чтоб не обижались. Пуд отвесил Степану Степановичу, Алахину и Чистякову — они с печкой и палаткой отправлялись на многодневную охоту. В общем раздал почти все и лишь немного оставил себе с Лунеко.

«10 декабря.

Сидим с Лунекой голодные.

Хабаровцы завтра принимаются за собаку Собольку».

«12 декабря.

Вечером в четыре часа ушел на стан к Поликарпову узнать, нет ли чего нового. Поликарпов молчит, подарил мне филина. Соболька съедена почти целиком, от нее осталось на одно варево, а в ней было фунтов 30 мяса.

На промывке осталась артель Тюркина и Сологуба. Кореицы во вторник мыли в последний раз. В общем положение осложняется».

«13 декабря.

Осмотрел работы. В два часа вернулся домой. Часа через два пришли охотники. Домой принесли около десятка белок, другой дичи не попадалось. Скверно... Ю. А. и Ф. Д. что-то долго не возвращаются».

«15 декабря 1928 г.

...Только что пришли наши с Сеймчана. Привели с собой лишь двух лошадей. Больше привезти ничего не могли, так как все олени сеймчанских жителей погибли, а сами якуты перебиваются тем, что удастся добыть за день».

Лошадей сразу же забили и стали раздавать мясо.

С распределением — целое горе. Первыми явились со своими претензиями хабаровцы: они считали, что раз Союззолото направило их сюда, то и кормить должно. Вслед за ними набросились на Оглобина и Билибина «турки» и «волки»:

— Почему остальных лошадей не привели?

— Мы тут собак ели, а они там небось конину кушали! Благородные!

Юрий Александрович, злой, решительно отчеканил:

— Лошадей оставили для предстоящих работ.

— К черту ваши работы!

— И без работы подышаем.

— Не подохнете. Встретили, называется... — в голосе Билибина почувствовалась обида.

— Не подохнем, если сожрем тебя...

Юрий Александрович услышал это, но даже не обернулся.

На свою базу не пошел. Свалился в конторе у Оглобина на лавку и проспал всю остальную часть дня и всю ночь.

Сафейка рассказывал:

— От Сеймчана четыре дня ходил, не спал — ходил. Меня на коня, я мало-мало спал, а он ходил...

Отоспавшись, Юрий Александрович рассказал Раковскому о поездке в Сеймчан, о его жителях, о какой-то старухе:

— Фамилия ее Жукова. Зовут Анастасия Тропимна.

— Трофимовна, — поправил Раковский. — Якуты ни «в», ни «ф» не выговаривают. Помните, Медов написал на затесе «Медоп»?

Но Билибин почему-то упорно произносил:

— Тропимна. Добрая душа! Она мне малахай подарила. Пыжик, опушка — огневка, на затылке — овчина... А родилась Тропимна сама не помнит когда, но более ста лет назад. Современницей Пушкина была. И подумать только, за всю свою столетнюю жизнь ни разу не видела хлеба. Просила меня, как бога, прислать хоть кусочек, перед смертью попробовать...

— Придет транспорт — обязательно пошлем.

— Юрты в Сеймчане все неудобные, холодные, бедные. Немного их, а за неделю не обойдешь, одна от другой за версту. До первого жителя отсюда километров шестьдесят, а до самого дальнего — девяносто, а может, и все сто.

— Жаль, что все хлопоты напрасны, — с горечью сказал Раковский. — И на Безымянном ничего не открыли.

— Мы честно сделали на Безымянном все, что могли, — возразил Билибин, — и можем доложить об этом Союззолоту, Лежаве-Мюрату и самому Серебровскому: их задание выполнено, заявка Поликарпова проверена. А Колыма Золотая будет открыта! Базу придется менять, нечего тут больше делать.

Помолчав, Билибин продолжал:

— Кстати, Розенфельда, который видел Гореловские жилы, Анастасия Тропимна тоже знала. Из себя, говорит, невзрачный, но добрый, обо всем ее расспрашивал

и в книжку записывал, а вот где он ходил и где Гореловские жили, Анастасия Тропимна не знает, и никто в Сеймчане не знает. Сафейка один знает, где ходил Розенфельд, но аллахом божится, что не видел никаких жил, и я ему верю.

— Софрон Иванович — честный мужик, — поддержал Раковский. — Зря мы о нем при первых встречах плохо думали...

— Человека хорошо узнаешь, когда с ним пуд соли съешь. А вот Анастасия Тропимна сразу Сафейку узнала и встретила как старого друга. Хорошая память у нее! Всех, кого видела на своем веку, помнит. Разве что кроме полковника Попова...

— Какого полковника? — удивился Раковский.

— В сельсовете дали мне одну, такую же любопытную, как записка Розенфельда, бумажку. Написал ее какой-то полковник Попов, о нем в Сеймчане никто ничего не слышал, и как попала бумажка в церковь, а потом в сельсовет — никто не ведает... Словом, история покрыта мраком и в самой бумажке сплошной туман. Пишет этот полковник, что где-то в притоках реки Колымы он открыл золото. Точное местоположение, как и Розенфельд, конечно, не указывает, но дает возможность гадать: какой-то левый приток впадает в нее близ Среднеколымска. Вон куда махнул...

— А может, Верхнеколымска?

— Нет, пишет: Среднеколымска. А вершина этого притока подходит к вершинам речек Сеймчан и Таскан...

— Ну, конечно, Верхнеколымск! Описка у него!

— А там, где золото нашел, есть недалеко и месторождение слюды и еще — какой-то водопад. В общем приходи к моему золоту. У одного — зигзагообразные молнии, у другого — водопад... Морочат нам головы все эти розенфельды и полковники, а мы цепляемся за их штаны.

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Ночью вдруг что-то грохнуло, как выстрел. Все выскочили из барака и долго недоумевали: вокруг стояла мертвая тишина, такая, что слышно было, как пар, смерзаясь, шелестит, — шепот звезд.

Кто же стрелял? Неужели кто из старателей подходил к базе? И зачем? А может, подъезжают ребята из Олы?

Первым догадался Степан Степанович. Он подошел к красавице лиственнице, под которой стоял барак, и про-

вел ладонью по ее коре. От нижних веток до самой земли толстый, в два обхвата, ствол точно кто распорол. Степан Степанович заскорузлой ладонью ласково и нежно провел по трещине, словно по живой ране. И другие в глубоком молчании подходили и осторожно касались пальцами этой раны.

В ту ночь разведчики долго ворочались на нарах. Даже Иван Алехин, который, бывало, пальцем не шевельнет без присказки, без прибаутки, притих. Весь этот месяц не работали, только охотились да пилили дрова, но чувствовали себя усталыми.

Утром пришел Сологуб. Сверкая золотыми зубами, он свалился в барак и с порога прокричал:

— С наступающим праздничком, с рождеством Христовым, люди добрые! Читайте, что я дед-мороз и подарок вам принес. Вот — шесть фунтиков муки. Больше не можем. Не обессудьте.

От всего сердца поблагодарили Бронислава Яновича.

Сологуб, не снимая шубы, присел, пасупил свои лохматые черные брови. Видно было — хочет что-то сказать, но молчит. И все, предчувствуя что-то недоброе, выжидательно смотрели на него.

Наконец заговорил:

— Нехорошие дела затеваются, товарищи... Правильно вы нашего брата хищниками обзываете... хищники, как есть хищники!

— Ничего, Бронислав Янович, мы их с Оглобным поприжали, а вот придут наши и сам Лежава-Мюрат, мы их всех приведем в полный божеский вид!

— Да я не об этом, Юрий Александрович...

— О чем же? Говори. Мы здесь не кисейные барышни, в обморок не упадем.

— Сафейка исчез.

— Убежал?

— Убежал — это бы хорошо... Как бы чего хуже не случилось...

— Да ты что, дед-мороз, загадки, что ли, пришел загадывать? Говори, что случилось?

— Помните, Юрий Александрович, когда вы с Сеймчана вернулись, кто-то в спину прошипел: «Не подохнем, если тебя сожрем?»

— Ну и что? Злой человек чего не скажет...

— А наш брат, хищник, голодный, на все пойдет. И пошел. Да что тут тянуть! Проиграли Сафейку! И тебя проиграли, Юрий Александрович...

— Как проиграли?!

— Ну, как играют... В карты. Золото перестали мыть — стали в карты играть. Сначала играли под то золото, которое припрятавали. Потом под конину, под пайки, которые на всех разделили, затем — и под человека. Ставят на кон того, кого хотят убить — кто в печенках сидит. Проигравший должен убить, а есть будут вместе. Такая механика...

— Так это же людоедство! — закричали потрясенные разведчики.

— Да что вы на меня-то кричите, люди добрые? Я не людоед и в карты не играю. Недобрую весть принес, так не обессудьте... Упредить хотел.

Сологуб ушел как приведение. Да и был ли он? Заходил ли? Был. Заходил. Вот принес мешочек ржаной муки... Предупредил об опасности, нависшей над Билибиным. Но во все это не верилось, не укладывалось это в голове.

— Арестовать людоедов! — завопил Миша Лунеко и бросился к своему ружью.

— А ты кто, Миша? Прокурор или милиционер? — спросил Степан Степанович.

— Красноармеец я! Старшиной батареи был!

— Все мы были рысачами... А нынче твоя пушка на третий раз стреляет и как бы в тебя не ударила, — усмехнулся Алехин.

Миша сел на нары, и снова все примолкли.

Раковский вздохнул:

— Говорил я Поликарпову: дойдет до людоедства... Как на Алдане, помнишь, Степан Степанович?

— Помню. Да будет вам, все обойдется. Только ты, Юрий Александрович, один не ходи. Да и без ружья в тайге нельзя.

Билибин, видимо, обиделся, подумал, что его за труса считают:

— Пойду! Без ружья пойду! Выплюсь и пойду, завтра же, к Тюркину и Волкову. С праздничком поздравлю и сяду играть с ними в карты. Я причешу их королю бороду! Все золото, которое они прячут, выиграю и самих на сковородку посажу...

— Я с вами, Юрий Александрович! — заявил Алехин. — В карты играть и я мастак!

— Не хорохорьтесь, ребята, не травите голодного зверя, — успокаивал их Степан Степанович. — Ложитесь-ка спать, а я муку замешу, все-таки завтра праздник.

...Всю ночь проворочался на нарах Юрий Александрович. Заснул он только под утро и видел во сне отца. Отец

почему-то превратился в алданского политкомиссара и протянул ему плитку шоколада: «На, возьми, а то с голodu помрешь...»

Проснувшись, Юрий Александрович всем рассказал свой сон и всех уверял, что сон этот в руку, что сегодня или завтра придет караван, большой аргиш.

— А что, друзья-догоры, не повеселить ли мне вас рассказом о моем отце, о роде Билибиных и о том, как я родился?

Хоть и не до веселья было, догоры согласились послушать.

ПОД РОСТОВСКИЕ ЗВОНЫ

— Билибины. В российских гербовниках, в энциклопедиях, в грамотах эпохи Ивана Грозного и даже в романе «Война и мир» Билибины упоминаются. В шестнадцатом веке был приказной дьяк Билибин Шершень. От этого Шершня и пошли, весьма возможно, все Билибины. Но мой отец прямым предком нашего рода считал Харитона Билибина. Сам Харитон и его два сына: Иван-первый, Иван-второй — были богатейшими купцами в Калуге, заводы имели. Художник Левицкий их портреты писал, в музеях хранятся. И внука Харитона — Якова писал. Ну, те, Харитон и Иваны, были типично русскими купцами, бородатыми и брюхатыми, а Яков — это уже светский щеголь, завитой и с бантиками. Он — и вольнодумец-масон, и коммерции советник. В годы нашествия Наполеона пожертвовал на алтарь отечества двести тысяч рублей. В Петербурге у него — дом-салон: поэты, артисты, великий композитор Глинка бывал... Но к концу жизни промотался или, как говорят семейные архивы, «его состояние пришло в упадок». И все его потомки должны были учиться на медные деньги. К тому же дед мой, Николай Алексеевич Билибин, оказался многодетным. Семь сыновей у него было — дочери в счет не шли. Ясно, что на такую ораву никакого наследства, никакого приданого не напасешься. Ну, и, как говорится, нужда заставила калачи есть — всех выводила в люди. И отец мой, когда рисовал родословное древо, не купечеством кичился, не дворянством, а под каждым листиком подписывал, кто есть кто. Посмотришь на древо и видишь: сидят на верхних веточках военные, ученые, врачи, художники...

Иван Яковлевич Билибин — всем известный художник,

Истинно русская душа, весельчак, балагур, завсегдатай артистических вечеринок!.. Супруга Лежавы-Мюрата его хорошо помнит. Да и вы, весьма возможно, видели сказки Пушкина, русские сказки с иллюстрациями Билибина. В девятьсот пятом году этот художник Билибин царя Николашку со всеми его регалиями ослом нарисовал, за что подвергнут был аресту, а журнал, который напечатал рисунок, закрыли. Родной брат Ивана Яковлевича Александр Яковлевич — математик. Сам я изучал алгебру и геометрию по учебнику дяди, Николая Билибина, а его сын, тоже Николай, — ученый, этнограф. И вот сейчас, когда я с вами сижу здесь, на Колыме, в это же время сравнительно недалеко отсюда, на берегу Охотского моря, на Камчатке, так же сидит среди коряков и ительменов этнограф Николай Николаевич Билибин — изучает их быт, будет строить для них культуру, новую жизнь...

— ...и есть оленину, а у нас конских кишок осталось только на завтрак, — ввернул Алехин.

Алехина никто не одернул, все молчали, пока Юрий Александрович опять не заговорил:

— При рождении мне дали имя Георгий. Юрием-то я стал недавно, на Алдане... И когда меня крестили, то вся Россия в колокола звонила! Не верите? Я и сам не верю, а дело, рассказывают семейные предания, было так.

Родился я в Ростове, но не в том Ростове, что на Дону, а в Ростове Великом, в древнерусском граде, про который пословица гласит: ехал черт в Ростов, да испугался крестов. Там церквей и крестов больше, чем деревьев в лесу. Народ ростовский — крепкий, щи лаптем не хлебал, в зипунах не ходил, стучал сапогами по деревянным тротуарам. Мужики все — высокие, светлоглазые, у каждого борода-лопата, все русые...

Крестили меня в Ростовской градской Рождественской, что на Горице, церкви. Там в книге за тысяча девятьсот первый год запись учинили: «родился шестого, крещен девятого мая Георгий. Родители — штабс-капитан третьей гренадерской артиллерийской бригады Александр Николаевич Билибин и законная жена его Софья Стефановна». Мама моя — дочка болгарина Стефана Вечеслова, который вместе с русскими освобождал свою страну от турок, а потом переехал в Россию.

Так вот, когда меня крестили, дряхлый попик с клубничным носиком взял меня из рук крестницы и понес в алтарь. Только внес — вдруг во всю мочь ударил Сысой, самый большой колокол на звоннице Успенского собора

Ростовского кремля. Звон Сысой от звона всех других колоколов отличался: красивый, бархатный, с мелодичным призвуком, и такой мощный, что за двадцать верст слышен. Давно уже Сысой и другие колокола Успенского собора не звонили: больше ста лет, как резиденция ростовского владыки была перенесена в Ярославль и кремль в Ростове запустел. Но в то время, когда я родился, в Ростовском кремле квартировала как раз та самая гренадерская бригада, в которой служил мой отец. Все офицеры были приглашены на мои крестины. И многие солдаты были на крестинах, потому что любили, уважали моего отца, и он к солдатам относился с добротой, по-человечески...

И вот, как только раздался первый удар Сысой, попик вздрогнул и чуть было меня, раба божьего Георгия, не грохнул о каменный пол, потому что диву дался, из-за чего вдруг звон. Пожар? Так звон не всполошный. Война? Звон не набатный. Уж не владыка ли преподобный из Ярославля пожаловал? А может, сам государь-император из Питера? Но об их визитах заранее было бы известно. Или просто в ушах зазвенело?

Положил меня батюшка на каменный пол и стал в алтаре, святом-то месте, кощунственным делом заниматься — в ушах ковырять. Поковырял — а звон еще сильнее. Закрылся покаянно и истово, схватил меня с пола, а на полу-то, на том месте, где я лежал, — лужица. Святотатство! Алтарь осквернен, весь обряд крещения насмарку... Что делать? Быстренько, благо пока никто не видел, затер попик лужицу подолом своей рясы: грешить так грешить!.. Вознес новокрещеного и двинулся из алтаря.

Сысой гремел, потом стал медленно замирать, словно откатывалась волна. До конца еще не замер, как стали ему подзванивать малые колокола. И полился строгий, торжественный Ионинский звон.

Выступил священник из алтаря с вознесенным младенцем и возопил дребезжащим голоском:

— Знамение, православные! Великое знамение! Под звон Сысой раб божий Георгий в алтарь введен. Под Ионинский звон выведен. Благодатью господя нашего преисполнен есмь и во веки веков будет! И мы, грешные, при сем быть сподобились. Аминь!

— Аминь!!! — дружно, как на параде, гаркнули офицеры и солдаты.

Они, как только в первый раз ударил Сысой, понимающе, с восторгом переглянулись. Отец мой, хотя и не был с ними в сговоре, тотчас догадался, кто устроил этот благо-

вест. И когда священник проаминил, то он, скрывая смех в глазах, низко, с небывалым смирением, опустил голову. Скудоумный попик перекрестил его лысину.

А как вынесли меня на свежий майский воздух, Ионинский звон сменился Егорьевским — в честь новокрещенного Георгия. Плавню, размеренно ударили враз три больших колокола, а вслед им звонко заворили маленькие, будто посыпались с неба серебряные монетки.

А когда подходили к дому, Егорьевский звон стих, и весело, празднично залился Иконофановский. Большие колокола зазвучали, как бокалы, а маленькие — рюмочками...

Отец любил всякие розыгрыши, веселые выдумки и был в нескрываемом восторге:

— Вот звонари так звонари! Музыканты! И где вы их только разыскали? — спрашивал своих офицеров.

— Весь Ростов обшарили, господин штабс-капитан. Рады стараться, ваше благородие!

— Не перевелись на Руси великие звонари?

— Не перевелись! За шкалик «Комаринского» отзвонят!

Звон Сыся и всех колоколов Ростовской звонницы долго разливался по городу, по озеру Неро, на двадцать верст вокруг. Позже сказывали, что все звонари и Ростова Великого, и окрестных сел, услышав Сыся, взобрались на свои колокольни и, не задумываясь, по случаю чего, бухнули во все колокола. Как говорится, не заглядывая в святцы. Полился звон от села к селу. Докатился от Ростова Великого и до древнего Ярославля, и до матушки-Москвы. Ну, а Москва зазвонила, то и вся Россия ей вслед.

Так фантазировали развеселые, пропустившие не одну рюмочку, офицеры-гренадеры за большим праздничным столом.

«Уютный уголок»

Жизнь армейского офицера — как у цыган, кочевая, но детям это очень нравилось. После Ростова Билибины жили в Карачеве, таком же древнем уездном городишке, с базаром, где неизбежно и приятно пахло хлебом, коноплей, кожей и лошадьми. Потом немного — всего полгода — пожили в чопорном и скучном, где ни побегать, ни порезвиться, Царском Селе, в казенных флигелях офицерской школы. А затем живой и шумный Самара-городок, где рядом и Волга, и Жигули, и базары с яркими игрушка-

ми, шарманками, каруселями. После Самары — Смоленск.

В Смоленске прожили дольше, чем в других городах: две войны и две революции пережили. Здесь Юрий Александрович, тогда — Юша, Георгий, учился в реальном училище. В гимназии, где учительствовала мама, учились сестры Людмила и Галя.

Отец был в то время, перед войной, уже полковником. Неистощимый на выдумки, он делал жизнь семьи веселой, праздничной. Дом, который они снимали по Киевской улице, старый, деревянный, с палисадником, — был превращен в уютный уголок.

Строгий на вид, с усами, торчащими как пики, и острой бородкой, отец сочинял шуточные вирши, редактировал рукописный семейный журнал, который так и назывался «Уютный уголок», сам разрисовывал его картинками, рамками, виньетками и подписывался — «редактор Шампиньон», «художник Пупсик». Его сотрудниками были все члены семьи, выступавшие под псевдонимами: Муха, Мурзилка, Кругломордик, Галка-Мокроглазик, Стрекоза, леди Зай.

В конце второго номера «Уютного уголка» объявление гласило: «Первого июня близ станции Лиозно Риги-Орловской железной дороги и местечка Лезно Могилевской губернии будет открыта дача. Дача находится в благоустроенном имении и имеет много достоинств: рыбная речка-купальня, лодки, большой сосновый лес, в нем грибы, масса цветов, возможность пользования лошадьми, качели, гигантские шаги, ослики... Выезжают на дачу все сотрудники журнала».

Накануне этого выезда мама и дети побывали в Москве, навестили многочисленную билибинскую родню, три раза осматривали Кремль и Зоологический сад. В Москве Юшу экипировали, и на дачу он выехал в суконном форменном пальто, в шлеме, с ботанической сумкой через плечо и с сачком в руке. Он чувствовал себя путешественником, отбывающим в дальние страны, ученым, уходящим в неизведанные края, больше всех волновался и всех смешил своим комичным видом. Примерно так писала Галка-Мокроглазик в «Очерках дачной жизни», опубликованных в третьем номере «Уютного уголка».

Третий номер вышел 15 июля, в день 40-й годовщины редактора журнала. Юбилей был отмечен вкусным пирогом, аппетитной закуской, которые подносились в шалаше, сооруженном господином Мурзилкой и самим редактором Шампиньоном. К обеду Мурзилка и Шампиньон чуть не

поймали шуку, но, застигнутые дождем, вынуждены были прекратить лов, укрылись в каком-то сарае и там сочинили поэму «Шукиада». Она была поменьше гомеровской «Илиады» и пушкинской «Гавриилиады», но вполне достойной «Уютного уголка». Ее намечалось поместить в очередном, четвертом номере.

Но четвертый номер не вышел. Началась война, и редактора «Уютного уголка» проводили на фронт...

Вокзал визжал гармошками, орал пьяными глотками, стонал бабьими причитаниями и песней про Трансвааль. Песня была трогательной до слез, и пели ее всюду...

На папиных плечах сверкали погоны 56-го паркового артиллерийского дивизиона, на груди скрипели ремни. Юша просил отца взять его на войну...

Весело и счастливо начинался в доме Билибиных 1914 год. Провожали же этот год тихо и грустно.

Георгий с головой ушел в книги. В училище его часто хвалили, в классном журнале против фамилии Билибина стояли одни пятерки. Его сочинение об Илье Муромце зачитывалось перед всем классом. Автор сравнивал русского богатыря с Рустемом из «Шахнамэ» и подчеркивал, что им обоим свойственны бескорыстие, добродушие, храбрость и хладнокровие в бою...

На этом месте словесник прервал чтение и сказал:

— Я верю, что Георгий Билибин так же будет отличаться всеми достоинствами, когда пойдет сражаться, как и его отец, полковник Билибин, за веру, царя и отечество! — Но затем словесник будто камни заворачивал: — Дальше реалист Билибин отмечает, что богатыри любили бражничать и никто с ними не мог сравниться в количестве выпитого вина... На эту человеческую слабость не следовало бы обращать внимание. И еще: реалист Билибин пишет, что Илья Муромец никогда не заискивал перед великим князем Владимиром, а Владимир сам кланялся Илье и просил богатыря о защите своего княжества... Это тоже не к месту и не ко времени. А в общем сочинение достойно высшего балла! И посмотрите, какой почерк! Как будто летописец писал! И разрисовано заставками, буквицами... вполне в русском стиле...

В 1918 году Георгий Билибин заканчивал дополнительный класс реального училища, при отличном поведении показал отличные успехи по всем предметам. Это давало ему право поступить в любое высшее учебное заведение.

И в том же году, весной, распахнулась дверь, и на пороге появился папа — в шинели, но без погон:

— Здравствуйте, сотруднички «Уютного уголка»!

Все бросились к нему.

— Не задушите своего редактора, — закашлялся отец, схватившись за грудь.

Мама испугалась:

— Что с тобой?

— Пустяки, ехал на открытой платформе, простудился.

Папа был на румынском фронте. Письма от него приходили редко. Знали, что после февраля солдаты выбрали его командиром того же артдивизиона, которым он командовал и прежде. Папа писал, что война всем осточертела, что скоро солдаты воткнут штык в землю, будет замирение и тогда он вернется.

Но все-таки приехал неожиданно и не так скоро — через год. Радости не было конца, но родители иногда с тревогой взглядывали друг на друга и о чем-то тихо переговаривались.

— В заграничных банках — ни одного франка, — каламбурил папа.

— А вспомни, Шурочка, как мы рвались домой из этой заграницы! — вздыхала мама.

— Лучше быть повешенным на горькой, но родной осине, чем скитаться по чужбине... Да и все образуется! Вот — декрет! — папа выхватил из полевой сумки шершавый листок.

И они, папа и мама, читали этот листок, то с надеждой, то с тревогой переглядываясь.

А на другой день, рано утром, отец простился со всеми и ушел. В тот день все ходили как в воду опущенные, говорили тихо, то и дело посматривали в окно.

Папа вернулся поздно ночью — похудевший, с воспаленными глазами, но возбужденный и радостный:

— Все в порядке, товарищи сотруднички! Могу считать себя полностью проверенным и завтра начинаю служить в Красной Армии! Да и тебе, Георгий Победоносец, не пора ли в армию?

И они, отец и сын, стали служить вместе. Штаб Западной армии РККА находился в Смоленске. Георгий был сначала посыльным, потом письмоводителем, делопроизводителем, а вскоре и начальником учетно-статистического отделения...

С того дня, как отец вернулся с фронта, кашель у него не проходил, было подозрение на чахотку, но он, как и прежде, оставался весельчаком и заводилой.

ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ЗОЛОТО

СКАЗОЧНЫЙ КУРЖАК

Утром 28 ноября Цареградский снова обошел старый тополь, еще раз прочел затесы на его серебристо-глазетовой коре:

«29.VIII-28 г. Отсюда состоялся первый пробный сплав КГРЭ».

Двадцать девятого, восьмого... Ровно три месяца назад!

Стоя под тополем, Валентин твердо и громко, как с трибуны, провозгласил:

— Товарищи! Мы повторим маршрут Билибина, пройдем Малтан и Бохапчу! И что бы ни случилось с его отрядом, найдем наших товарищей!

Все были готовы к этому, а после того, как без особых приключений отмахали без малого триста пятьдесят километров, были уверены в удаче.

Один лишь старик Медов тряс головой, обмотанной поверх шапки бабым платком:

— Бешеный Бохапча, шибко бешеный. Камни тут-там. Река тут-там не замерз, плыть надо. Нарта плыть — суох!

— Полыньи и камни обойдем, Макар Захарович! Где Билибин прошел, там и мы пройдем! А выберемся на Колыму — помчимся по льду. Через неделю, максимум через десять дней мы должны быть на Среднекане. Должны, Макар Захарович. У Билибина продуктов, если даже они ничего не потеряли на порогах, — только на три месяца, только до декабря...

После этого короткого митинга все шесть собачьих нарт двинулись с Белогорья.

Нарты ходко скользили по ровному льду Малтана, запырошенному снегом. Река то сужалась, то расширялась, то разбивалась на протоки, огибая пустынные галечные осередыши и длинные острова. За островами, густо поросшими высоким ивняком, матерые берега не разглядишь. Цареградский распорядился, чтобы одни шли по левой

протоке, другие по правой. В этом был риск: протока могла оказаться слепой и в завалах непроходимой. Но иначе нельзя, можно разминуться с людьми Билибина или их следами.

Все пристально всматривались в берега, в сопки, в распадки, за каждой излучиной ожидая встретить хоть что-нибудь, связанное с людьми. Но долина была пустыня, никаких признаков жилья, кочевья, даже зверья. Изредка на девственно белом снегу темнели вмятинки мохнатых куропаточьих лапок, и они, как единственные приметы чего-то живого, радовали.

И вдруг за небольшим лесистым островком, в самом конце длинного плеса, что-то зашевелилось. Валентин смахнул иней с заиндевелых ресниц и не очень уверенно промолвил:

— Макар Захарович, посмотри, что там...

Медов, сидевший к нему спиной, развернулся, взгляделся:

— Тунгус идет, с оленями, — и закричал всем каюрам: — То-ой!

Со всех нарт по долине прокатилось:

— То-ой! То-ой! — и заскрипели железные наконечники остолов по ледяному панцирю.

Разгоряченных собак, увидевших оленей, остановить нелегко. Понесли... Остолом не удержишь и не осадить. На ходу перевертывали нарт. Тунгус попятился, оттянул своих оленей в сторону, от беды подальше. Так и остановились на почтительном расстоянии друг от друга.

Макар Захарович пошел на переговоры. Собаки рвались, рыли снег, захлебывались в лае. Якут и тунгус беседовали очень долго, обменивались всеми капсе. Наконец старик возвратился.

— Тунгус с Буюнда сказал: нючей не видал. Другой тунгус, Таскан тунгус, ему сказал: нючей видал, шесть нючей видал...

— Когда это было?

— Когда скоро снег лег.

— В сентябре, значит? А где они остановились?

— Тунгус Таскан не знает. Другой тунгус, Сеймчан тунгус, сказал: Хиринникан.

— На Среднекане, значит? А что они там делали?

Макар Захарович пожал плечами и снова ушел на капсе. На этот раз вернулся быстрее:

— Груз сняли, ночь ночевали, четыре нючи груз взяли, пошли Хиринникан, два нючи остались, много груз остались...

— А какие они? Приметы какие? Волосы, глаза, рост? Как их зовут, знает?

Старик опять потопал на расспросы. На этот раз их диалог был подозрительно долгим и, видимо, беспокойным. Слов не хватало, объяснялись руками.

Воротился Медов насупленным, еще более ссутулившимся и даже злым, хотя принес вести отрадные. Бросал их словно тяжелые камни:

— Плохой тунгус! Мало знает! Один Длинный Нос — Сергей знает.

— Раковского?!

— Билибина не знает! Улахан тайон кыхылбыттыхта не знает! Моя знает! Жив улахан тайон кыхылбыттыхта!

Валентин обнял Макара Захаровича. Но Медову, видимо, было не до нежностей, оттолкнул Цареградского:

— Назад пошли! Элекчан пошли!

— Зачем назад! Вперед, Макар Захарович! На Колыму! Через Бохапчу!

— Бохапча бешеный! Бохапча — Хиринникан далеко. Элекчан — Хиринникан близко.

Валентин опять попытался обнять старика:

— Спасибо за совет. Товарищи! — крикнул Цареградский, обращаясь к отряду. — С Билибиным все в порядке! Билибин жив! Все живы! Все на Среднекане! Мы возвращаемся на Элекчан, а оттуда — на Среднекан! Вперед, товарищи! То есть назад, товарищи!

Нарты подняли. Упряжь поправили. По уже проторенной дороге собаки бежали шибче. Через три дня вернулись на Элекчан. Устроили дневку и, отдохнув, стали готовиться ехать на Среднекан, надеясь догнать и перегнать Эрнеста Бертина и первую партию оленьего каравана, которая лишь два дня назад миновала Элекчан.

Но тут Макар Захарович — он все время после встречи с тунгусом ходил словно в воду опущенный — отозвал Цареградского в сторонку:

— Литин, жди оленей тут. Другой аргиш скоро будет. Моя пошла Ола.

— Как — в Олу? Придем на Среднекан, тогда — в Олу. Ведь так договорились?

— Литин, ты взял шибко много груза. Корма собачкам — мало. Юкола не хватит — погибай собачка. Чужая собачка...

— Что ж делать? — растерялся Цареградский, чувствуя, что якут чего-то не договаривает. — Я не могу отпустить вас с полдороги. За чужих собачек заплатим... У Би-

либина нет продуктов, их хватило только до декабря!

— Там Сеймчан якуты, Таскан якуты... Помогут. Билибин на Бохапча не погибай, на Хиринникан много лет жить будет. А собачка зачем погибай? Зачем моя погибай?

— Как «моя погибай»? Что ты говоришь, Макар Захарович? Ты что-то скрываешь?.. Может, тебе тунгус тот угрожал?

Макар Захарович молчал. С большим трудом Валентин кое-что выведал...

Тунгус, оказывается, передал Медову приговор Элекчанского родового Совета. Были тогда, как переходная форма к Советской власти, такие Советы у кочующих тунгусов. Вывеска советская, а под ней те же старорежимные князцы с царскими медалями на груди и царскими печатками в торбе, — тот же Лука Громов, что продавал диких оленей экспедиции, Григорий Зыбин...

Эти князцы, оленехозяева, распускали всякие небылицы о русских, об экспедиции и Союззолоте и, когда первый зимний транспорт Союззолота продвигался на Среднекан, уключивали от его маршрута за сто и двести верст. Они-то, эти громовы и зыбины, и протащили на собрании родового Совета наказ убить Макара за то, что он, саха, якут, ведет нючей на Север, на тунгусскую землю. Русские без него, Макара, не прошли бы. А теперь по их следу пойдут многие. Пришлые люди, чужаки здешних мест, тайгу запалят, ягель сожгут. Олень помрет, тунгус помрет. И виновник — саха Макар. Его уже раз предупреждали, последний раз предупреждают: не уберется за Элекчанский перевал — убьют, со всеми кудринятами и макарятами убьют.

Макар Захарович, рассказав Цареградскому всю эту историю, просил никому ничего не говорить, а то узнают Михаил и Петр, парни горячие, комсомольцы, на рожон полезут. Сам старик считает, что разумнее пока отступить. Да и корма собачкам в обрез... На обратную дорогу в самом деле не хватит, а Билибину теперь ничто не угрожает...

Долго молчал Цареградский, наконец сказал:

— Ну, что ж, Макар Захарович, возвращайся в Олу. И там сразу — в тузрик! Тузрик должен отменить решение родового Совета. А еще лучше — в ГПУ. Классовые враги по его части. И никого не бойся. Никто тебя не тронет. Мы этого не допустим!

Вторую партию большого аргиша ждали пять дней. Без дела не сидели. Перебирали груз, благоустраивали зимовье, в звездные ночи определяли астропункт.

Но Цареградскому в эти дни казалось, что он после ольского великого сидения снова попал в полосу невезения. Ехать с первой партией, конечно, было бы лучше. И не только потому, что она раньше других придет на Среднекан. Шли с этой партией приисковые старатели, административно-технический персонал, горный инженер Матицев и горный смотритель Кондрашов, молодые специалисты, с которыми познакомился Цареградский в Оле; шли почти все оставшиеся в Оле работники экспедиции и даже старик доктор Переяслов. Теперь все они впереди, может быть, уже подходят к Среднекану, и там их встретят как спасителей... А он, Цареградский, их руководитель, остался позади, потому что опоздал на каких-то два дня.

Большой аргиш — сто оленей, сорок нарт — ведет Давид Дмитриев, сын столетнего Кылланаха, человек бывалый, надежный, избирался председателем сельсовета. С ним было бы спокойнее. Проводник же второй партии Александров — мужик другого склада: самый богатый саха на Охотском побережье, у него десять лошадей, пятнадцать оленьих нарт и морская шлюпка. Александров тридцать пять лет ходит по колымской земле, он прижимистый, себе на уме.

Билибин не мог с ним договориться о перевозках. Лежава-Мюрат просил Александрова вести караван. Но он быть проводником первой партии наотрез отказался: и стар, и болен, и олени слабы, и снегу много... Не соглашался вести и вторую, по уже проторенной дороге, опять ссылаясь на свой застарелый ревматизм ног и подагру рук.

Но Мюрат от кого-то узнал, что на пути есть горячий целебный источник, которым в прежние годы Александров пользовался, и поймал его на слове.

— Вот и хорошо, Михаил Петрович, по пути подлечишь свой ревматизм и подагру. Считай, что за счет Союззолота на курорт едешь.

И цену набивал Александров, но Лежава расценки на все транспортные операции установил твердые. Единственно, что выторговал проводник — это приличный аванс.

Выставил старый якут все свои пятнадцать нарт, столько же подрядил у других, нанял каюрами тунгусов, бывших под его рукой, и вместе с четырьмя сыновьями повел вторую партию большого аргиша.

От Олы до Элекчана первая партия торила дорогу по глубокому снегу двадцать дней. А партия Александрова пролетела — по готовой-то! — без дневок за четыре дня. Останавливались только на ночевки и чтоб подкормить

оленей на ягельных местах. Александров так шибко шел, что чуть было не проскочил мимо Элекчана. Сидеть бы тогда Валентину Цареградскому и его спутникам еще неизвестно сколько.

Валентин радовал себя надеждой, что, если и дальше так будут идти, пожалуй, нагонят первую партию. Но у Черного озера, пустынного, с голыми, как в тундре, берегами, свернули вправо и стали подниматься по Хете, притоку Малтана, на крутой и высокий перевал. Поднимались два дня.

Когда взяли его и начался спуск, казалось, есть где разбежаться. Но осторожный Михаил Петрович на седловине распорядился выпрячь оленей и привязать часть сзади нарт, полозя обмотали веревками. Спускались тоже два дня.

Внизу лежала узкая долина реки Талой — той самой, где есть горячий источник, о котором был наслышан и Цареградский. Вся долина тонула в тумане, а река была в огромных незамерзающих промоинах и парила, несмотря на пятидесятиградусные морозы.

И вдруг Александров останавливает аргиш и объявляет отдых: большую дневку, дня на три-четыре, а может, и на неделю. Цареградский выразил неудовольствие, но проводник усмехнулся:

— Большой начальник Мюрат велел. Олени устали, ноги болят, руки болят. Мюрат лечить велел, — и на трех ездовых нартах, загруженных продуктами, направился в распадок. — Горячий вода там. Шибко помогай вода!

На обрывистых утесах выглядывали из-под снега кое-где белые туфы и застывшая лава. Цареградскому очень захотелось осмотреть ключ, и он поехал вместе с Александровым. Ручей весело бежал по камням. Над ним кружевами нависали заиндевелые ветви краснотала, ольхи. Они сверкали и искрились. Валентин громко выражал свое восхищение:

— Сказка!

— Что говоришь? — оборачивался якут.

— Сказка, говорю! Иней, как мишура на елке!

— Куржак.

— Что?

— Куржак, говорю!

— Подумать только, все это создано водяными парами.

Вскоре они свернули за небольшие моренные холмы, нагроможденные ледниковой эпохой, и въехали в небольшую котловинку. И тут, чуть не задохнувшись от застояв-

шегося сернистого газа, погрузились в липкий обволакивающий туман.

Снегу не было. Вместо него земля, камни, прошлогодняя трава серебрились изморозью. Кусты и деревья снизу доверху были шедро унизаны мохнатым инеем, будто облиты борной кислотой.

— Куржак,— вслед за якутом повторил Валентин.

Александров остановил нарту возле какой-то темной лужицы, курившейся сизым паром, и стал натягивать над нею бязевую палатку. Пар быстро набрался под ее пологом, как в бане на верхнем полке. Старик мигом обнажился и шустро полез в воду, даже не проверив ее на ощупь. Нежась, Александров переворачивался с боку на бок, кричал:

— Ха! Ха! Хорошо! Шибко хорошо! Шибко горячий вода...

Валентин не рискнул потрогать «шибко горячий вода», извлек из рюкзака термометр и стал измерять. Температура воздуха была минус сорок четыре по Цельсию. А в лужице спиртовой столбик взлетел и замер на отметке плюс сорок четыре.

— Долго нельзя, Михаил Петрович.

— Можно, долго можно.

Лужиц было много. Каждая кипела газовыми пузырьками, и каждая, мутновато-темная, в заиндевелых берегах, походила на старинную, почерневшую от времени икону в серебряном окладе.

Цареградский измерил температуру луж и установил, что чем выше грифон, тем выше и температура. Если в нижнем — сорок четыре, в среднем — пятьдесят шесть, а в самом верхнем — шестьдесят восемь, следовательно, здесь где-то бьет из земли и сам источник.

— А летом какая вода?

— Шибко горячий! Мясо варить можно.

— Ты сам-то не сварись, Михаил Петрович. Уже красный как рак. Вылезай-ка.

— Рано вылезай-ка. Долго сиди надо. Шибко надо.

Кожа старика заалела, покрылась мелкими бисеринками газовых пузырьков, глаза осоловели. Но вылезать он не торопился. Отмыл от грязи руки и, зачерпывая воду пригоршнями, стал лить на лысую голову. Совершив омовение, стал пить воду из ладоней, пофыркивая и отдуваясь:

— Ха! Ха! Шибко кусно!

Валентин тоже решил испытать воду на вкус. Зачерпнул кружкой из другой, более горячей лужи, подул и глот-

нул. Вода сильно отдавала сероводородом, как протухшее яйцо, но пить было можно.

Прошло не менее часа. Цареградский, боясь, как бы старик богу душу не отдал, потянул его за руку. Александров не сопротивлялся, но и не двигался. Пришлось его выволакивать, одевать, как малое дитя.

Якут едва ворочал языком:

— Избушка — vedi...

Валентин тащил грузного старика на себе:

— Нельзя же так!..

— Можно. День можно, другой можно, еще можно, неделя можно. Рука дурная погода не сгибай, приедай, неделя лежи, рука хорошо сгибай.

Тащить, к счастью, пришлось недалеко. Из посеребренных снежным инеем зарослей выступила крохотная, под плоской кровлей избушка. Вошли. А в избушке — столик с двумя пнями вместо стульев, железная печурка на четырех камнях и две кровати. Печка — жестяная банка, труба составлена из баночек. Узкие деревянные лавки вдоль стен. На всем заиндевелая копоть. Давно, видно, здесь никто не бывал, и дух нежилой. Но в печурке по таежному обычаю заготовлены дрова. Разожгли огонь, печка вмиг покраснела, избушка озарилась багровыми сполохами.

За чаем Михаил Петрович разговорился:

— Лето тут шибко хорошо! Рано лето! Март — уже трава, цветы.

— И много раз ты здесь бывал?

— Шибко много! Как на Колыму — так сюда.

— И другие здесь лечились?

— Много другие. Купец Бушуев давно лечился, шестьдесят зим прошло. Купец Калинин, Петр Николаевич, и его жена Аниса. Заведующий факторией, тоже Калинин, Алексей Васильевич, много лечился. Старатель охотский Кузнецов на Колыме золото искал, а тут помер.

— Как — помер?

— Дурной был. Один был. Лежал той яме, где ты вода пил, там помер. Дурной он, припадок был. Когда я нашел, одни кости лежат. Вода все унесла. Кости я собрал и вон там закопал, похоронил, как Борисуку...

Старик вдруг смолк, будто язык прикусил. Не знал, что сказать и Цареградский — онемел. О Борiske и его загадочной смерти он был наслышан. О Кузнецове услышал впервые, да еще сразу такое, что чуть не стошнило. И не зная, что сказать, Валентин спросил:

— А он золото нашел?

— Кто? Бориска?
— Нет. Тот, Кузнецов... припадочный?
— Моя не знает,— и Александров окончательно смолк, сделал вид, что заснул.

Упрямый якут лечил руки-ноги целую неделю.

Цареградскому и Казанли ничего не оставалось, как ждать и продолжать исследования источника. Он каждый день измерял температуру во всех трех лужах, взял воду и грязь для анализа и даже приспособился собирать пробы газа в бутылки.

Уезжая с горячего ключа, бодрый и посвежевший, Александров говорил:

— Рука, нога доробы — шибко поедем.

До Среднеканского перевала двигались без происшествий. Дни проводили на нартах, вечером расставляли палатки, пили чай, плотно ужинали и укладывались спать. Жаль, что дни были очень короткие — проезжали немного.

На Среднеканском перевале прихватила пурга. С юга подул сильный ветер южак, потеплело, и понеслись тучи снега. Олени и люди сгрудились среди тощих лиственниц, боясь отбиться и затеряться.

— Ходи нельзя, стоять будем! Хурта! — кричал Александров.

Хурта редела и сшибала с ног. С трудом разбили палатку.

...Утром, белый, словно приведение, к ним ввалился Лежава-Мюрат:

— Быстрее в путь! Поедем налегке, на моих нартах. На Среднекане творится такое... одним словом — людоедство!..

БОЛЬШОЙ АРГИШ

Напраслину возводили на Демку. Пес, оставшись на торце застрявшего плота, не испугался ледяной воды, не обиделся на геологов, которые забыли перенести его вместе с грузом на берег. Демка, видно, не хотел мешать людям, всю ночь возившимся с подмоченными тюками. Пес до утра пролежал на одном месте, не меняя положения.

На рассвете, когда начали снимать плот с камня и Билибин перетаскил Демку на берег, пес припустил по твердой, морозцем схваченной земле, чтоб размяться и согреться. Запахи осенней дичи увлекли его далеко в глубь тайги.

Слышал он и первый и второй выстрелы ружья Степана

Степановича, возвращался на оба сигнала, но всякий раз птицы отвлекали его. Когда пес вернулся на место ночевки, он не увидел ни плотов, ни хозяина, никого. Бросился в реку, поплыл вниз по течению.

Своих он не догнал. Видимо, скалы бохачинского ущелья и бешеная вода помешали, а может, след не нашел. Возвратился на то же место, к порогу Два Медведя, долго рыскал в окрестностях и несколько ночей голосил на камне...

Якут-заика и его мальчонка манили собаку, соблазняли мясом, но пес не подошел к ним. Поджав хвост, уныло потрусил берегом вверх по реке.

Где мелкой дресвой, где по обледевленным валунам, где полегшим кедровником, где водой и заберегами, Демка пробрался до устья Малтана, а от него — почти до самого его истока.

Добрался до Белогорья, а оттуда по тропе, где встречался лошадиный помет, поднялся на перевал и здесь, уже в ноябре, через два месяца после разлуки с людьми, услышал знакомые запахи. Они его привели на Элекчанское зимовье, и он с ликующим визгом бросился на плечи Эрнеста Бертина, обсыпав обвислые усы Павличенко, а Игнатьеву чуть было совсем не свернул его и без того кривой нос. Признали пса только по длинным ушам, до того он изменился.

— Д-демка! Лопухий! Ты-т-ты? — оторопел Бертин.

Карие собачьи глаза были полны слез и сияли. И все он куда-то порывался: то на север, в сторону Колымы, то на запад, где Бохача, то на юг.

Эрнеста Петровича обожгла страшная мысль, и он в тот же день, 9 ноября, написал:

«В. А., с нашим первым отрядом случилась, вероятно, какая-то неприятность...»

С этим письмом Бертин направил в Олу Евгения Игнатьева, а сам распорядился как можно быстрее собираться в поход на поиски отряда Билибина.

Выстругали три пары широких, более надежных лыж, смастерили три нарты. Через неделю встали на лыжи, впряглись в нарты и потянули. Шли на северо-восток по компасу, по солнцу и звездам. Эрнест Петрович ворошил свою память, силясь представить ту спичечную карту, которую складывал когда-то Казанли на земляном полу юрты Макара Медова, ругал себя за то, что он, хитроумный, не зарисовал тогда эту карту.

На перевал карабкались десять дней. Снег был глубок

и рыхл. В день больше десяти километров не делали.

Надеялись: за перевалом станет легче — все-таки спуск, а не подъем, да и снег на северных склонах должен быть покрепче. Но эти надежды не сбылись. Река по ту сторону — как догадались, Талая — вся была в полыньях и пропаринах, прикрытых туманом. По льду идти опасно, продирались берегом, застревая в кустах и меж камней.

Эрнест помнил, что Талая выходит к Буюнде, в долину Диких Оленей — широкую, раздольную. На Буюнде пошли наледи. Они возникали на глазах то спереди, то сзади: взрыв — и из-под льда вырывается вода. Шли в воде по колено и выше. Выбирал путь Демка. Где он бежал, а не плыл, там и шли. Наледь минуют — скорее разводить костер: сушить валенки и портянки, ноги натирать спиртом.

Остановились на очередную ночевку у какого-то распадка. Бертин знал, что Буюнда впадает в Колыму ниже Среднекана километров на сотню с гаком. Если идти до устья Буюнды, то придется возвращаться на юг по Колыме — до Среднекана. Это займет дней двадцать. Не годится! Надо, как говорили Медов и Кыллахан, где-то сворачивать от Буюнды влево, в какой-то распадок, по какому-то притоку, помнится, вроде бы Гербе... А затем еще по какому-то притоку этой Гербы переваливать Среднекан. Но где этот распадок? Где эта Герба? Распадков, речушек, впадающих в Буюнду слева, — множество.

Наутро на горизонте увидели облачко. Олени? Облачко наплывало медленно. Наконец стали вырисовываться олени с ветвистыми рогами, нарты, люди! Насчитали двадцать нарт. Аргиш!

Первым на верховом олене подскочил Давид Дмитриев, сын столетнего Кыллаха.

— Свои, однако, — удивился он.

— Свои! — набросились на него трое, стащили с оленя и чуть не задушили в объятиях.

— Г-г-где 3-з-здесь эта чертова р-речка Герба? — закричал Эрнест.

— Вот она, однако.

— У-у, сказанная...

Оленей в караване было штук полтора, каюров — с десяток. Семь пассажиров и почти все знакомые: заиндевелый, как сосулька, доктор Переяслов, горный инженер Матицев, горный смотритель Петр Кондрашов...

Сразу стало шумно, весело в устье Гербы. Устроили дневку, чтоб завтра со свежими силами брать Среднеканский перевал.

Через два дня спустились в Долину Рябчиков.

А еще через день Демка напал на лыжный след своего хозяина Степана Степановича, рванулся вперед и скрылся за невысоким каменистым утесом.

Бертин погнался за ним на лыжах по хорошо укатанной лыжне, но догнать не мог.

А тут с того же утеса свалился прямо на лыжню человек в овчинном тулупе с обкромсанными полами:

— Сафейка я! Сафейка! Товарищи, спасите! Едят меня... едят... Вот шубу ели...

Бертин оттолкнул его как сумасшедшего:

— Билибин где?

— И Билибу едят...

— Где Билибин? — тормозил Сафейку Эрнест. — Где наши?

— Там наши!

Бертин, за ним Белугин и Павличенко бросились в неширокую тихую долину, по Демкиным следам.

Демка мчался к лабазу, рядом с которым у костра сидели два человека на корточках и что-то варили в котле.

Первым увидел собаку Алахин:

— Степан, ружье! Мясо бежит!

Степан Степанович обернулся:

— Демка! Сукин сын!

Из барака, толкая друг друга, выбежали Билибин, Лу-неко и Чистяков.

Подбежали на лыжах Бертин, Белугин, Павличенко.

— Ж-ж-жив, Юрий Александрович! Ж-ж-живы, черти! А мы чего только не думали! Демка вернулся, а от вас ни слуху ни духу... А тут Сафейка: съели Билибу...

— Я сам сейчас кого угодно съем.

— 3-з-здорово, Степан! 3-з-здорово, Алах! Что варите?

— Обед для вас готовим: бульон из конской шкуры!

— Хорошо! А я к конскому бульону коньяк привез! Принимай, Юрий Александрович, пять звездочек. А это — шоколад. Все это — подарочек от моего брата. А это — письма вам и Раковскому.

— Сон-то мой в руку, — обрадовался Билибин.

Сергей Дмитриевич в это время был на стане прииска. За ним послали Сафейку. Раковский помчался на базу. По дороге встретил Переяслова. Они заявили в барак, когда там уже разгорелся пир.

— Голубчики, голубчики, — заволновался доктор Переяслов, — много не ешьте, опасно...

Вольдемар Петрович Бертин писал Билибину и Раков-

скому примерно одно и то же: передавал приветы от всех алданских знакомых и от жены Тани, желал найти хорошее золото. Сообщил он также о том, что на Алдан приезжал председатель Союззолота товарищ Серебровский, говорил о большом развертывании золотоискательских работ в Сибири и на Дальнем Востоке, поставил задачу — «расшевелить золотое болото». Говорили с ним и о Колыме и о Чукотке. И тут же, в Незаметном, Серебровский издал приказ отправить на Чукотский полуостров экспедицию в тридцать пять человек во главе с Вольдемаром Петровичем. Письмо было написано во Владивостоке, в конверты вложены фотокарточки, на которых запечатлены все участники Чукотской экспедиции у бухты Золотой Рог.

— Юрий Александрович, теперь дело за нами! Возобновим работы? — сказал Раковский.

— Подкрепимся и начнем! — ответил Билибин.

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

На другой же день после прихода первого каравана уполномоченный Якутского ЦИКа Елисей Владимиров пригнал с Таскана одиннадцать оленей — ездовых и на мясо. Ждали из Олы Мюрата со вторым транспортом, и второго января он прибыл.

Ликсванию не было конца. На базе соорудили новую вместительную пекарню. Юрий Александрович не забыл Анастасию Тропимну Жукову, современницу Пушкина, и с Елисеем Владимировым направил в Сеймчан хлеб свежей выпечки. На прииске в каждом бараке пекли, жарили, варили. Отовсюду неслись песни. Все ожили.

Оглобин предложил разведчикам встречать Новый год совместно со старателями. Билибин по вполне понятным причинам не пожелал быть в одной компании с ними и остался на базе со своими. Но, дабы не дошло до полного разрыва, к старателям послали Раковского и Бертина.

В январе возобновили разведочные и эксплуатационные работы. Добили и опробовали последние шурфы на разведке Безымянного, приступили к строительству новой базы на терраске Среднекана, недалеко от приисковой конторы, и начали нарезку шурфов ниже устья Безымянного, у ручья, который позже назовут Кварцевым.

Золотой пятачок за зиму перелопатили вдоль и поперек. Пофартило артелям Сологуба и Тюркина — напали на богатые кочки. Хабаровцы и корейцы рыли и мыли

рядом, но им не везло: даже знаков не обнаружили.

А тут еще стали прибывать все новые и новые старатели, и всем подавай золотые непочатые деляны.

Лежава-Мюрат, как приехал, тотчас собрал всю свою контору: Оглобина, Поликарпова, новых технических руководителей Матицева и Кондрашова, снабженцев Кондратьева и Овсянникова. Пригласил на совещание Билибина и Цареградского.

Первое слово предоставил Юрию Александровичу. Билибин положил на стол заявку Поликарпова и шурфовочный журнал Раковского. Без всяких предисловий заявил:

— Заявка не подтвердилась, — накрыл ее широкой ладонью, а другой рукой, как на свидетеля, показал на журнал: — Долина на Безымянном пуста. — Заключил: — От разведки, поставленной без предварительных летних поисков, на основании одних заявок, нельзя ожидать хороших результатов.

Поликарпов сидел напротив, хмуро повесив голову.

Таким же сумрачным был и Лежава-Мюрат. Всегда энергичный, бодрый, он заметно растерялся:

— Что же нам делать, товарищи? Сюда понаехало почти сто человек, и с нашего ведома и без. Все — за золотом. С великим трудом мы снабдили их всем необходимым. А золота — нет? Что же делать, товарищ Билибин?

— Летом развернем поиски. А пока поставим разведку вниз по Среднекану и вверх. Организуем два разведрайона, — ответил Юрий Александрович.

Цареградскому было жалко смотреть и на Поликарпова, и на Лежаву-Мюрата, да и на Билибина. Валентин взял поликарповскую заявку, прочитал еще раз и осторожно начал:

— Может, не вполне грамотно составил заявку товарищ Поликарпов и мы не совсем поняли ее? А вдруг разведку следовало ставить не по долине Безымянного, а, как тут написано, на стрелке этого ключа, то есть в приустьевой части Безымянного, а точнее говоря, от устья Безымянного по пойме и террасе Среднекана или, как сейчас сказал Юрий Александрович, вниз и вверх по долине Среднекана?.. Вы, товарищ Поликарпов, вероятно, это имели в виду и думали, что Безымянный выносит золото...

Поликарпов так не думал и еще ниже опустил голову.

— Безымянный ничего не выносит, — отчеканил Билибин. — Я сказал: его долина пуста.

— Но, насколько я понимаю вас, — оживился Лежава-Мюрат, — заявка Поликарпова еще будет проверяться?

— Можете понимать и так. Я повторяю, мы будем разведывать долину Среднекана вниз и вверх от устья Безымянного, но уже без особой надежды на положительные результаты. Откровенно говоря, я организую два разведрайона больше для того, чтоб рабочие не сидели без дела, ибо люди в таких условиях, как здесь, могут озвереть не только от голода, но и от сытого безделья... Советую и вам об этом подумать, занять старателей делом...

— Вы бросаете SOS,— загорячился Лежава-Мюрат,— но предлагаете спасти души за счет государства!

— Да, если хотите.

— Но кто это разрешит? Союззолото и товарищ Серебровский отпускали вам и нам...

— Союззолото и очень уважаемый мною товарищ Серебровский отпускали нам средства на разведку. И мы будем вести ее честно, добросовестно, строго по научно разработанной системе. Результаты такой разведки, если они даже будут отрицательными, чести геологов не уронят. Ну, а если они окажутся положительными, мы возрадуемся и будем считать, что нам и вам и товарищу Поликарпову пофартило. А пока, Филипп Романович, не обижайтесь на нас. Мы сделали все по совести, после нас на Безымянном никто ничего не найдет. Я сам был бы несказанно рад, если б подтвердилась ваша заявка. А вас я по-прежнему уважаю, Филипп Романович, и надеюсь на вашу дальнейшую помощь. Вы искали золото в верховьях Среднекана — покажите нам те места, где встречали хотя бы слабые знаки...

— В левой вершине! С удовольствием покажу! — обрадовался Поликарпов.

— Вот и прекрасно! Там мы организуем второй разведрайон. Возможно, кто-нибудь и таинственные Борискины ямы покажет, и Гореловские жилы Розенфельда...

— Александров! — вдруг воскликнул Цареградский. — Он покажет Борискины ямы. Когда я обследовал Тальский минеральный источник, Александров в беседе со мной вскользь упомянул Бориску, и, если я его правильно понял, он похоронил Бориску там, где тот копал шурфы.

Лежава-Мюрат даже привскочил:

— Надо немедленно расспросить этого Александрова, пока он не укатил в Олу! Да и Сафейка... Неужели он не знает, где зарыт его друг Бориска?

— Софрон Иванович не знает, — твердо сказал Поликарпов. — Знал бы — давно привел на Борискины ключи. Мы с ним пуд соли съели, пока искали их.

— Э, Филипп Романыч, можно и десять пудов съесть,

а что у человека на душе, не узнать. Но сейчас речь не о Сафейке. С ним, кому надо, разберутся. Говорят, он с бочкаревыми или еще с какими-то бандитами якшался. Милиционер Глущенко давно собирается приехать по его душу. Но это не нашего ума печаль. А вот что делать с нашей сотней душ?

Поликарпов снова сник. Он ведь тоже имел дело с бочкаревыми в двадцать третьем году, когда отправился на Колыму искать золото — кредитовался у них, правда, через Александрова, но все-таки...

Смутился и Юрий Александрович. Хотел сказать что-то в защиту Гайфуллина, но воздержался.

— Прежде, Валернан Исаакович, я предлагал вашим старателям временно переходить к нам на разведку, — обратился он к Мюрату после паузы, — и товарищ Оглобин меня поддерживал. Ради них даже расценки пересматривали, но никто не пошел. Один лишь Гайфуллин соглашается работать у нас проводником... А теперь у нас для оплаты труда своих рабочих денег в обрез, к тому же существующие расценки не устраивают ни наших, ни ваших, и мы будем их пересматривать... Условия-то работы здесь потяжелее, чем на Алдане и где-либо.

— Это правильно! Давайте пересматривать вместе! Ведь в конце концов карман у нас один — Союззолото. Как только вернусь в Охотск, свяжусь с Серебровским. Он нас поддержит. И нам с вами надо работать вместе.

— Летом, повторяю, — с жаром заявил Билибин, — мы развернем поиски от Бохачи до Буюнды и золото найдем! Прииски будут обеспечены! Надо лишь своевременно и побольше завезти продовольствия, чтобы в следующую зиму не повторилась голодовка, а вместе с нею и все прочие «прелести» таежной жизни.

— Не беспокойтесь. Все доставим до весны. Сейчас мы строим перевалбазу на Элекчане. Будем форсировать переброску грузов сначала туда, потом сюда.

— Перевалбаза на Элекчане — это хорошо, там рядом Малтан. Но удастся ли до распутицы на оленях доставить грузы сюда? Весьма сомневаюсь. Нужно налаживать сплав с Элекчанской перевалбазы по Малтану, по Бохаче и сюда — по Колыме. И пока не построена к приискам дорога, каждое лето сплавлять грузы по этим рекам! Это дешево!

— И сердито! — с усмешкой дополнил Лежава-Мюрат. — Опасно, Юрий Александрович, очень опасно. Я не могу рисковать грузами и людьми на каких-то неизведанных бешеных порогах.

— Пороги изведаны. Мы прошли их на плотках по малой воде. А если построить карбасы да пустить весной, по большой воде? Я выделяю вам своих лучших лоцманов, даже Степана Степановича! А коли нужно — сам поведу первый карбас.

— Простите, Юрий Александрович, я вас и вашего Степана Степановича очень уважаю, но рисковать мы не можем.

На этом экстренное совещание закрылось.

Билибин не остался ночевать на прииске и пошел с Цареградским на свою базу. Разгоряченный, Юрий Александрович широко шагал по скрипучему снегу, размахивал шапкой, и крепкий мороз был нипочем его огненно-рыжей голове.

Валентин недоумевал, зачем ему понадобилось настанывать на сплав. Осторожно спросил:

— Юра, может, я неправильно поступил, подписав с Лежавой договор на снабжение?

— Нет, ничего...

— Так пусть они и снабжают. Чего нам беспокоиться? Билибин молчал.

— Нам до осени продуктов хватит, а на вторую зиму мы ведь не собираемся оставаться?

— Нет, не собираемся... — ответил Юрий Александрович, словно отмахнулся.

«Ясно. Дело чести», — решил Цареградский.

И всю остальную дорогу они молчали.

ПОЛИКАРПОВЫ ЯМЫ

На рассвете, ни с кем не попрощавшись, Александров налегке выехал в Гадлю. Так не вызнали и на этот раз, где похоронил он Бориску.

Через неделю отбыл в Охотск Лежава-Мюрат. Он прихватил с собой до Олы Оглобина, Кондратьева и Овсянникова, чтоб там решить ряд неотложных дел. За управляющего приисковой конторой оставили Матицева.

Вскоре после отъезда Лежавы с третьим транспортом на Среднекан прикатил милиционер Глушенко. Щеголеватый, он сбросил доху и, в лихой кубанке с кокардой, в суконой черной шинели, в маленьких юфтовых сапожках с подковками, звонко застучал по мерзлым половицам бараков.

Поговаривали, что Глушенко непременно заберет Вол-

кова или Тюркина или кого-нибудь из артельщиков, ставивших на карту жизнь Билибина, Сафейки и Оглобина. А Глушенко взял Сафи Гайфуллина, предъявив ему по всей форме ордер на арест из Николаевска-на-Амуре, и увез.

Пошли суды-пересуды. Ольчане Бовыкина, Якушкова, Беляев и ямский житель Канов знали Гайфуллина давно. Михаил Канов, Сафейка и Бориска еще при царе служили конюхами у шуштовского приказчика Розенфельда, тогда же и золотишко искали. Теперь же туземцы, ольчане и ямский житель, вспоминали, что Гайфуллина при Советской власти не впервой берут под стражу. Но не за золото, а за иные дела: был он вроде в бочкаревской банде не только проводником...

Новых старателей такое объяснение не устраивало. Тут зарыта другая собака. Недаром «турки» и «волки» многозначительно намекали на байку, которую будто бы плел однажды Сафейка про своего дружка.

Шел Бориска один, а навстречу ему хозяин тайги. У Бориски ни ружья, ни ножа. Схватил он камень, и медведь схватил камень. Бориска метнул и угодил хозяину под самый хвост. Мишка взревел и, прежде чем убежать, метнул булыжник в Бориску. И попал в самый лоб. С тех пор осталась у Бориски над правым глазом вмятина, башка побаливала, и умом он маленько тронулся. Но в тот момент ту булыгу Бориска поднял, хотел вдогон медведю пустить, однако чует, тяжелая очень, и видит, камень вовсе не камень, а как есть самородочек фунта на три. Бориска и про боль забыл, начал копать землю, где мишка камень поднял. Все ногти поломал, пальцы и ладони в кровь источил, но ничего не нашел. Через год тайком один, никого не взял, — и на то место. Всю зиму там ковырял, мерзляк долбил, пески мыл. Много золота нашел! И кто-то его, видимо, порешил... Весной нашли его на дне ямы, которую недошурфил, в ней его и похоронили. Нашли и похоронили гадлинские якуты: Кылланах, умерший десять лет назад Колодезников и старик Александров... Колодезников никому не успел поведать, где схоронен Бориска, Кылланах запомнил, а старик Александров, мужик себе на уме, вроде бы сказывал Поликарпову, но дело темное.

Слушали новички очередную легенду про незадачливого искателя фarta, верили и не верили:

— Ловко врал Сафейка...

— Долбанул своего дружка... И про вмятину здорово придумал. Найдут тело — вмятина. Кто ударил? Ведь меды!..

— Эх, братцы, найти бы! А ведь где-то тут... Аль зря Сафейка пришел сюда?

— Там заговорит...

Перетолкам не было конца. Гадали и вожделенно по-сматривали на распадки, укрытые белым саваном. Слухи о Бориске и его фартовых ямах так будоражили хищнические души, что отсутствие разведанных делян не особенно их беспокоило.

Когда же им стали предлагать идти на разные поденные работы и на разведку, — пошли. Соглашались и с нормами и с оплатой.

Из Олы в начале февраля прислали расценки. В них Лежава-Мюрат и Оглобин все расписали: сколько рублей и копеек платить за каждые двадцать сантиметров проходки и на какой глубине, и какого сечения; сколько рублей и копеек прибавлять за пожар, за крепление... Лежава-Мюрат и Оглобин предупреждали, что все разведочные работы производятся согласно указаниям геологов, а дабы не было соблазна мыть пески украдкой, запрещалось иметь на месте работ и в разведочных зимовьях лотки, гребки, ковши. «В случае обнаружения таковых виновные увольняются с работы». И с этим согласились старатели.

В первом разведрайоне новую линию, на девятнадцать шурфов, Билибин разметил ниже недостроенного барака Раковского. Она начиналась на горном берегу, у подножия мрачных гольцов, и спускалась к безымянному ключику, впадающему в Среднекан слева, в километрах десяти от его устья. Ее предстояло разведывать Дуракову, Лунечко, Чистякову, Луневу и Гарцу.

Вторая линия, на семнадцать шурфов, была расположена выше того же барака и недалеко от приискового стана. Билибин назвал ее «эксплуатационной», поскольку предполагалось, что здесь шурфы бить будут сами старатели, а их Юрий Александрович теперь с иронией величал «нашими эксплуататорами».

Эрнеста Бертина начальник экспедиции назначил прорабом второго разведрайона на левую вершину Среднекана, за шестьдесят километров от ключа Безымянного. В распоряжение Бертина были отряжены Алехин, Белугин, Павличенко, Мосунов и Майоров.

С ними, как условились на экстренном совещании, хотел отправиться Поликарпов, чтобы показать те места, где он, Сафейка и Канов в прошлые годы копали ямы и встречали знаки золота. Но Матицев, на которого возложили обязанности управляющего, навязал условие: Поликарпова

отпустит, если кто-то из экспедиции будет его замещать.

Пришлось, по просьбе Юрия Александровича, впрягаться в эту лямку Раковскому, хотя у него в связи с перебазируанием первого разведрайона и с большим разворотом работ на двух своих линиях дел хватало. Да и предчувствовал Сергей Дмитриевич, что в одной упряжке с неповоротливым Матицевым нарту не потянешь. Одна у него была надежда — на Кондрашова, скромного, добросовестного горного смотрителя, только что окончившего техникум...

Устраивать новый разведрайон вместе с Бертиным, его рабочими и Поликарповым выехали Билибин и Казанли. 23 февраля они переехали хребет Бахаргычах и на другой день, в воскресенье, точно в 14 часов 9 минут, как отметил в своем дневнике Юрий Александрович, прибыли на развилку Среднекана, туда, где сливались два Среднекана — Правый и Левый.

Филипп Романович Поликарпов предложил немного подняться по Левому Среднекану и вывел их к давно заброшенному зимовью.

— Кто делал избушку, не знаю, и кто тут был раньше меня, тоже не знаю.

— Может, тот Кузнецов, что умер на Талой?

— Может. Но никаких шурфов мы тут не находили, никакого инструмента тоже... Зимовье, видать, охотничье. А может, кто и прятался.

— Не полковник ли Попов, который оставил записку в Сеймчанской церкви о золоте и каком-то водопаде...

— Кто знает, Юрий Александрович! Места тут глухие, кажись, одно зверье живет, ан нет — и люди друг от дружки, как звери, прячутся.

— А водопад, весьма возможно, — Среднеканский котел, который мы только что обходили. Как он летом-то, бушует?

— Бушует, Юрий Александрович, истинный водопад, попадешь в него — не выберешься.

— Ну, точно — Попов. И он из хитрости назвал Среднекан Среднеколымском, а мы с Раковским сразу-то не догадались, думали, ошибся полковник, Верхнеколымск выдал за Среднеколымск. А вы говорите, Филипп Романович, золото здесь до вас не находили? И не искали?

— Может, и искали, но следа не оставили. Летом разве на косах мыли...

— Т-т-точно, Юрий Александрович! — вставил Эрнест Бертин. — З-з-зимовье это — р-р-резиденция полковника Попова. А Кузнецова... тот на Талой не умер, его этот пол-

и долго говорил с ними. Канову он предложил должность заведующего складами, положив заманчивую оплату, а Сологубу обещал подобрать для него новую артель и поставить ее с бойлером на самую богатую деляну.

Расстроившись, Раковский записал в тетради:

«Представитель Союззолота Матицев переманил на прииск путем повышения зарплаты артель с бойлером, которая хотела пойти к нам в разведку. В общем начинается какое-то безобразное отношение к плану работ, об единстве и оплате которых так усиленно беспокоилось Союззолото. По-моему, это недопустимые и даже преступные выходки одержимого какой-то манией «хозяйственничка».

Такого рода поступки Матицева начались не со случая с бойлером, а гораздо раньше. Снабжение, после договора Цареградского с Лежавой, теперь полностью находилось в руках приисковой конторы, и Матицев делал все, чтобы ущемить экспедицию. Списки Раковского о продовольственных нуждах геологов он урезывал наполовину, ссылаясь на то, что продовольствия завезено мало. Муку заменял крупой. В клюквенном экстракте наотрез отказывал, и теперь кое у кого начинали кровоточить десны — первый признак цинги...

На все у Матицева был один ответ:

— Из-за отсутствия транспорта — жесткая экономия. А муки вообще нет.

Сергей Дмитриевич поначалу поверил ему, в дневнике так и записал:

«27 января 1929 года.

Заходил в контору, разговаривал с Матицевым о продовольственном положении и дальнейших перспективах. Груза на Элекчане нет. На Оле и кой-где в тайге свирепствует эпидемия кори. Дело дрянь... Из-за этого, вероятно, и вышла задержка с переброской продовольствия. В общем, подходят «декабрьские дни».

У меня болит горло. Морозы начинаются вновь. Сегодня вечером — 50°C».

Когда же местком организовал санитарную комиссию, а в нее от экспедиции ввели Раковского и доктора Переялова, то она, осмотрев приисковые склады, установила: есть мука на складе и даже высшего сорта — крупчатка.

Обманом Матицева были возмущены даже служащие конторы. Вся комиссия во главе с предместкомом Шестериным явилась к нему и выложила акт.

Тот был пьян, отбросил акт и заявил:

— Не ваше дело!

В дневнике Раковский записал кратко:

«Был в конторе С.-З., но пришлось уйти, так как Матицев, будучи пьян, показал себя полнейшим хамом».

На следующий день чуть подробнее:

«Определяли с Казанли магнитное склонение и делали нивелировку 1-й линии шурфов С.-З. Во время этой работы подходил Матицев и очень любезно извинялся за свое поведение... Дескать, в фактуре вместо «крупчатка» прочитал «крупка»...»

Раковский заявил Матицеву, что принимать золото у старателей и наблюдать за «технической стороной» больше не будет, — своей работы хватает. А если Матицев — инженер! — все еще не вошел в курс дела, то пусть доверит присмотр за горными работами Кондрашову Петру Николаевичу. Он хотя и молод, но горный техникум кончил не зря.

Матицев согласился временно, до возвращения Поликарпова, назначить Кондрашова старшим горным смотрителем.

Матицев извинился, но не изменился. Билибин еще до своего отъезда крупно разговаривал с ним, но тот всякий раз увиливал, а если что-то и обещал, то тут же забывал.

Юрий Александрович вынужден был предъявить ему официальное отношение о нарушениях договора и потребовал такого же, в письменной форме, ответа. Матицев заверил, что ответит завтра же, а на другой день опять закрутил ту же пластинку:

— Давайте попробуем поговорить...

— Поговорим, — озлился тогда Билибин, — соберем местком, ячейку, всех специалистов, вот тогда и поговорим! И не только о снабжении, но и о разведочных делах!

Разведочные работы на прииске, как известно, начались неплохо, но вскоре приискатели забузили — не понравилась «эксплуатационная» линия, показалось, что экспедиция нарочно подсунула им эту пустую, да еще с глубокими шурфами, линию. И они прекратили бить шурфы.

Матицев поддержал их:

— Дайте нам шурфы на первой линии.

Юрий Александрович усмехнулся едко:

— В чужом рту хрен всегда слаще, — и распорядился выделить старателям места для шурфовки на первой линии.

Выделили на нижней террасе, у самого выхода того ключа, который их как магнитом притягивал к себе и мнил-

ся Борискиным. Но и это не устроило. Тайком от экспедиции, но с ведома Матицева приискатели забрались на другую сторону ключика и, как позже обнаружилось, даже в верховья распадака... В общем повторялась та же история, что и на Безымянном: копали где хотели и как хотели.

Билибин и Раковский возмущались, говорили Матицеву, что он не согласовывает свои действия с планами экспедиции, нарушает распоряжения Лежавы-Мюрата и Оглобина, но тот все перевертывал по-своему:

— У меня тоже не ради красы на фуражке молоточки! И к рабочему чутью, товарищ Билибин, в наше время надо прислушиваться. Массы не хуже спецов знают, где золото.

Однажды на заседании месткома, когда утверждались нормы выработки и правила внутреннего распорядка, Билибин очень хотел высказать все накипевшее Матицеву прямо в глаза, но тот не явился — уехал осматривать какой-то ключик, чтобы наметить «пару шурфиков в очень интересном месте».

— Три балды! — выругался Юрий Александрович. — Две — на картузе, а одна — в голове! — и попросил Сергея Дмитриевича еще раз крупно поговорить с Матицевым, в том числе и об этом «интересном месте», а сам на следующий день отправился к Бертину, во второй разведрайон, для разбивки линий и решения других неотложных дел.

Сергей Дмитриевич говорил с Матицевым, но не по-билибински крепко, потому что по натуре своей был деликатен, да и, не имея горняцкого образования, чувствовал себя не совсем уверенно:

«Пришлось говорить с Матицевым о способе ведения разведки в экспедиции... Все это ужасно надоело. Попросил его обращаться по другому адресу, так как я не был на заседаниях по разведкам, которые были при уполномоченном С.-З. Лежаве.

Погода скверная. Дует без остановок порывистый, довольно сильный ветер».

Разговаривал с Матицевым во время отсутствия Билибина и Цареградский, дипломатично, культурно и авторитетно, но так же попусту.

Одержимый «хозяйственничек» мухлевал не только с выписками продовольствия. Однажды Петр Кондрашов как бы ненароком завел Сергея Дмитриевича — а они очень сдружились — в распадок ключика, и там, «в интересном месте», Раковский увидел не «пару шурфиков», а с

пятаком ям, безобразно, где попало и кое-как выкопанных.

— Три балды! — выругался словами Билибина Сергей Дмитриевич.

А вскоре вернувшийся из Олы Кондратьев, секретарь партячейки, обнаружил на том же «интересном месте» лоток и гребок. Принес и положил их на стол Матицеву:

— Это не шурфовка, а шуровка! Тайком золото моют!

— Найти шуровщика! Уволю! — закипятился Матицев. Но шуровщика не нашли.

Раковский предложил Матицеву пользоваться промывалкой экспедиции — так, мол, надежнее, будут мыть золото у нас на глазах. Но тот промямлил что-то невразумительное.

Ничего не оставалось, как ждать Билибина и Оглобина.

Юрий Александрович вернулся в конце месяца. Привез с собой, специально на совещание, Эрнеста Бертина: по милости Матицева и во втором разведрайоне люди сидели на урезанном пайке.

Совещание должно было состояться на другой же день после их приезда. Но Матицев опять уехал куда-то... Собралось совещание только в субботу и продолжалось два дня. Присутствовали все горные смотрители, администрация, местком и партячейка в полном составе.

Билибин доложил о работе экспедиции за два последних месяца. Сделано было немало. В первом разведрайоне посадили на пласт двенадцать шурфов, пробы, промытые Раковским, показали наличие золота. Закончив шурфовку первой линии, перешли на вторую, «эксплуатационную», которую бросили приискатели. До оттепели этот участок Среднеканской долины будет разведан. Намечается еще одна линия — чуть левее устья Безымянного, там в гранитных обнажениях Цареградский выявил первые признаки рудного золота. И еще одна линия должна быть там, где тайком копают ямы... Преступное хищничество будет пресечено! Во втором разведрайоне все работы ведутся исключительно силами экспедиции. Там разбиты две разведочные линии по семнадцать шурфов, проходка идет хорошо, нормы перевыполняются, как и в первом районе, вдвое. В прошлые годы первые шурфы закладывали там Поликарпов, Гайфуллин и другие, хорошего золота они не нашли, но, надо надеяться, что оно там есть...

— Наши результаты были бы намного лучше, если бы эксплуатационники, «наши эксплуататоры», не тянули телегу, как в басне дедушки Крылова «Лебедь, рак и щука», — и Юрий Александрович с горечью заговорил о не-

согласованности и неувязке в работе: — Лежава-Мюрат ратовал за то, чтоб мы работали вместе, а у нас кое-кто старается дуть в свою сопелку!..

Слово для второго доклада предоставили Матицеву. Он говорил дольше, чем Билибин. Сначала о текущем моменте, о задачах первой пятилетки вообще, о трудовом энтузиазме масс, потом попытался продемонстрировать все это на примере возглавляемого им коллектива.

Председательствовал на совещании секретарь партийной ячейки Владимир Кондратьев. Билибина он не прерывал, а своего начальника бесцеремонно:

— Пятилетку в четыре года, говоришь? А даем по десять процентов! На сто лет хватит!

Матицев не растерялся:

— Найдем золото — будет двести процентов! Только поменьше надо слушать спецов, а больше опираться на чутье масс, на рабочий класс!

— Шурфовщик, может, и рабочий класс, а шуровщик — вор, жулик, а не рабочий класс! Я нашел и принес тебе лоток и гребок. Чьи они?

Задал тон секретарь ячейки, а другие подхватили. Крылы Матицева. И предместкома досталось.

3 марта 1929 года Сергей Раковский записал:

«Обработали постановление совещания. Сделали в смысле повышения производительности все возможное. Вечером снова пошли на собрание, где поставлен вопрос о взаимоотношении с Союззолотом. Говорили крупно... Матицев зарывался, не давал себе отчета, но ему вправили мозги... Выступали Билибин, Кондратьев, Бертин и я...»

Да, Матицев зарывался, называл себя «очами Союззолота» и даже грозился «осветить вопрос о Колыме» где надо и кое-кто будет помнить его всю жизнь!..

Но мозги ему действительно «вправили», и после крупного разговора он притих. Выделил двоих рабочих для шурфовки на третьей линии. Вместе с Билибиным и Раковским пошел разбивать четвертую линию.

Юрий Александрович не скрывал своего недовольства качеством шурфов:

— Это же ямы! Будто свиньи рыли! Бориска, наверное, лучше бил.

— И он здесь шурфил, — сказал Матицев.

— Кто? — в один голос спросили Билибин и Раковский.

— Бориска... Вон там. Сейчас под снегом не видеть, но вроде шурфы...

— Ведите! Показывайте!

— Пожалуйста, — и Матицев заспешил по твердому насту. — Вот!

Неглубокие ямы с кучами земли по краям явно были выкопаны человеком.

— А вон там, на берегу, и тот лоток с гребком нашли...

— Борискин, значит?

— Его! И зря Кондратьев шум поднял: «шуровка»!

Билибин и Раковский долго стояли в молчании, затем Юрий Александрович медленно проговорил:

— Значит, четвертая линия пройдет по Борискину ключу?..

— Точно, — охотно подтвердил Матицев. — И богатый будет ключик! Не зря тянулись сюда старатели...

— Уже весна, проталины. Успеем ли пробить шурфы?

— Поможем! — заявил Матицев. — Рабочих дам, бойлер, дрова для пожогов.

— Ну, коли так, то начнем, — улыбнулся Билибин.

«16 апреля 1929 года.

Поставил артель Кучумова на шурфовку 4-й линии по кл. Борискину, дал им семь шурфов, завтра разобью для них еще пять шурфов. Был на базе, возвращался оттуда вместе с Оглобиным. Он предлагает заключить договор на службу в Союззолоте по окончании срока работы в экспедиции. Такое же предложение сделал и Бертину...»

«19 апреля 1929 года.

Сегодня вечером снова разговаривал с Оглобиным относительно его предложения. Против моих условий не возражает: после года службы будут содействовать в учебе и, конечно, Матицев не будет здесь работать. Посылает телеграмму Лежаве».

Четвертую линию доразведать не успели. Но первые пробы показали хорошее золото! Старатели опять всполошились и к Матицеву — упрашивать, умасливать, чтоб дал деланку на Борискином.

Но вовремя возвратившийся из Олы Оглобин Филипп Диомидович сказал:

— Пока долина ключа Борискина не будет разведана — никто туда ни шагу! А кого поймаю — в кутузку и под суд!

«Дорогая Ирина!

Сегодня я получил твою телеграмму, которую ты послала в феврале. Уже прошел год (почти), как я здесь... Иногда приходится трудновато. Не знаю, много ли изменилось с тех пор, как я уехал, но время летит как-то стремительно быстро. В колымской тайге, на берегу ключика Безымянного, стоит сруб с пятью окнами, затянутыми полотном. В этом срубе живут четверо. Один из них — я.

Конец марта. Ослепительно светит солнце, но снег еще и не собирается таять. Тихо. Иногда порошит снег, утром потрепчат птицы. Вот и все. Прошлое как будто не было, а впереди как будто бы ничего не манит. Но это кажется. На самом деле это не так. Я уже знаю, что буду работать здесь долго. Может быть, всегда, всю жизнь. Здесь, как нигде, мое желание исследовать природу имеет благодарную пищу и материал. То, что делается, — затянется белое пятно на карте, некоторые линии исправит, а остальное заполнит. Но для этого нужен не один год работы. Сюда приедет много людей, и здесь будет легче.

А ты соберись и не откладывай в долгий ящик и напиши мне основательное письмо о всех ленинградских новостях и знакомых. Не упускай ни одной мелочи, чтобы я был в курсе на сто процентов. Как ты живешь? Принесло ли тебе супружество хотя бы немного того, что в сказках называют счастьем? Год, целый год я не видел университетского коридора с его сутолокой и бестолковыми и светлыми надеждами. Я даже не знаю, студент ли я еще, или меня вышибли за самовольный годовой отпуск?

Напиши мне, что шло зимой в кино и театрах и что идет сейчас? Какие кампании проводила «Смена» и комсомол Ленинграда? Чем живет сегодня производство Питера и т. д. Ирина, ты, небось, уже отвыкла от меня. А? Ау! Скоро, наверное, придет первый пароход (в июне). Напиши же!..»

Это — только начало письма. Дальше шла на многих листах «досужая таежная философия», которая заканчивалась маленьким поручением с длинным списком книг и журналов по астрономии, физике, геодезии, радиотехнике... Их сестра должна была поискать по магазинам и прислать с летним пароходом по адресу: «Охотское море, Ола, Среднекан...».

И в заключение: «Целую еще раз. Твой Митя. 28/III-29 г.».

...На Колыме весна, как и по всей России, начинается в марте. Только не так бурно, а тихо и скромно. Потенькают едва слышно пуночки, пригреет солнце, и снег чуть заметно осядет. Но он так ослепительно сияет, что даже коренные жители прикрывают свои узкие глаза ровдужными наглазниками с тонкими прорезями. Пришельцам же без темных очков выходить на свет рискованно.

А так хочется глядеть на такую весну во все глаза! За всю свою жизнь ни на Волге, ни на Неве Цареградский не видывал ничего красивее. И он нет-нет да и сдергивал темные очки. А под вечер, возвратясь на базу, подолгу не входил в сумрак барака, любясь закатами.

Пурпурные, оранжевые, желтые, зеленоватые, голубые — все цвета радуги переливались по небу, по перистым облакам, по сопкам и долине. И все это менялось, словно в калейдоскопе. Солнце заходило за горы, по снегу ползали холодные синие тени, а небо еще полыхало, пока не превращалось в густой ультрамарин, в чистую ляпис-лазурь, на которой зажигались серебристые звезды.

— Созерцаешь? — выйдя из барака, однажды спросил Билибин.

Юрий Александрович, ступив на колымскую землю, сам часто любовался ее красотами, но почему-то старался скрывать свои чувства, будто они не достойны ученого.

Валентин знал это и смутился:

— В обрывах Безымянного показались обнажения... Светло-серые, с охристыми потеками... Издали принял за кварцевую жилу, подумал, не золотиносна ли? Кажется, ошибся. Образец все же взял...

— Посмотрим, — и Юрий Александрович широко распахнул перед Цареградским дверь барака.

Над образцом, при двух зажженных свечах, они сидели долго, рассматривали и простым глазом и под лупой. Раздробили, растолкли в железной ступе, порошок попросили промывальщика Игнатьева отмыть на лотке. Выделив самые тяжелые крупинки, снова разглядывали под лупой. В шлихе обнаружили черный магнитный железняк, золотистый пирит, мышьяковистый колчедан...

— Любопытно, весьма любопытно, — повторил Юрий Александрович, — похоже на то, что я брал на Утиной. Завтра еще раз надо отмыть...

Улеглись спать. Но Валентину не спалось. Встал, отделил магнитом частицы железняка и, разбудив среди ночи Игнатьева, попросил его еще раз промыть шлик. На самом дне, в бороздке лотка блестели мельчайшие, видимые толь-

ко под сильной лупой золотишки. Протравив зернышки кислотой, Цареградский, к великой своей радости, убедился: жилка золотоносная! Всю ночь просидел с лупой, перебрал иголкой, воткнутой в карандаш, весь шлик, пересчитал все не видимые простым глазом золотые пылинки и не мог дожидаться, когда проснется Билибин.

Затормошил его:

— Юра... Юрий Александрович!

— Что? — не открывая глаз, спросил Билибин.

— Поздравь меня с первой находкой коренного золота!

И кажется, я нашел источник приустьевой россыпи Безымянного!..

— Что?! — вскочил Билибин. Спросонья протирая глаза, схватил лупу, взгляделся, вскинул сияющие глаза: — Поздравляю, Цареградский! Поздравляю, Стамбулов! — и крепко обнял друга.

Затем спохватился:

— Но, Валентин, мне кажется, что здесь маловато для россыпи, даже такой небогатой, как на устье Безымянном, и золото мелковатое...

— Да ведь это первый, случайный образец. Там могут быть и более богатые гнезда. Надо только поискать!

— Тогда так. Мы разобьем разведочную линию пониже этой дайки и попробуем уловить золото из этой жилы. Но мне все-таки кажется, оно не то, не похоже на то, которое намывают старатели. Сходи в контору, сличи... Да! Какой сон я видел! Приходит к нам в барак Раковский рано утром зимой и будит меня: «Юра... Юрий Александрович! Иди, смотри, какой у меня овес вырос!»

— Это я будил.

— Нет, Сергей будил. Я встал, пошел и вижу на его первой разведлинии, среди шурфов, прямо на снегу растет прекрасный овес! Вот тут-то ты меня и поднял, такой сон прервал. Собирайся! Пойдем! Ты — в контору, а я — к Раковскому. Сергей Дмитриевич непременно нашел золото!

— Юрий Александрович, вы ученый, — обиделся Цареградский, — а верите снам, а я образец принес, факт науки...

— Верю! Верю и в науку, и в сны, которые в руку, — захохотал Билибин. — Пойдем, Валентин Александрович! Раковский непременно намыл богатое золото!

Но идти им не пришлось. Только оделись, появляется сам Сергей, весь такой важный, гордый, нос еще длиннее, ни с кем не поздоровался. Ни слова не говоря, высыпает на стол из мешочка, который еще в Ленинграде шила Ирина, сестра Казанли, кучечку золота, крупного, зернистого...

— Вот это — овес! — восхитился Билибин. — Что я говорил?! Говорил я, что Сергей Дмитриевич собирается меня овсом порадовать!

Тут Раковский, ничего не понимая, обиделся:

— Какой овес, Юрий Александрович? Это — золото, правда, не очень блестящее, в рубашке, как водится, но настоящее... Из тринадцатого шурфа, вчера сам промыл...

— Догоры! Догоры! — закричал Юрий Александрович, поднимая с нар всех остальных. — Зазолотил Среднекан! Зазолотила Долина Рябчиков! А какое золото нас летом ждет! Все ключики обнюхаем! Все жилки-дайки, как косточки, перегрызем и перетолчем!

План летних поисковых работ Билибин обдумал и обсудил со своими товарищами, с приисковой конторой заранее и во всех деталях. План был напряженным, но за границы бассейна Среднекана не выходил. Всю его долину со всеми притоками и с притоками его притоков Билибин разделил на две части. Верхнюю заснять и опробовать поручалось партии Цареградского и Бертина. Геологическую съемку нижнего течения взял на себя, опробование возложил на Раковского. Пробы рекомендовал брать и промывать через каждые полкилометра, а при малейших признаках золотоносности — чаще. В каждой партии — пять рабочих, каждой из них будут приданы выючные лошади.

Геодезический отряд Казанли по всей долине ведет триангуляцию и установит астропункт, чтоб позже общими усилиями составить точную карту бассейна Среднекана.

Участники экспедиции ознакомились с планом, с инструкциями, с методикой поисков, все подготовились и с нетерпением ждали первой весновки. Шурфовочные работы к началу мая закончились. Из-за талых вод не успели добить шурфы на Борискином ключе. На всех других линиях уложились в срок. Самую лучшую россыпь уловил Раковский. Четвертая линия, что пониже дайки, найденной Цареградским, была пустой, да и сама жила, кроме того первого образца, ничего больше не дала. У Бертина, во втором разведрайоне, было выявлено кое-какое золотишко, но не очень богатое.

Все ждали лета. Все было готово к летнему наступлению... Но у геологов-поисковиков нередко бывает так, как на войне. Штаб тщательно разработает диспозицию боевых действий, но тут вдруг что-то непредвиденное... Так получилось и в этот раз.

Сеймчанские и тасканские якуты, которых заблаговременно оповестил представитель Якутского ЦИКа Влади-

миров и с которыми заранее договорился Билибин, сообщили, что лошадей раньше конца июня пригнать не смогут: зима была снежная, голодная, животные отощали, и надо их подкормить хотя бы июньскими травами. Оленей экспедиция закупила немного, да и хлопот с ними: ищи пастбища, по полдня лови, собирай, а навьючишь чуть побольше, чем на свои плечи.

А тут еще одна загвоздка. Та, которую Билибин предвидел. С последним обозом на Среднекан доставили продовольствия немного. Всех запасов, в том числе и завезенных раньше, хватит месяца на два, а там — опять летнее бездорожье, опять зима и «декабрьские дни». Грузы застряли на Элекчане.

Оглобин, прибыв из Элекчана, не заходя в свою контору, сразу — на базу, к Юрию Александровичу, с повинной головой. Грубоватый, резкий, гордый, Филипп Диомидович кланяться не умел, а тут пришлось:

— Лежава-Мюрат просил передать... подарок. Коньяк, шоколад...

— Коньяк, шоколад? — удивился Юрий Александрович.

— Лежава-Мюрат просил передать, что вы на том совещании были правы, без сплава по Бохапче не обойтись... Помогите, Юрий Александрович, как обещали, и лоцманами и прочим...

Билибин усмехнулся:

— За подарок спасибо... Но не поздновато ли, Филипп Диомидович?

— Успеет, Юрий Александрович! До воды карбасы построим!

— Ну что ж, за дело.

В тот же день Билибин объявил:

— Догоры! План летит к черту! Не безвозвратно, конечно. Пока не подадут лошадей... Я отправляюсь с обозом на Элекчан. Беру Степана Степановича с Демкой и промывальщика Майорыча. Снова сплаваемся по Малтану и Бохапче, заодно еще раз их обследуем. Ты, Сергей Дмитриевич, на оленях выезжай в Таскан. Там нырнешь, в Среднекане вынырнешь. По пути опробуешь все правые притоки Колымы, особенно — Утинку, а можно и левые зацепить... Бертин продолжит работу в верховьях Среднекана. А Цареградский...

— Я хотел бы, Юрий Александрович, вместе с вами доехать до Талой, взять дополнительные пробы из источника, затем спуститься по Буюнде, — сказал Валентин Александрович.

— Я так и думал! Посмотрите, насколько к юго-востоку прослеживается золотоносность. Кстати, пошукаете те самые, «молниеподобные» жилы Розенфельда.

— И я с вами! — вскочил Митя Казанли. — До конца с вами! Мы устанавливали на Белогорье астропункт зимой, было холодно, боюсь за точность.

— Прекрасно, Дмитрий Николаевич! Установите еще два-три пункта на Бохапче и по самой Колыме. Таким образом, товарищи, не было бы счастья, да несчастье помогло. Проведем рекогносцировку всего приискового района — от Бохапчи до Буюнды, составим его первую карту. К первому июля все собираемся здесь. А наш план летних работ, который намечали сделать за четыре месяца, сделаем за два. Согласны?

Первое Мая 1929 года отпраздновали весело.

Третьего числа, вечером, как только начало подмораживать, длинный аргиш тронулся на Элекчан. Проводили в дальний путь Билибина, Цареградского, Казанли, Оглобина, рабочих прииска и экспедиции.

THERE IS A VERY GOOD GOLD...

Партия Раковского выехала на оленьих нартах 5 мая. В дневнике Сергей Дмитриевич время выезда отметил точно — 7 часов 40 минут. Незведанные, дальние дороги всегда манили его, а в эти минуты он особенно чувствовал, что ожидает его что-то новое, необычное.

Рабочих в партии четверо: Миша Лунеко и Дмитрий Чистяков, испытанные бешеными реками и голодными декабрьскими днями, да двое новичков: один — прикомандированный Союззолотом радист Слепцов, правда без радио, другой — бондарь с ольской рыбалки, принятый в экспедицию Цареградским после осенней путины.

Сопровождать партию до Таскана согласился Михаил Савин, молодой якут, добрый малый. Взятся бесплатно, только из уважения к Сергею Дмитриевичу. Уполномоченный Тасканского кооператива, он приезжал на Среднекан еще в октябре вместе с Елисеем Владимировым, к рождеству присылал Раковскому в подарок конского сала, а в последний приезд пригнал оленей.

Вышли на Колыму. Лед был крепок. Переночевав на Усть-Среднекане, на другой день пробежали километров двадцать пять и на следующий — не меньше. На пятые сутки домчались до Утиной, на восьмые — до Таскана.

Здесь встретили и наледи и полыньи. Увидели косяк гусей. Вожак вел гусей на север. Туда же уходила и Тасканская долина, замыкаясь белоснежными, с голубыми тенями горами Туоннах — так назвал их Михаил Савин. По его словам, у их подножия есть Сеймчанская тропа, по которой можно дойти до самого Якутска... К этой тропе и надо пробираться.

Двинулись берегом. Снег местами сошел, но земля была еще твердая, лишь глинистые комья, облепляя полозья, тормозили движение, да так, что усталые олени ложились. Их поднимали, нарты опрокидывали, очищали полозья. Два дня тянулись до юрты Петра Аммосова, а она от устья Таскана, как уверял проводник, совсем близко. На третий день, к обеду, прибыли.

Раковский измучился не менее других, но, наскоро перекусив, даже не почаяевичав, вдруг ударился обратно, будто обронил что. На последнем переходе, километрах в трех от юрты Аммосова, он присмотрел обнаженные граниты, и там что-то поблескивало на солнце. С большим трудом вскарабкался к этим обнажениям и среди глинистых сланцев обнаружил порфировую жилу с кварцевыми нитками. Молоток не захватил — стал отбивать рукояткой ножа, лезвием отколупывать... Осмотрелся, видит — еще одна жилка. Пробрался к ней. Недалеко — еще одна. Часов пять, пока не стемнело, ощупывал эти жилки.

Они, тоненькие, невзрачные, не походили на те, молниеподобные, описанные Розенфельдом, но Сергей Дмитриевич подумал: может, это все-таки они? Ведь скала пока почти под снегом, а вот освободится через неделю — и засверкают молнии.

Возвратившись в юрту Петра Аммосова, с которым он познакомился еще на Среднекане, когда тот приезжал вместе с Владимировым и Савиным, Раковский спросил:

— Петр Гаврилыч, купец Розенфельд не бывал здесь?

— Нет. Моя бедный был, купец моя юрта не ходил. Попову ходил.

Попов Василий Петрович и его сын Петр с хворой женой жили в двенадцати километрах от юрты Аммосова, на бойком месте, у самой Сеймчанской тропы. Все проезжие останавливались в просторной юрте Поповых, как на постоялом дворе. У них для увеселения граммофон был.

И в эту весну в юрте Попова гостили люди: из Якутска для ликвидации неграмотности и переписи населения приехал учитель, уполномоченный с Оймякона привез кирпичный чай для Тасканского кооператива. Играл граммофон.

Василий Петрович и новых гостей принял очень радушно, как старых знакомых. С Раковским, Лунеко, Чистяковым Поповы виделись на Среднекане, когда привозили мясо и договаривались о найме лошадей. Тогда Василий Петрович и задаток получил от Сергея Дмитриевича: две-сти пятьдесят рублей, банку шанхайского сала и пуд муки. Прикомандированного к экспедиции радиста Слепцова он, оказалось, тоже знает еще с тех лет, когда тот в Ямске и Оле заведовал факториями.

Обменялись, как водится, капсе. А новостей — со всех сторон света: с Якутска, Оймякона, Среднекана, Олы... Сергей Дмитриевич с радостью узнал, что лошади для экспедиции закуплены и, как только будут в теле, Василий Петрович сам пригонит их в Среднекан. Завтра утром хозяин пообещал показать хороший лес для постройки лодки и даже вызвался подвезти к нему. За сносную мзду обещал поставить трех лошадей для разведки в верховья Таскана.

И тут Раковский завел речь о Розенфельде.

Попов оживился:

— Бывал. И в горы Туоннах ходил, камни смотрел. Вниз Таскана ходил, до самой Колымы ходил и по Колыме до Сеймчана плыл.

Не исключено, что Розенфельд искал прежде всего удобные пути. Но Сергей Дмитриевич понял якута по-своему, как хотел: Розенфельд вниз специально ходил к той горе с жилками и в Туоннахе камни смотрел неспроста.

Отправив трех рабочих на постройку лодки, Раковский с Лунеко ушли в горы Туоннах. Лазили по ним целую неделю, обследовали вершины трех рек и речек, взяли более сорока образцов, нашли два бивня мамонта и какую-то окаменелую кость, но не намыли ни одной золотинки.

Но и это обрадовало Сергея Дмитриевича: раз Гореловских жил в горах нет, значит, они там, внизу.

А постройка лодки чуть не сорвалась. Вначале все шло хорошо. Место для верфи выбрали, казалось, удачное: высокое, лес рядом. Поставили козлы, накатали бревна, в два дня заготовили кокоры, упруги получились надежные, связали нос, корму, начали обшивать, но тут поднялась вода, да так, что верфь затопило. Лишь через три дня вода убывала. Только в конце мая лодку спустили на воду. Она дала небольшую течь, да и неудивительно, ведь швы не заливали варом: его не было. Но намкнув, посудина перестала течь. Не зря среди строителей был бондарь с ольской рыбалки.

Распрощались с гостеприимными хозяевами и отчалили.

Лодка, подхваченная бурным течением, полетела быстро.

Напротив порфировой жилы разбили стан. Раковский было отправился обследовать ее один, но за ним увязался радист Слепцов:

— Помогу, Сергей Дмитриевич, в золоте я малость кумекаю,— просительно сказал он.— Как знать, может, и Розенфельда я знал...

— Как это — «может»?

— Да так... Маленький был и не понимал: Розенфельд он или кто. Ласковый такой, на коленях меня держал. А мой отец в то время в Охотске телеграфистом служил, его Розенфельд никак миновать не мог, в гостях у нас наверняка бывал.

— Ну, так что ж?

— Когда я на прииске стал работать, там же в Охотске, много слышал о Розенфельде и о Бориске. Там я с Поликарпычем познакомился. Да что греха таить, хотели мы с ним миллионерами стать, на Колыму по следам Розенфельда, за Борискиным фартом, отправиться. А ныне вот на Среднекане опять встретились... — рассказывал Слепцов словоохотливо, но, видно, чего-то не договаривал.

Сергей допытываться не стал, не любил лезть в чужую душу, да и знал, если золотиискатель что-то скрывает — клещами из него это не вытащишь.

Три дня лазили по склонам, переходя от одной жилы к другой. Брали образцы на рудное золото из трех горизонтов, толкли в чугунной ступе, промывали, высматривали золотишки и простым глазом, и в лупу, но ничего, кроме блестящего, как золото, пирита и мышьяковистого колчедана, не увидели.

— Не все — золото, что блестит,— усмехался Раковский.— И Розенфельд не мог быть таким профаном, чтобы пирит принимать за золото... Нет, это не Гореловские жилы.

В полдень четвертого июня снялись со стана. Через два часа лодку вынесло на стрежень Колымы, и она побежала с такой скоростью, что веслами едва успевали поправлять, чтоб не врезаться в берег. Косовые пробы не брали: все косы были залиты. Вечером подплыли к Утиной.

И первый, кого они встретили, был медведь. Огромный, лохматый, он похаживал по берегу, почесываясь о коряги.

Миша Лунeko, сидевший на носу, увидел его раньше других, вскинул берданку:

— Привет, хозяин! — и спустил курок.

Ружье, как это часто случилось у Михаила, дало осечку.

Косолапый встал на дыбы, заревел раскатистым басом и, смешно виляя кургузым задом, улепетнул в кусты.

Причалили, натянули палатку, разложили костер, стали готовить ужин. Медведи не беспокоили, но комары доносили. А ночь стояла светлая, белая, красивая! Спать не хотелось. Сидели у костра, овеваемые речной свежестью и смолянисто-пахучим дымком, кое-как спасались от гнуса и предавались воспоминаниям. В эту ночь исполнилось ровно одиннадцать месяцев, как высадились они на Ольское побережье и началась колымская эпопея.

— Поднимусь вон на ту сопочку,— указал Раковский на самый высокий голец, возвышавшийся справа над устьем Утиной.

— А медведь? — спросил Слепцов.

Сергей Дмитриевич усмехнулся, но зауэр все-таки взял и лоток прихватил. Без лотка он ни шагу не ступал.

С вершины гольца, насколько глаз хватал, открывался вид неопиcуемый. Колыма во всей своей полноводной красе блистала расплавленным серебром на западе и красноватой медью на востоке. Широкая долина Утиной уходила на юг и пряталась за такой же высокой, как этот голец, сопкой, но с плоской вершиной. Долина чуть подернута утренней дымкой, но сквозь нее хорошо видны лощинки и падающие в реку ключи. Сопку с плоской вершиной Раковский, как принято, назвал Столовой, а голец, с которого обозревал окрестности,— Золотым Рогом. И не только потому, что в эту ночь вспомнились Владивосток, бухта, гостиница, ресторан с таким же названием, но и как будто заранее предчувствовал, что вся видимая с этого гольца долина с ключиками щедро одарит его.

На другой день он взял с собой двух рабочих и отправился вверх по Утиной на всю неделю. Через каждые полкилометра брали пробы, промывали. Ключиков справа и слева было немало. Каждому из них Сергей Дмитриевич давал имя и непременно звучное: Каскад, Дарьял, Красивый. Лишь приток, у которого ночью поживались от сильного заморозка, назвал Холодным да тот, где опять повстречали медведя,— Медвежьим.

Но когда Раковский промыл лоточек-другой на ключе Холодный, то так возликовал, что хоть переименовывай! В первом лотке — десять граммов золота, во втором — почти столько же! Какие уж тут заморозки, сразу согрелись! Брали пробы через сто шагов, а то и чаще. За день втроем промыли полтора лотков, и в каждом золотило. В этот же день Сергей Дмитриевич наметил по узкой до-

линке Холодного, поросшей ерником и лиственничником, шурфовочную линию зимней разведки, рабочие сделали пяток неглубоких копуш — пески начинались под кочками.

Довольные и радостные вернулись на стан, разбитый в устье Холодного. Утинка надежд Билибина и предчувствий Раковского не обманула: золото найдено. Можно было бы возвращаться на базу и плыть по Колыме дальше. К тому же продукты были на исходе, а до базы два дня ходу. Но на рассвете другого дня Сергей Дмитриевич решил идти по Утинке вверх. Выше Холодного она то ли разветвлялась, то ли падал в нее еще один приток. Раковский не стал давать ему никакого названия и двинулся по левому истоку. Долинка была маристая, топкая. Пробы не очень радовали: знаки да редкие мелкие золотишки. Но Раковский весь день упорно вел свой отряд вперед и завел его в такую марь, что долго не могли найти сухого места для ночлега, костер негде было развести. Поднялись на горную терраску. Стали готовить скудный ужин из трех пойманных хариусов.

— Пойду умоюсь, — сказал Сергей Дмитриевич и опять взял лоток: без него даже умываться не ходил.

Умывался он очень долго. Лунеко и Слепцов своих хариусов съели, попили чаю без сахара и конфет, рыбину Раковского поставили в котелке на кострище, чтоб не остыла, и полезли в палатку спать...

Тут вдруг и раздалось:

— Ребята, сюда!

Голос был каким-то неестественным — то ли взволнованным, то ли тревожным.

Похватили ружья, бросились вниз. Не иначе — на медведя напоролся Сергей!

Слепцов вскинул двустволку и чуть не выстрелил в... Раковского: тот стоял на четвереньках, в кустах. В сумерках его действительно можно было принять за медведя.

— Слепцов! Ослеп, что ли? — заорал Миша и ухватился за ствол.

Раковский поднялся им навстречу и протянул ладони, усыпанные крупными, хорошо окатанными, похожими на фасоль, золотыми самородками.

— Собирай, ребята, грибы.

По берегу, меж ребер щетинистого сланца, мерцали и желтели чуть прикрытые водой золотишки, точь-в-точь как молоденькие крепенькие грибки-лисички. Нагибайся и бери.

Лунеко и Слепцов словно ослепенели: такого золота,

чтоб лежало прямо на земле у самых ног, они не только никогда не видали, но и не слыхали о таком.

— Хотел умыться вон на той косе, — голос у Раковского подрагивал. — Но прежде нагреб небольшой лоточек песочку, начал промывать — и вдруг две золотины, одна с горошину, другая чуть поменьше, со спичечную головку. Набрал лоток чуть выше, и опять золотишки. Еще выше... Так и шел. Умываться не умывался, а десяток лотков промыл, и все же пустые. Ну, думаю, вот здесь в заводи умоюсь и пойду на стан. Нагнулся. Что за чертовщина? Вода-гладкая, не рябит, а в глазах будто желтые мушки. Зачерпнул ладонью, покрутил, как лотком, и на ладони — желтенькие, тяжеленькие. Огляделся, а рядом вот эта гребенка. Много раз слышал от умных людей, и сам Юрий Александрович говорил, что гребенки такие, по-научному сланцевые щетки, — хорошие природные промывалки, вроде буторы. Но сам я в этих щетках золото ни разу не встречал и не верил. Дай, думаю, посмотрю, чем черт не шутит. Подошел поближе, наклонился и глазам не верю: будто кто-то из огромной перечницы вместо перца — самородками. Собирай, ребята, что покрупнее... Грибки собирай...

— А во что собирать-то? — первым пришел в себя Лунеко.

Сергей Дмитриевич вынул из кармана жестяную коробку с белозубым негром на крышке, высыпал из нее зубной порошок:

— Вот и лукошко!

— Сергей Дмитриевич, я слетаю на стан, принесу вам хариуса, а то ведь совсем вы голодный, — и Лунеко убежал.

Сергей Дмитриевич снова присел на корточки, а Слепцов все еще стоял не двигаясь. Раковский глянул на него снизу вверх и не узнал. Его бледное и без того продолговатое лошадиное лицо еще больше вытянулось, нижняя челюсть отвалилась.

— В жизни такого не видел... Слухай, Сергей Дмитриевич, что делать-то будем?..

— Как что? Разведку поставим. Прииск откроем.

— Значит, начальнику скажешь, всем скажешь?

— Ну, всем говорить не буду, а Юрию Александровичу непременно.

— А ты не говори. Никому не говори! Будем знать только ты, да я, да Мишка, если язык за зубами держать будет! Осенью экспедиция уберется, а мы останемся. На всю жизнь заработаем. Дело говорю. Слухай меня!

Сергей Дмитриевич не узнавал своего рабочего: он и го-

ворил-то как-то неграмотно, а ведь сын телеграфиста, факториями заведовал. Раковский выпрямился:

— Слухай, ты, жисть! Спятил? Иди, палатку сворачивай, без тебя соберем. И считай, что ты мне ничего не говорил, а я тебя не «слухал». Иди. И медведей не бойся. Себя бойся!

Слепцов с трудом поплелся на стан.

Вернулся с хариусом Лунеко:

— Вы что тут, повздорили?

— Да, малость. Он предлагал назвать этот ключ Золотым или Богатым, а я против. Какое сегодня число, Миша?

— Двенадцатое июня пока.

— Двенадцатое июня! Да мы в прошлом году точно в этот день вышли из бухты Золотой Рог! Юбилей! Назовем этот ключ Юбилейным. Согласен?

— А чего ж... Подходяще!

— Ну, а теперь собирай золото на ключе Юбилейном!

И они вдвоем стали собирать. Извлекали, выколупывали из щетки только самые крупные самородки. Трудились всю ночь, благо она была светлая. Наполнили коробку из-под зубного порошка вровень с краями, едва можно было закрыть.

Сергей Дмитриевич плотно зажал крышку с улыбающимся во весь рот белозубым негром, взвесил коробку на ладони:

— Килограмма на два. Теперь потопаем на базу и поплывем дальше.

— Сергей Дмитриевич, а вы на базе-то Чистякову и Серову не показывайте...

— Почему? — опять насторожился Раковский.

— Ну, не сразу показывайте. Они спросят: «С чем пришли?» А мы: «Хорошо покормите — покажем».

Сергей Дмитриевич обнял Мишу:

— Так и скажем!

Шагали весь день голодные. К вечеру пришли на устье Утиной. Здесь их так и встретили:

— Здравствуйте. С чем пришли?

Они так и ответили:

— Покормите хорошо — покажем.

Чистяков и Серов, конечно, догадались, что пришли они не пустые. Выставили на ужин все, чем были богаты. Отпраздновали юбилей и находки на Юбилейном.

Утром Сергей Дмитриевич сделал затес на стволе прибрежного тополя, а в узенькую расщелинку спрятал записку для Билибина. Написал в ней по-английски, чтоб не по-

няли случайные хищники. А перед тем как написать, вспомнил проклятия американца Хэттла, которые они слышали от Сологуба: «There are no sands on the Colyma, absolutely no sands, god damn!» (Нет песков на Колыме, абсолютно нет, черт возьми!), и как бы в пику американцу уверенной рукой вывел: «There is very good gold in this river». (Есть очень хорошее золото в этой реке).

После Утиной должна быть Запятая. Но Раковский еще до подхода к Запятой обнаружил впадающий в Колыму не замеченный прошлой осенью ключик и потому не предусмотренный заданием Билибина. Сергей Дмитриевич решил обследовать его и окрестил Случайным. Обследовали — золото есть, хотя и не такое богатое, как на Утиной. Запятая тоже зазолотила. «В общем каждая речка, — подумал Раковский, — впадающая в Колыму, что-нибудь да имеет. И сама Колыма — несомненно, река золотая».

С этими мыслями и с желаниями как можно быстрее обрадовать Юрия Александровича Сергей Дмитриевич и приплыл на Среднекан. Но ни Билибина, ни Цареградского, ни Казанли на Среднекане еще не было.

На приiske царило уныние: на Безымянном мыть перестали, на новых делянах, что пониже Безымянного, золотило плохо... Матицев, нарушая указания Оглобина и Билибина, направил старателей на еще не разведанный Борискин ключ, много суливший, но и там пока не очень фартило.

А тут еще прошел слух: сплав сорвался, многие погибли на бешеной Бохапче, и Билибин вроде, и Оглобин... А поэтому всех ждет голод.

ДЕЛО ЧЕСТИ

Оглобин, когда набирал людей на сплав, говорил:

— Товарищи, это дело добровольное!

Но добровольцев не нашлось.

— Сознательным рабочим отказываться нельзя. Иначе сорвем золотую программу и промфинплан, задержим строительство пятилетки, а своих же товарищей, остающихся на приiske, обречем на голод.

Не нашлось и сознательных.

— Спирт дадут? — задали вопрос. — Купаться придется и — без спирту?

— А спецовки будут?

— Пороги надо взорвать! Знаки поставить!

— Премии — как?

Оглобин отвечал:

— Премии будем выдавать. Спецодежды пока нет. Пороги взорвать не сможем: нет взрывчатки. А познавательные знаки будем ставить, и лоцманы у нас есть. Хорошие лоцманы! По тем порогам уже уходили. А что касается спирта, то — по мере необходимости...

Спирт кое-кого привлек, но премии — не очень:

— Перевернется карбас, и поплывет премия вместе с нами. Кто будет отвечать?

— Давай восьмой разряд и суточные три рубля. Жизнь рискуем.

Оглобин обещал и восьмой разряд, и суточных три рубля. Кое-как людей набрали, из не вполне сознательных.

От Среднекана до Малтана шли две недели. В середине мая стало изрядно подтаивать, и двигались ночами, благо они были светлые и морозные.

Место для верфи выбрали при устье Хюринды, где стоял хороший лес. Это было выше того Белогорья, у подножия которого вязались прошлой осенью плоты, и вызывало тревогу — хватит ли воды? Юрий Александрович уверял, что в половодье ее должно быть достаточно, лишь бы успеть к этому времени построить карбасы. К тому же это место — самое близкое от перевалбазы Элекчана, откуда предстояло доставить две с половиной тысячи пудов груза. Тянули волоком, на себе, и тут, конечно, без бузотерства не обошлось.

А сколько бузили, горлопанили, митинговали на постройке карбасов и на самом сплаве, когда каждая минута была дорога! Не раз выводили из себя и Оглобина, и Билибина.

Билибин всего себя вкладывал в этот сплав. И все рабочие его экспедиции, даже хиленький Митя Казанли, глядя на него, не выпускали из рук топоры и стяги. Своей работой — геологосъемкой — занимались урывками. Все силы отдавали сплаву. Но лентяи и горлопаны почти на нет сводили эти усилия. В общем это был не тот сплав, когда маленький отряд Билибина быстро, весело, с шутками и песнями вязал на Белогорье плоты, дружно пропихивал их по Малтану и бесстрашно гнал по бешеной Бохапче. Карбасы строили с большим опозданием, в спешке, кое-как. Были они похожи на неповоротливые утюги. А когда спустили их, большая вода уже прошла, да и не было ее в сущности: весна выдалась, как назло, недружная, затяжная, холодная. Юрий Александрович на водомерных

рейках через каждые два часа отмечал уровень. Но и без этого было видно: в полдень река выйдет из берегов, а к ночи вернется обратно.

Промучившись на верфи безотлучно целую неделю, Билибин 22 мая решил отвести душу и вместе с Казанли отправился в первый маршрут. Они поднялись по щебенистому песчанику и глинистым сланцам на голец Тундровый, что возвышался как раз на стрелке Хюринды и Малтана. Решили здесь установить астропункт и от этого гольца начать геологическую съемку по всей долине. Работа предстояла большая, а времени было в обрез, и тут Митя предложил себя в геологи.

Юрий Александрович сначала отнесся к этому скептически, но потом, сказав: «Не боги горшки обжигают», дал ему инструкцию, несколько советов, показал, как надо делать, и вскоре, к своей радости, обнаружил, что Митя способен вполне грамотно вести геологические наблюдения, собирать образцы, вести записи в полевой книжке, правда, по-своему, так, что расшифровать эти записи смог бы только сам автор.

— Не переквалифицироваться ли вам, Дмитрий Николаевич?

— Нет. Я останусь астрономом-геодезистом. Но буду и геологом.

Вдвоем они, отрываясь от сплавных дел не каждый день, обследовали Хюринду, Босандру, сделали маршрут на Белогорье, поднялись на гольцы Мрачный, Массивный, на пуп Черного хребта, на сопку Тарын, у подножия которой никогда не таяла огромная голубая наледь, совершили большой маршрут по реке Хета, правому притоку Малтана. И хотя возвращались на стан чертовски усталыми, были очень довольны, счастливы тем, что занимались своим любимым делом.

8 июня начался сплав. Малтан за одну неделю после паводка страшно обмелел, и на каждом перекате карбасы садились. Приходилось то и дело разгружать их или, собрав всю команду, спихивать их, прорывать каналы, чуть ли не перетаскивать на плечах... А было семь посудин, и на каждой по триста с лишним пудов. Мучения продолжались без малого двадцать дней.

И всякий день только и слышно было:

— Кончай сплав!

— Хватит!

— Дождей надо ждать...

Дожди изредка выпадали, но непродолжительные.

Наконец к ночи 25 июня дотянули до Бохапчи. Тут и дождь полил настоящий. Здесь и воды было побольше. Но выяснилось, что многие гребцы, получившие восьмой разряд, на воде-то первый раз.

Добравшись до порога Два Медведя, до юрты якута-заики, да наслушавшись его причитаний о бешеной Бохапче, одни сбежали, другие крепко перепугались. И никакие уговоры ни Билибина, ни главного лодмана Дуракова, ни ссылки на их прошлогодний удачный сплав не действовали.

Пока суд да дело, Билибин вместе с Казанли и Майорычем отправились на Мандычан, что впадал в Бохапчу слева, ниже Двух Медведей. Погода не благоприятствовала, но маршрут был удачным. В дневнике Билибин записывал:

«28 июня, пятница.

Выход со стана по берегу к устью Мандычана...

29 июня, суббота.

Временами дождь, гром, молния. Горы закрыты облаками.

Опробованы борта рч. Мандычан немного выше устья. Нижняя терраса — речники садятся прямо на почву. При почве в каждом ковше мелкие знаки косового характера. Верхняя терраса — речники садятся на почву, при почве более крупные знаки. Из-за сильного дождя распространить опробование вверх не удалось.

30 июня, воскресенье.

С утра облачно, но в десятом часу облака разгоняет. Солнце.

Возвращаемся маршрутом над порогом Два Медведя».

А у юрты якута сплавщики по-прежнему продолжают судить да рядить. Из всей команды согласились идти трое: сам Оглобин, Овсянников, бывший партизан, и Волков, тот самый артельщик «волков».

Из шести человек (шестой — Майорыч) Билибин организовал два звена: по паре гребцов и по одному рулевому лодману (Степан Степанович и сам Юрий Александрович). Решили проводить по два карбаса. А всем остальным предложили обходить пороги берегом, пообещав в местах, где не пропустят прижимы, перевести их как беспомощных пассажиров, без оплаты суточных.

«1 июля, понедельник.

Проехали два порога. Стан под порогом Юрьевским.

2 июля, вторник.

Прошли порог Степановский. Стан над порогом Михайловским.

3 июля, среда.

Стан над порогом Сергеевским.

4 июля, четверг.

К вечеру дождь.

5 июля, пятница.

Порог Сергеевский. Сложен крупными валунами, вынесенными из ущелья льдами. Вес валунов от булыжника 2—3 кг до 6—7 тысяч пудов.

6 июля, суббота.

Дождь. Остановка под порогом Дмитриевским».

Так, очень кратко, закончил записи в дневнике Юрий Александрович. Как он и ожидал, на порогах ничего не приключилось. Правда, часть груза подмочили, но это потому, что карбасы шили на живую нитку и они кое-где не выдержали ударов камней. Но основную часть — более двух тысяч пудов — доставили благополучно, без потерь, и, главное, никто не погиб. Конечно, нелегко было вшестером перетаскивать через шесть порогов семь неповоротливых утюгов... Но продовольствием прииски будут обеспечены.

Юрий Александрович решил, что он свое, по определению Цареградского, «дело чести» исполнил и дольше задерживаться ему нет смысла.

За два месяца обошел строго по границе — Буюнде, Малтану, Бохапче — владения Колымского приискового района. Богатых месторождений не обнаружил, но те знаки, что находились и на Буюнде, и на Бохапче, дают основания расширить границы и разведки, и приисков.

В устье Бохапчи остался Казанли с рабочими, чтоб установить астропункт, который еще прошлой осенью просил определить Билибин. Дальше проводить караван судов по Колыме остался Степан Степанович. А сам Юрий Александрович с Майорычем сел в лодку, легкую якутскую ветку, и через сутки прибыл на Среднекан.

Задержались они на минуту в устье Утиной, где Раковский должен был оставить письмо о результатах своей работы. Юрий Александрович извлек бумажку из расщелины тополя, прочитал, очень обрадовался, но посмотреть своими глазами это «очень хорошее золото» времени не было.

С Раковским он встретился на Среднекане 9 июля. К этому времени возвратилась из своего маршрута партия Цареградского, и якут Попов, как обещал, пригнал лоша-

дей для летних работ. К этим работам Сергей Дмитриевич, не дожидаясь дополнительных указаний Билибина, уже приступил и за десять дней опробовал все левые притоки от устья Среднекана до Безымянного.

— Ну, Сергей Дмитриевич, показывай *very good gold*.

Раковский щелкнул крышкой с негром, и Билибин не хуже негра засверкал своими белоснежными зубами.

— Другое завтра покажу.

— Почему не сейчас? Далеко?

— Нет, рядом. Но уже ночь, вам отдохнуть надо...

Заснуть Билибин не мог и, едва посерело бязевое окошко, поднял Раковского:

— Не томи, пойдем.

Взяли рюкзак, молоток, лоток с гребком и ушли, даже не перекусив. Сергей Дмитриевич привел на ключик, названный им Кварцевым, был он недалеко от барака и первой разведочной линии. Поднялись на вторую террасу, продрались сквозь заросли кедрача к подножию сопки, разделявшей ключи Борискин и Безымянный.

— Вот тут, например,— небрежно ткнул носком ичига Раковский.

Юрий Александрович припал к альбитовой порфировой дайке и без лупы, простым глазом, среди кварцевых прожилок увидел крупные золотины:

— Ого! Еще *very good gold*! Ну и везучий ты, Сергей!

Забыв о завтраке и обеде, весь день они лазили по сопке и узкому ущелью Кварцевого, набрали образцами рюкзак по самую завязку, промыли десятка два лотков. Стали под вечер спускаться — увидели на другом берегу Среднекана еще одно заманчивое обнажение, алеющее в лучах заходящего солнца.

— Еще выход! Продолжение следует!

И бросились к реке. Скользя по камням, грудью рассекая бурный поток, перебрались на правый берег Среднекана. Пока не стемнело, обшарили весь обрыв, но ничего стоящего не нашли. Снова, но уже без горячки, перебрались обратно и, дрожащие, мокрые до последней нитки, вернулись в барак...

Ту жилу над Кварцевым ключом называли Среднеканской дайкой. Билибин очень заинтересовался ею.

— Валентин Александрович,— обратился он к Цареградскому,— наш план летних работ опять меняется. У нас теперь не один, а два важных объекта: Среднекан и Утинная. И мы должны справиться с обоими. Я еду дообследовать утинскую россыпь и закартирую всю долину Утиной,

а тебе, дорогой товарищ, придется поднатужиться и заснять всю долину Среднекана и опробовать эту дайку. Заманчивая дайка. Сможешь?

Цареградский пожал плечами:

— С одним Бертиным, пожалуй, не вытяну...

— А Раковский?

— И он со мной? Тогда, пожалуй, справлюсь...

— Вернется Казанли, и он будет работать на Среднекане. Между прочим, на Малтане и Бохапче он показал себя способным геологом.

— Справлюсь, Юрий Александрович.

Цареградский вернулся с Буюнда без золота. На устье Купки он обнаружил снаряжение Розенфельда: кайло, два лотка, две чугунные ступы. Но ничего похожего на Гореловские жилы не нашел и решил, что река Буюнда и вся Долина Диких Оленей не золотоносные. Билибин не возражал, но, чувствовалось, и не соглашался:

— Надо будет еще посмотреть... Я на Бохапче тоже вроде бы зацепился, но дожди помешали, да и время потеряли с этим сплавом... Рук у нас не хватает, нам бы еще парочку где подзанять...

— А что, если Кондрашова? — подсказал Раковский. — Он к нам охотно пойдет, и Матицев его отпустит: они не в ладах.

— Согласен. Переговори с ними, Сергей Дмитриевич, и я Кондрашова возьму на Утинку!

Сергей Дмитриевич с Петром Кондрашовым сразу договорились, но Матицев отказался отпустить его наотрез:

— Кондрашов — мой техраб. У него договор со мной, с Союззолотом, и ему служить как медному котелку.

Юрий Александрович с Матицевым до возвращения Оглобина не хотел и встречаться. Матицев по-прежнему гнул свою линию, старатели заискивали перед ним и с его молчаливого согласия копали где им вздумается. Долину Борискина ключа испоганили так же, как и на устье Безымянном.

Оглобин, прибыв с карбасами, на другой же день освободил техрука Матицева от всех его обязанностей и отправил с проводником в Олу, как было условлено с Лежавой-Мюратом. Временным техруком назначили Кондрашова Петра Николаевича, а в перспективе на эту должность намечался Раковский по окончании работы в экспедиции.

Без Матицева воздух в присковской конторе стал сразу чище. Билибин познакомил с утинскими находками Оглобина и Кондрашова. Они очень заинтересовались ими,

а Петр Николаевич тут же изъявил желание ехать на Утиную организатором прииска. Оглобин хотел бросить клич: «Кто на Утинку?» Юрий Александрович Кондрашов подержал, а Оглобина попросил не торопиться «кликать» туда старателей: они и там начнут «хищничать».

— Пошлем из экспедиции,— предложил Билибин.— Ребята у меня честные, трудолюбивые, но заработали мало: расценки у нас все же низкие, и некоторые даже аванс не погасили... Пусть для них Утинка будет наградой. Они будут вести там разведку и промывку. И вы будете ими очень довольны. Программа будет выполнена. А это значит, что Колыма заявит о себе в полный голос. Что и требовалось доказать.

С таким решением Оглобин и Кондрашов охотно согласились. Кондрашов, оставаясь техническим руководителем приисковой конторы, принимал на себя и разведку. А рабочие экспедиции, продолжая заниматься разведкой, одновременно начинали еще до окончания договора стараться.

Охотников стараться на Утинке объявилось много: Лунеско, Ковтунов, Дураков, Лунев, Чистяков, Серов, Шведов... Пришлось кое-кого отговаривать, чтоб не сорвать летние работы на Среднекане. Но Юрий Александрович обещал Утинку всем желающим после окончания экспедиционных работ.

Для ухаживших устроили прощальный ужин. Филипп Диомидович отпустил из только что доставленных продуктов все самое вкусное: шпроты балтийские, средиземноморские сардины, шанхайское сало, японское конденсированное молоко... Ужин прошел на славу. Пели, танцевали. Митя Казанли расхаживал по бараку и так неистово играл на своей скрипке, что боялись, как бы он не выколол кому глаз смычком. Скрипачу подыгрывали на мандолине Раковский, на расческе Кондрашов.

Когда расставались, Сергей Дмитриевич подарил Кондрашову свою фотокарточку, сделанную во Владивостоке: красивый, аккуратно причесанный, при галстукке, даже нос кажется покороче... На обороте написал:

«На память Петру Николаевичу о днях, проведенных в Верхнеколымской тайге. Надеюсь, что встретимся вскоре в более лучшей обстановке... Вспоминайте К. Г. Р. Э. ...»

22 июня 1929 г.

Среднекан.

Сергей Раковский».

Петр Кондрашов был очень тронут, начал шарить по своим карманам, но ничего подходящего не нашел и преподнес японские спички в запаянной жестяной коробочке:

— Придется купаться, как тогда, эти не промокнут.

И Сергей Раковский несказанно обрадовался подарку.

...Пройдет много-много лет, почти пятьдесят, и в Магаданском областном краеведческом музее встретятся, как два старых друга, два экспоната: эта фотокарточка с дарственной надписью и спички в жестяной коробочке.

За сорок с лишним лет, что проработал Сергей Дмитриевич на Колыме, купаться ему в ледяных горных речках приходилось нередко, жестяная коробочка со спичками была всегда при нем, но рука не поднималась открыть ее, заветную. И лишь когда уезжал навсегда, на заслуженный отдых, передал ее музею вместе с другими реликвиями. Там ее и открыли. Сам спичечный картонный коробок с яркой японской этикеткой от времени развалился, а спички с красными серными головками можно зажечь и сейчас.

В необжитой тайге непревзойденный ходок Раковский никогда ничем не болел, а в московской благоустроенной квартире обрушились на него всякие хвори и унесли его раньше времени.

А лет через пять после его смерти зашел в тот же музей высокий худощавый старик, остановился перед витриной, в которой лежали японские спички и жестяная коробка, и вдруг поднес к глазам платок.

— Пылинка попала? — спросила музейная смотрительница.

— Да... пылинка... — смущенно ответил посетитель.

— Не может быть! У нас здесь чистота, — возразила смотрительница, но тотчас догадалась: — Вы, вероятно, с лауреатом Сталинской премии Раковским были лично знакомы?

— Да. Я подарил ему эти спички, а он мне вот эту фотокарточку, — и незнакомый посетитель извлек из бумажника фотографию с дарственной надписью Раковского.

В этот день геолог Кондрашов, пенсионер, прилетел в Магадан туристом, но увидел в музее все, что связано с его первыми годами работы на Колыме, и решил тряхнуть стариной. Отправился в долины своей юности, на прииск «Пятилетка» участковым геологом и проработал там еще три года, да так, что его ставили в пример молодым.

На другой день после прощального ужина сфотографировались: Билибин и Оглобин сидят посередине рядом, положив крепкие жилистые руки на колени; за их спиной — загорелые, кострами прокопченные Царегородский и Раковский; сбоку — Петр Кондрашов и уполномоченный Якутского ЦИКа Владимирцов.

23 июля рабочие нового прииска «Юбилейный» под началом Кондрашова потянули бечевой, как бурлаки, вверх по Колыме тяжело нагруженные лодки. Целую неделю поднимались нормально, без приключений. На подходе к Запятой вышла своя запятая — наскочив на опсечек, подводный бугор, перевернулась одна лодка, и вынуждены были потерять день на просушку груза. Здесь, перед Запятой, и догнал их Юрий Александрович.

Он так же по-бурлацки шел берегом со своим неразлучным личным промывальщиком Майорычем, но чаще сажал его в лодку, а сам впрягался в бечеву.

Старик упрямылся:

— Дай я сам пошмыляю.

— Нет, шмылять буду я!

Так и шли до Запятой, пока не догнали своих.

И тут произошла встреча, которой Билибин никак не ожидал. На левом, противном берегу увидели палатку — почти новенькую, золотисто-кремового цвета, с целлулоидными окошечками, явно заграничную.

— Кто это там? — спросил Билибин у Кондрашова.

— Не знаю, — ответил тот. — Звали — не подплывают.

— Ну что ж, придется нанести визит.

Юрий Александрович сел в лодку, вместе с ним Степан Степанович, Лунев и Кузя Мосунов. Двинулись.

Было это 28 июля, в полдень, когда последние колымские комары грызли с особым остервенением.

— Разрешите войти? — спросил Билибин.

— Входи, да комаров не впускай, — ответил кто-то из палатки.

Юрий Александрович отогнул полог и радостно воскликнул:

— Сергей! Сергей Владимирович! Или это сон?

Обручев в бородатом мужике сразу узнать не мог, кто это, а взгляделся:

— Ба! Да это ты, Билибин!

И хотя они в Ленинграде особенно близкими не были, тут встретились как самые давние и крепкие друзья.

— Аггей! — крикнул Обручев проводнику. — Волоки не-прикосновенный запас и кожаную сумку. Ведь я к тебе, считай, дипкурьером от всех твоих родных и даже от той, что когда-то ласково сказала «нет». Получай самую свежую почту — всего лишь семь месяцев шла.

Юрий Александрович набросился на письма от матери, от отца, от сестры и многих знакомых. Не без трепета вскрыл конверт и «от той», а в нем всего лишь одна фотокарточка — гордый строгий профиль с милым, чуть вздернутым носиком, с гладкими волосами, затянутыми на затылке в тугой узел — и на обороте всего одно слово: «Ленинград. 1928 год».

— Ну что? Опять «нет»? — спросил Обручев.

— Да! — воскликнул Билибин и смутился.

— Эх, жаль, на свадьбе не погуляю!

Потом они долго сидели вдвоем в палатке. Сергей Владимирович взахлеб повествовал, как ему удалось организовать экспедицию от Академии наук по всей Колыме и Чукотке, как он летал от Иркутска до Якутска на самолете.

— Летели три дня. Садись в Жигалове, Усть-Куте, Киренске, Витимске, Олекминске. К Якутску подлетали в темноте, летчик Михаил Слепнев посадил аэроплан прямо на забор. А я не почувствовал, лезу поздравлять его с удачной посадкой, а он орет: «Застрелюсь!» Для них, летчиков, оказывается, нет ничего позорнее, как посадить машину на забор... Нам бы, путешественникам, такие аппараты! Быстро, высоко, сверху все видно, и на сопки не надо карабкаться... Но дальше Якутска они пока не летают. Из Якутска я тащился на быках, на лошадях, один мой отряд и сейчас идет по Сеймчанской тропе, а я на лодке по Колыме, как видишь. На устье Бохапчи прочитал твой затес, но определить астропункт не смог, плыву без астронама.

— Мы это сделали сами...

— Хорошо. А я теперь окончательно убедился, что открыл здесь новый хребет, который назвал хребтом Черского. Он простирается с северо-запада на юго-восток, перерезает Колыму в районе Больших Колымских и Бохапчинских порогов, а здесь его отроги...

— А золото или признаки золота не встречались?

— Вероятно, есть, но это уже твой хлеб, вырывать из рта не буду... И от души поздравляю еще раз и много раз! Значит, золотую пряжку Тихоокеанского пояса расстегнул?!

— Расстегнуть-то расстегнул, но куда поясок тянется... С юга-востока на северо-запад? Как твой хребет Черского? Или?..

— Несомненно!

— До Индигирки?

— Я там золото не нашел, хотя и проверял заявку какого-то полковника...

Сергей Владимирович сфотографировал Юрия Александровича себе на память — бородатого, в распахнутой рубашке с кармашком на груди, но, как и положено ученому, склонившегося над книгой. В палатке было сумрачно, снимок мог не получиться. Сделал второй: под открытым небом, на берегу Колымы, усадив Билибина прямо на землю в той же рубашке. Юрий Александрович снял и глазами и рыжей бородой.

На другой день утром Обручев поплыл вниз по Колыме, помаhal рукой. И ему ответили тем же. Его лодка шла шибко, и Майорыч не без зависти вслед сказал:

— По воде легко... А нам против.

30 июля, после семидневного хода против течения, Билибин и Майорыч, опередив остальных рабочих, добрались до устья Утиной.

А на другой день рано утром, когда густой туман еще покрывал Колыму и широкую долину Утиной, Билибин поднял Майорыча:

— Пошли на Золотой Рог.

— Ружьишко прихвати, неровен час, хозяин встретится. Вон его след — ночью к нам подходил.

— Ничего, я его молотком!

— Ну, а я — лотком, — ему в тон усмехнулся Майорыч, но свою берданку все-таки взял.

Когда они поднялись на гольц, который Раковский окрестил Золотым Рогом, утренний туман рассеялся, и с вершины открылся такой же широкий и раздольный вид, каким любовался и Сергей Дмитриевич. Но Юрий Александрович мысленным зрением видел дальше и записал так:

31 июля, среда.

Утром туман. Выход — 7 часов 30 минут. Подъем на г. Золотой Рог.

В районе рч. Утиной вдоль Колымы тянется цепь гольцов Бас-Учунья, упирающаяся в Колыму между Урутуканом и Тасканом. На востоке она, по-видимому, кончается, упираясь в кривун у кл. Случайного.

Массив Бас-Учунья занимает все пространство между Колымой и рч. Утиной. Формы резкие, ключи узкие и крутые. Высоты небольшие, до 600—700 м над Колымой. Справа от верхнего течения Утиной тянутся невысокие увалы. За ними в 7—8 км на водоразделе с Урутуканом стоит громадный гольц Столовой».

Гольцов было много: Гранитный, Сторожевой, Дарьял, Немичан — между ними распадки. Каждую падь предстояло обследовать, на каждый гольц — подняться. И все это — за какие-нибудь две недели.

На другой же день, не дождавшись подхода задержавшихся на Запятой рабочих, Билибин и Майорыч сразу же отправились на ключ Юбилейный — на то место, где выбирали из сланцевой щетки самородки Раковский и Лунко. Пришли, и Юрий Александрович, похаживая по этой щетке, то насвистывал, то напевал, то восклицал:

— Майорыч, по золоту хожу!

Майорыч лишь улыбался в свою черную бороду.

На месте бывшего стана Раковского натянули палатку и только улеглись — кусты затрещали.

— Он, — шепнул Майорыч.

— Нет, это наши ребята подходят. Я их сейчас напугаю, — и Юрий Александрович, накинув тужурку, на четвереньках выбрался из палатки.

— Не пужай, а то со страху пальнут... — Но не успел Майорыч договорить, как Билибин закричал:

— Майорыч, молоток! Лоток! Кайло! Ружье!

Майорыч схватил что под руку попало, выскочил и видит: стоит перед Билибиным в каких-нибудь пяти шагах на задних лапах большущий темно-бурый медведь, а сам Юрий Александрович перед ним, словно медвежонок, на четвереньках.

Но говорит вполне спокойно и даже вежливо:

— Миша не при. Будь добр, уходи. Нас много, ты один. Ты — сыт, и мы — сыты, и делить нам пока нечего...

И мишка не спеша, вперевалялочку пошел прочь.

Юрий Александрович поднялся, отер со лба холодную испарину.

Майорыч проворчал:

— Хорошо, хозяин ягодой накормился, а то бы...

— Какой хозяин? Мы — хозяева тайги! — усмехнулся Билибин.

Но заснуть спокойно в ту ночь хозяева тайги не могли.

После десятидневного утомительного перехода прибыли на Юбилейный технорук Кондрашов и с ним одиннадцать

рабочих. Начали устраиваться, рубить барак под жилье и контору.

Сперва мыли одними лоточками, потом смастерили бутары и проходнушки, и 6 августа с этих примитивных коллод на прииске «Юбилейном» была произведена первая обнадеживающая съемка золота. С этого числа стали намывать по сто граммов на брата в день, а то и больше...

Возвращаясь на базу с рюкзаком, набитым под завязку камнями, Юрий Александрович, прежде чем отдохнуть, подкрепиться, шел к своим бывшим разведчикам:

— Старатели, как старается?

— Фунтит! — неизменно отвечали ему и рассыпали пред его очами все, что намыли за день.

Билибин рассматривал каждую золотинку, взвешивал на ладони те что покрупнее. Он был очень доволен: пусть ребята заработают.

Радовался и результатам своих обследований.

«9 августа, пятница.

От стана вверх по кл. Холодному. 11 проб: золото, знаки...

10 августа, суббота.

От Холодного на прииск «Юбилейный». Пробы: золото, знаки...»

Ключ Холодный показал золота гораздо больше, чем было в пробах Раковского, и Юрий Александрович считал, что здесь, рядом с «Юбилейным», надо открывать второй прииск — «Холодный».

— Надо,— соглашался технорук Кондрашов,— но для этого рабочих сюда надо и продовольствия побольше. То-го, что доставили, не так уж надолго и хватит. Сейчас грибами подкармливаемся. На завтрак — похлебка из грибов, на обед — грибы тушеные, на ужин — тоже. Но они скоро пропадут, и кончится подножный корм...

— Н-да, не подумали мы об этом. Надо бы хоть один карбас со сплава на устье Утиной задержать. Русский мужик всегда задним умом крепок. Но, думаю, Оглобин снабжение наладит, и новый прииск будет. Он мужик дошлый!.. А я сегодня бродил по любопытному ключику, нарек его Заманчивым. Сдается мне, что приведет этот Заманчивый к богатой жилке. Рудник откроем! А завтра мне надо подняться на гонец Басаганья. Хочу с его вершины посмотреть, а что там за Колымой... Лунеко мне не дадите?

— Рабочие пока ваши — берите любого.

На высокую гору Басаганья они взбирались втроем — Билибин, Майоров и Лунеко. С утра небо было чистое, но

потом пошел дождь, легкая одежонка вымокла до последней нитки. А когда поднялись на самый верх, то и проголодались порядком.

Стояли на вершине. Дождь хлестал. Ветер пробирал. Укрыться некуда, и костер не разведешь: голо, одни камни вокруг, да лишайники на них. В рюкзаках — тоже камни, которые набрали при подъеме на гонец. А начальник бодр, радостен, весел. Обратно спускаться не торопится — все ждет, что ветер разгонит тучи и будет видно Заколмые, а в общем за хмарью — ни зги.

— Догоры! Вот стоим мы с вами, голодные, холодные, комарами искушенные, дождями исхлестанные, медведями пуганные, на вершине Басаганьи и знаем — пройдет немного времени, всего одна пятилетка, и в этой медвежьей, девственной глуши, что необозримо простирается вокруг нас, от Колымы до Индигирки, на север, за Буюнду, на восток, на Чукотку, на северо-восток, и туда, на юго-запад, в сторону Охотска и нашего родного Алдана, через все эти сопки и хребты, по всем этим долинам пролягут железные и шоссейные дороги, побегут поезда, автомобили, а по Колыме и Бохапче — пароходы. Всюду загорятся огоньки приисков, рудников, городов и поселков и пробудится от векового сна девственная красавица тайга! Золотая тайга! А все почему? А все потому, что растегаем мы с вами золотую пряжку Тихоокеанского пояса! Помнишь, Майорыч, на Алдане в палатке я вам рисовал карту Тихого океана и вокруг него золотой пояс? Мы еще не знаем точно, куда протянутся наборные ремешки этого пояса, по каким долинам и распадкам, но золотая пряжка — в наших руках и, несомненно, в Приколмые и Заколмые нас ждет еще много открытий! И где ступит наша нога, там забудет ключом новая жизнь! Так, догоры? А, Михаил Лазаревич?

Миша Лунеко слушал начальника без особого восхищения: желудок у него тосковал о горячей мурцовке с размоченными сухарями и о жареных грибах, а напоминание о комарах вызывало чуть ли не слезы. Оп, стойкий боец Красной Армии, бывший старшина батареи, коренной сибиряк, не раз впадал в отчаяние от колымских комаров. А тут — начальник размечтался.

— А ты что притих, Майорыч?

Старик Майоров думал не о комарах. За долгие свои скитания по Сибири и Дальнему Востоку он ко всему привык, все невзгоды переносил молча, но к людям, жадным до золота, привыкнуть не мог. Это он сказал еще на Алдане: «Золото завсегда с кровью», когда слушал рассказы

о Бориске. Вот и сейчас великий молчун вдруг невесело изрек:

— Тесно будет в тайге.

Билибин понял его по-своему и с радостью подхватил:

— Молодец, старик! Молчишь, молчишь, а как скажешь что — хоть золотыми буквами записывай! Тесно будет в тайге! Нет, Майорыч, твое имя непременно надо нанести на карту Колымы!

Петр Алексеевич Майоров не улыбнулся...

...Десять лет спустя, когда Юрий Александрович в тиши своего ленинградского кабинета будет заканчивать свой первый капитальный труд «Основы геологии россыпей», который для горняков и ныне путеводная книга, в последней, XXVI главе «Задачи изучения россыпных месторождений Союза», как бы выражая благодарность таким, как Майорыч, людям, неизвестным ученому миру, вспомнит его слова и напишет: «В тайге становится все теснее».

Билибин рассчитал своих рабочих на месяц раньше и, уезжая с Утиной, напутствовал:

— Старайтесь, ребята. Честно старайтесь. Марку нашу держите.

Возвращался на Среднекан вдвоем с Майорычем. Старик не пожелал оставаться на старание:

— Семью надо повидать. С Зен — я. Повидаю — может, приеду, а может, и еще куда подамся.

На Среднекан они вернулись, как и обещал Билибин, 15 августа, в лодке, тяжело нагруженной образцами пород, и с золотом, намытом на Юбилейном.

Среднеканцы, увидев это крупное, матово поблескивающее золото, были готовы ехать на новый прииск тут же. И рабочие экспедиции из партии Бертин, Раковского, Цареградского запросились на старание. Билибин пообещал своих направить в первую очередь, в награду за честный труд. Оглобин поддержал его. Из пятнадцати человек организовали две артели, и они подались на новый прииск — «Холодный», провожаемые завистливыми взглядами «хищников».

Поисковые летние работы закончились. Эрнест Бертин, Раковский, Цареградский, Казанли — все собрались на Среднеканской разведбазе. Каждый делал доклад начальнику экспедиции, показывал породы, пробы, шлихи, самородки — отчитывался.

Дмитрий Казанли на самых высоких сопках Приколмы установил одиннадцать астропунктов, определив их координаты. С этими астропунктами увязывались все маршруты, реки, речки, ключики, исхоженные геологами. И впервые вырисовывалась точная карта огромной территории: от Ольского побережья до правобережья Колымы, от Малтана и Боханчи на западе до Буюнды на востоке. Карта, изданная Академией наук всего три года назад, оказалась безнадежно устаревшей. Астропункты на устье Боханчи и устье Среднекана показали, что река Колыма между этими устьями действительно течет на двести километров южнее, ближе к Охотскому морю, чем на всех прежних картах, кроме той, что выложили на полу юрты Макара Медова из спичек... Не зря Казанли ползал по полу!..

А когда сложили все, что шагами измерили, молотками обстучали, лотками промыли, то получилось: небольшая экспедиция, в которой было всего два геолога, один геодезист и два прораба, меньше чем за год покрыла более тысячи километров маршрутной съемкой, четыре тысячи квадратных километров — геологическими исследованиями, опробовала долины общей протяженностью в пятьсот километров. А всем исхоженным верстам счет был потерян...

И почти во всех этих долинах было найдено золото, правда, далеко не всюду такое, как на притоках Утиной и Среднекана, не всюду годное для мускульной добычи, но геологи смотрели вперед и знали: то, что нельзя добыть лоточками и проходнушками теперь, можно будет взять техникой недалекого будущего.

Бертин получил хорошие пробы по обоим истокам Среднекана — левому и правому, а один приток, особенно обнадешивающий, Эрнест Петрович назвал именем Аннушка. Такими же звучными именами — Золотистый, Радужный и тому подобными окрестил речки и ключики Среднеканской долины Сергей Дмитриевич, и, конечно, неспроста.

Установил хорошую золотопосность и Цареградский. К тому же у него был сюрприз для Билибина — банка из под какао.

Он нашел ее недалеко от своей палатки, на берегу Среднекана, где по утрам обычно умывался. Между большими валунами, под нависью обнаженных подмытых корней лиственницы виднелась коричневая круглая жестяная банка. Даже не подходя к ней, Валентин прочитал ярлык: «КАКАО ЭЙНЕМ» — и удивленно присвистнул: «Откуда она здесь, с детства знакомая?» Потянулся за ней только из любопытства: вспомнилось то время, когда мама из содержимого такой же коробки готовила ароматное и сладкое питье. Поднял и чуть не уронил от неожиданной тяжести: раньше такая банка весила фунт, а эта — все десять, если не больше. Валентин сразу понял, что в этой коробочке. Из-под крышки вылезали лохмотья дерюжки, к тому же она прижавела, и, открывая ее, Валентин обломал ногти. В ислевшем мешочке плотно лежало золото. Его было, конечно, больше, чем привез с Утиной Раковский в коробке из-под зубного порошка. Такого количества металла экспедиция пока не находила. И как же не обрадоваться ее начальнику! Все будут смотреть на Валентина Александровича с великой завистью...

Но Юрий Александрович не возликовал, напротив, как-то даже кисло усмехнулся, когда Цареградский положил пред ним свою богатейшую находку, и прежде всего спросил:

— Откуда оно?

Валентин стал было подробно рассказывать, где и как нашел...

— Нет, я не об этом, — перебил его Билибин и обратился к Раковскому: — Вы, Сергей Дмитриевич, среди нас, ученых, главный определитель золота. Откуда оно?

— На среднеканское и на утинское ни по окатанности, ни по цвету не похоже, — ответил Сергей.

— А Филиппу Диомидовичу показывали?

— Показывали и Оглобину, и Поликарпову. Говорят: «не наше».

— Ну, что ж, кто его владелец, пусть выясняет угрозыск. Составьте по всей форме акт, передайте в контору прииска, а мы его и в отчете не можем помянуть: неизвестно откуда, без привязки... А когда-то и я пивал какао из такой баночки... А что, Валентин Александрович, показала Среднеканская дайка?

Жилки над устьем Безымянного, обследованные Цареградским еще весной, оказались бедными, почти пустыми. На Буюнде Валентин Александрович тоже ничего не нашел, не сверкнули пред его глазами золотые молнии, опи-

санные Розенфельдом. Оставалась на счету Цареградского только Среднеканская дайка. Хотя ее обнаружил Раковский, но он, Валентин Александрович, по заданию начальника экспедиции первым тщательно опробовал, и золоторудные жилы альбитовых порфиров, казалось, вознаградили за все неудачи таким богатством, перед которым, конечно, померкнули все золотые россыпи, открытые и Раковским, и Бертиным... Билибин ахнул! Так думал Цареградский.

И Юрий Александрович действительно был потрясен, когда познакомился с пробами Цареградского из Среднеканской дайки. В отдельных образцах оказалось такое золото, что Билибин, пересчитав содержание на тонну породы, пришел, как сам позже не раз говорил и писал, в священный ужас:

— Двести граммов на тонну руды! Неслыханное содержание! Небывалое в истории золотой промышленности! Такие цифры нельзя принимать в расчет.

Валентин решил, что его друг-начальник, как и прежде на жилке при устье Безымянном, ставит под сомнение его опробование, и очень обиделся:

— Можете проверить, Юрий Александрович...

Билибин стал успокаивать его:

— Нет, Валентин, ты все сделал, вероятно, правильно: и опробовал, и подсчитал, но эти цифры — священный ужас!.. Надо взять пробы в Ленинград, и там проведем тщательный лабораторный анализ. Затем здесь поставим детальную разведку, пробьем штольню... Ведь мы брали пробы, по сути, только из одного выхода... дайка очень заманчивая, но пока о ней лучше скромно молчать, ибо геолого-комовские «тираннозавры», «мастодонты» засмеют нас, как и Розенфельда с его молниеподобными жилами... А вдруг содержания такого не окажется. Обайкротимся?... А в общем все великолепно! Тесно будет в тайге, догоры!

Билибин был очень доволен результатами работ экспедиции. Он дни и ночи просиживал над материалами, собранными экспедицией, и тут же, на Среднекане, в тесном, заставленном образцами бараке, за дощатым столиком, при неровном свете стеариновых огарков четким крупным почерком писал первый колымский полевой отчет.

Записка Розенфельда лежала перед ним, Юрий Александрович, снова и снова перечитывая ее, вдохновлялся:

«...хотя золота с удовлетворительным промышленным содержанием пока не найдено...»

— Найдено, господин Розенфельд!

«...но все данные говорят, что в недрах этой системы схоронено весьма внушительное количество этого драгоценного металла...»

— Весьма внушительное, догор Розенфельд!

«...нет красноречиво убедительных цифр... фактическим цифровым материалом я и сам не располагаю... Могу сказать лишь одно — средства, отпускаемые на экспедицию, окупили бы себя впоследствии на севере сторицею... в ближайшие 20—30 лет Колымская страна привлечет все взоры промышленного мира».

— Несомненно! И гораздо раньше! Но где они — твои Гореловские жилы?!

«Мы нашли все,— размышлял Билибин, склонившись над столом и над первой, пока еще начерно сделанной картой Казанли,— Борискину могилу и даже амбар со снаряжением Розенфельда... Но где же Гореловские жилы? Цареградский утверждает, что Буюнда и Купка не золотonosны... А якут Калтах, отец Аннушки, у которого останавливались на устье Гербы, говорил, что нашел он самородок на Купке... И Розенфельд, весьма вероятно, там что-то видел. А может, мне самому поискать? Но когда? Последний пароход с Ольского рейда уходит обычно в середине сентября, то есть через две недели. Опоздаешь — придется зимовать. А если возвращаться по Буюнде одному? Другие пойдут иными путями... Риска меньше. Если кто-то и опоздает, то другие успеют... Надо каждому вручить полевой отчет, и кто выберется на материк, тот начнет ратовать за Колыму!»

И Юрий Александрович писал — составлял отчет вдохновенно. Не зря он иногда говорил, что геолог должен сочинять стихи — это поможет писать отчеты. И теперь, описывая сугубо научным языком широкое развитие мезозойской осадочной толщи, прорванной интрузиями гранитов, с которыми связывается золотonosность, Юрий Александрович рисовал богатейшие перспективы нового золотonosного района и заканчивал отчет глубоким выводом, который будет назван в науке «блестящим билибинским прогнозом»:

«Так как полоса гранитных массивов продолжается к северо-западу, на левобережье Колымы, и к юго-востоку, на побережье Буюнды, то мы вправе ожидать продолжения в обе стороны и окаймляющей ее рудной полосы. К северо-западу мы встречали знаки золота по рр. Таскан и Мылге и вправе ожидать золотonosность левых притоков Колымы. К юго-востоку имеются указания Розенфельда о золотonos-

ности р. Купка, правого притока р. Буюнды и нахождения золота якутом Калтахом...»

Вдохновенно писал Юрий Александрович, но все же сдерживал свои порывы, чтоб не прослыть фантазером, и о знаках золота, найденных им лично на Мадыгычане, левом притоке Бохапчи, умолчал. То есть не совсем умолчал, в отчете-то сказал, но вывод о том, что есть золото и за Бохапчой, сделать поостерегся.

«Мало я там опробовал левые-то притоки,— рассуждал Билибин,— и тот же Мандычан — дождь помешал да и сплав много времени отнял... А может быть, сейчас мне надо не по Буюнде, а еще раз пройти маршрутом по Бохапче и Малтану, там выйти на перевалбазу Элекчан и знаковой тропой в Олу?...»

Так в темную августовскую ночь в неугомонной голове Билибина родилась и созрела еще одна идея. Юрий Александрович поднял всех с постели:

— Хватит спать, медведи! А ну кто хочет со мной побороться, поразмять косточки?

Все настороженно молчали.

— Майорыч, выходи! Ты посильней всех будешь нас, ученых...

— Не... На медведя я пойду, а на Билибина — не!..

— А на бешеную Бохапчу опять со мной пойдешь?

— Можно.

— Ну, тогда слушайте, догоры, мой последний приказ! Сам я с Майорычем пойду по левому истоку Среднекана и буду держать курс на запад, на Бохапчу выше порогов, оттуда на Малтан и дальше Ольской тропой. Цареградский двинется по заброшенной тунгусской тропе, о которой рассказывал нам Макар Медов. Раковский, Казанли и Корнеев со всем экспедиционным имуществом возвращаются в Олу Буюдинской тропой, которой ходили все торговые люди и Розенфельд когда-то, а ныне доставляются грузы на прииски. Каждый отряд попутно будет вести маршрутную съемку, геологические и прочие наблюдения, все заносить в дневники... Таким образом, мы, хотя и бегло, обследуем еще три маршрута на золотonosность, на возможность транспортировки грузов, а также положим начало изысканиям железной или шоссейной дороги. Не исключается, что кто-то из нас будет опаздывать к последнему пароходу, может, и опоздает, но тот, кто первым выберется на материк, сразу же начнет ратовать за Колыму во Владивостоке, Москве, Ленинграде — всюду! Для этого каждый получит экземпляр геологического отчета. Ясно, догоры?

Догоры, выслушав своего начальника, призадумались. До последнего парохода всего две недели. Времени в обрез. Зимовка никому не улыбалась. Скоро выпадет снег. Когда тут изыскивать дорогу? Когда вести геологическую съемку?

Все молчали. Раковский молчал, так как знал: Юрий Александрович зря ничего не прикажет — и готов был выполнять все его приказы. Митя Казанли и его друг Коля Корнеев улыбались, только по-разному: Митя — радостно, он непрочь пожить подольше в этом краю и ставить свои астропункты; Коля — кислоовато, его в Ленинграде никто не ждет... А у Цареградского — жена, дочери... Молчал и Эрнест Бертин. В приказе он почему-то не был упомянут и с хитроватой усмешкой выжидал, что же начальник подготовил для него.

Юрий Александрович сияющими глазами всматривался в друзей. Каждого из них он знал не хуже себя и догадывался, кто почему молчит. Начал с Бертина:

— Вам, Эрнест Петрович, я хочу дать особое задание.

— Н-н-на С-с-северный полюс?

— Почти. Мы — на юг, а вам на север. Знаю, что вы любите путешествовать, вот и поедете на перекладных в Якутск. Туда возвращается наш уважаемый Елисей Иванович Владимиров. Вы — вместе с ним. Он, как представитель Якутского ЦИКа, доложит своему правительству о работе нашей экспедиции, но он не геолог, а вы — и геолог, и брат очень почитаемого в Якутске Вольдемара Петровича. Вот вам и карты в руки — геологический отчет. Начинаете ратовать за Колыму в Якутске, затем едете на родной Алдан. Устраивает?

— В-в-вполне!

— Валентин Александрович, я знаю, что ваш маршрут не из легких. Макар Захарович, да и сеймчанские якуты говорят, что на этой старой тропе нет корма для лошадей, потому ее и забросили. Но это было давно, весьма возможно, сейчас трава выросла. А тропа эта, как известно, самая короткая и, вероятно, будет самой удобной для постройки дороги. Лошади ваши за лето приустали, я дал бы вам своих, более свежих, но мне предстоит идти гораздо больше...

— Нет, нет, Юрий Александрович, я пойду на своих.

— Вот и хорошо! Будете первым изыскателем Колымской дороги! Ну, а у вас, Сергей Дмитриевич, Дмитрий Николаевич и Николай Павлович, возражений никаких?

— Никаких, Юрий Александрович!

— Вот и отлично! Все довольны... В путь, догоры! Первого сентября Первая Колымская экспедиция вышла в обратный путь, в последние маршруты.

По звонкой, схваченной ночными заморозками, земле тяжело навьюченные лошади смачно затопали нековаными копытами. Солнце уже поигрывало золотом и багрянцем по склонам сопок, но еще не заглянуло в Среднеканскую долину, и бодрил холодок.

Несмотря на раннее утро и воскресный день, провожать отбывающих высыпали из бараков все старатели и конторщики. Прощание было недолгое, но неожиданно-негаданно трогательное. Даже те, с кем жили на ножах, напутствовали:

— Не поминайте лихом, ученые!

— Скатертью дорога, кобыла ваша мать...

И с такой же напускной грубоватостью разведчики отвечали:

— Шального вам золота, хищники!

Билибин по русскому обычаю троекратно облобызался с Оглобиным и Поликарповым, а те спросили в один голос: — Вернетесь?

Юрий Александрович ничего не сказал, но кудлатой головой кивнул так, что оба Филиппа — Диомидович и Романович — так же в один голос воскликнули:

— Будем ждать!

ОДИССЕЯ АРГОНАВТОВ

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ БИЛИБИНА

«1 сентября 1929 г. Воскресенье.

Выехали со стана прииска в 8 часов 10 минут...» — так начал последние записи в своем дневнике Юрий Александрович.

Все три партии — Билибина, Цареградского и Раковского — выступили вместе. Тропа от приискового стана до Бертинского зимовья была хорошо ухожена и каждому знакома. Билибин ходил по ней и зимой и ранней весной. Раковский не раз пересекал ее летними маршрутами. Чувствовали себя на этой тропе как дома, шли легко.

Когда обходили Среднеканский котел, где река, врезающаяся в гранитное ущелье, делает немислимую петлю и неистово бурлит, Юрий Александрович залюбовался высокими шеками обрывов и вслух подумал:

— Здесь можно гидростанцию поставить!

— Вполне! — поддержал Казанли. — Насыпать плотину, установить турбины, и Среднеканский рудник будет обеспечен самой дешевой энергией.

— А как думает Стамбулов?

Цареградский в это время думал о другом. Он уже видел себя в Ленинграде, с дочурками на коленях, рядом с женой. На Колыму он возвращаться не собирался. Она не оправдала его надежд: ископаемых флоры и фауны, достойных внимания науки или хотя бы дипломной студенческой работы, он не нашел, а бесконечные проекты Билибина, признаться, начали ему набивать оскомину: то «дело чести» и сплав по Боханче, то поиски дорожных путей, а теперь вот гидростанция.

— Не знаю, Юра, я всего лишь геолог-палеонтолог. Да и рудник-то под сомнением? Нужна ли будет ему гидростанция? Сначала корову покупают, а потом подойник.

— Мудро. Да, мы — геологи, но наша альма матер, наш родной Горный институт, чему нас только не учил, даже

машины чертить, за что я схлопотал единственную за пять лет тройку. А наука наша, наука о земле, геология, такая, что без нее ни дорожники, ни строители шагу не ступят. Все мы по земле ходим, за землю держимся и в землю уйдем. Но что-то и оставим на земле о себе! И рудник не под сомнением, Валентинушка. Я этого не говорил. Вернемся сюда с новыми силами, с техникой. Поставим на Среднеканской дайке специальную разведочную партию, и она выявит все ее богатства. Может, жила и не такая богатая, как показали пробы, но на рудник запасов хватит!

— Опять сон видел? Как овес у Раковского...

— Нет, такого сна не видел, но уверенность есть. Будет рудник и будет гидростанция. То и другое — наше кровное дело. Мы не только должны золото найти, но и дорогу к нему, и каменный уголь, и дешевую энергию — все, что нужно, чтоб взять это золото. А ты, я вижу, Валентинушка, устал, о жене и дочках скучаешь. Все мы устали и о ком-то скучаем, и я из того же теста, как ты, но иногда вдруг озарит идея, и сразу становишься бодрее.

— И стихами заговоришь? — улыбнулся Цареградский.

— Стихами не стихами, а на красноречие, бывает, тянет... А кстати, догоры, сознавайтесь, кто из вас назвал ключик, к которому приближаемся, Аннушкой? В честь какой красавицы? На Эрнеста Бертина не похоже, он у нас женоненавистник.

— Ребята его, — почему-то смущенно ответил Раковский.

Митя Казанли захохотал:

— Тут, Юрий Александрович, умора! В долине этого ключика пас оленей якут, тот самый Калтах с Буюнды вместе с дочкой красавицей Аннушкой, а на нее виды имели все: и Бертин, и я, и Сергей Дмитриевич, и многие. Все на этот ключик в разведку ходили. «Куда пошел? К Аннушке?» Так и называли ключик Аннушкой. Только эта Аннушка всем от ворот поворот! Я-то переживу, меня в Оле Дуса ждет, а они-то все с длинными носами остались.

Посмеялись. На незабываемом ключике Аннушка два часа отдохнули, почаявали.

«С Аннушки, — продолжил запись в тот же день Билибин, — выехали в 13.40. Дорога все время хорошая, по невысоким сухим терраскам, поросшим оленьим мхом. На ночлег остановились чуть ниже устья Левого Среднекана».

Здесь, на развилке речки, Юрий Александрович с Майорычем и якутом-проводником должны были отделиться

и взять направление на запад, по левому истоку Среднекане.

В восемь часов утра Билибин сказал:

— Ну, я пошел, догоры. Не опаздывайте на пароход. Не спите долго, как Митя,— и с усмешкой указал на неразобранную палатку.

Все хватились: звездочет-то не проснулся и не завтракал.

— Кого он во сне видит — Дусю или Аннушку? Снять палатку! — скомандовал Раковский.

Палатку мигом сняли и скатали, но Казанли с головой закутался в одеяло.

— Сдернуть одеяло!

И лишь оказавшись под открытым небом в одних трусах и майке, а шел мелкий дождичек, астроном-геодезист вскочил и стал искать свою одежду, как всегда развешенную где попало, и делать сразу три дела: наворачивать портянки, глотать, не жуя, остывшую кашу и запивать ее холодным чаем.

— С Митей не заскучаешь. Даже если будем зимовать,— смеялся Билибин.— Однако, ребята, всерьез поторапливайтесь, и ты, Валентин, постарайся прийти хотя бы к двадцатому. Если последний пароход действительно придет шестнадцатого сентября, то мы его денька на четыре задержим. Ну, до встречи, догоры, в дивном селении Ола!

В этот день Билибин записал:

«2 сентября, понедельник.

Всю первую половину дня шли легко и споро. На обед остановились у Бертинского зимовья. В нем пусто, но жилим духом еще пахнет.

14.45. Попали в такую осыпь, что кони чуть не поломали ноги. Развьючили и без груза переводили коней по одному на левую сторону ключа. Но и здесь и дальше, насколько хватает глаз,— бестропье и осыпи».

Юрий Александрович задумался:

— Ну как, дальше пойдем или?..

— Лошади обезножат,— сказал Майорыч.

— Наши люди тут не ходили,— ответил якут.

— Н-да, коли саха ноги не ломал, зачем нючи ломать,— усмехнулся Билибин и твердо объявил: — Значит, так. Дальше не пойдем. Этот вариант дороги придется отставить. Но и возвращаться на стрелку — опять ломать ноги. Барда, догоры, через перевал на Буюнду!

«17.55. Перевал в Правый Среднекан. Спуск крутой, длинный и очень трудно проходимый (заросли).

19.15. Стан.

3 сентября, вторник.

Выход в 7.45.

В борту около стана в речниках намыли очень мелкие знаки. По дороге все время глинистые сланцы. В 2 часа дня пошел дождь, довольно сильный и продолжительный, с громом.

4 сентября, среда.

С утра разясняется. Ночью на гольце небольшой снег.

Выехали в 8.00».

В этот день отряд Билибина выбрался на Буюндинскую тропу, в широкую Долину Диких Оленей. Дальше путь хорошо знаком: Хурчан, Талая, Эльген... По всем этим речкам Юрий Александрович проходил весной. Через неделю пути — Майманджанский перевал и так же прекрасно известная, пройденная год назад Ольская долина.

Юрий Александрович надеялся догнать партию Раковского. Шли по их пятам, костры раскладывали на их еще не остывших кострищах и на устье Маякана нагнали.

И здесь же столкнулись с небольшой связкой навьюченных лошадей. Ее вел на сплавную базу старший пасынок старика Медова Петр. Встретились как давние друзья, обменялись всеми капсе, расспросили:

— Как Макар Захарович? Жив?

— Жив! Жив! Хорошо жив!

— А пароход пришел?

— Пришел! Тайон — пароход!

— Надо спешить.

А через день опять встреча. Как тут не вспомнить слова Майорыча: «Тесно в тайге!». Но эта встреча была не из приятных. Юрий Александрович, делая последнюю запись в дневнике, черкнул о ней весьма кратко:

«16 сентября, понедельник.

Выход в 8.33.

Остановка на встречу в 9.00».

Так и было. До селения Ола ходу оставалось один день, к вечеру рассчитывали быть в уютных каютах парохода. Но лишь выступили, как через двадцать семь минут — стоп!

Дорогу преградил целый табор: штук пять палаток, множество людей, табун коней, и кто-то с утра пораньше уже горланит «Шумел камыш».

Билибин почувствовал досаду и предупредил своих, чтоб не останавливались, но самому пришлось все же задержаться, как отмечено в дневнике.

Из большой и единственной в этом таборе палатки явно заграничного образца, из белого голландского полотна, с целлюлоидными оконцами, вывалилась тучная, в полосатой тельняшке, фигура и накатила на Билибина:

— О! Улахан тайон кыхылбыл-ха-хах Билибин! Рад видеть! А я — новый король золота! Управляющий всеми колымскими приисками Степка Назарович Бондарев! Зови запросто, без комчванства, Степан Бондарь. Все так кличут. И прошу в мой кубрик! — и Степка Бондарь поволок Юрия Александровича в палатку, толкнул на раскладную походную кровать: — Садись! Пей и ешь что хошь! Коньяк, виски, сакэ! А ко мне никого не пущать! — крикнул он кому-то. — У меня с товарищем Билибиным кон... конф... искальный разговор.

— Конфиденциальный, — с усмешкой поправил его Билибин.

— Все равно! Наш брат-пролетарьят иностранным словам не обучен! Пей, улахан догор!

В палатке, заваленной медвежьими и оленьими шкурами, стоял умопомрачительный нездешний запах цитрусов. Апельсины, лимоны, мандарины были разбросаны где попало и горели, как маленькие солнца. На перевернутых выючных ящиках частоколом стояли бутылки с яркими этикетками.

Но Степка Бондарь перебил южный аромат винным перегаром:

— Пей! Жри! Как буржуй! — и полез целоваться.

Билибин отстранил его:

— Спасибо. Но я тороплюсь на пароход и уже позавтракал.

— Ха! «Позавтракал». Завтракают и кушают их благородия, а наш брат жрет, рубает. И к какому это пароходу изволите торопиться?

— Нам сказали: на Ольском рейде стоит пароход...

— Стоит! Но на него не посадят. Это сторожевое судно ГПУ «Воровский». На него сажают только махровую контру. А ведь ты не из ихнего отребья. Нам же вдвоем поднимать эту... золотую промышленность! Как там мой предметник Оглобин?

— Оглобин?

— Оглобин аль Оглобин — теперича все равно за бортом! Вот его на «Воровском» зараз бы посадили... Но я его сам посажу! И вымету! Он у меня почухает, как бить нашего брата! Ведь бил же он там?

— Кого?

— Коммунистов?!

— На приисках, кроме Филиппа Диомидовича, коммунистов нет, да и он пока не совсем партийный, то ли сочувствующий, то ли кандидат...

— А этого Филиппа, значит, бил? Контра!

— Филипп Диомидович — это и есть Оглобин.

— Ну, значит, рабочих бил, беспартийных большевиков. Нашему брату-пролетарьяту богатые делянки не давал, на сплав, на верную гибель посылал... Матицева, преданного нам красного спеца, выгнал! ГПУ все известно. И не зря вычистили тут всю махру! Пятерых — под суд! Двоих — из партии вон! И твоего друга... Помнишь?

— Какого еще друга?

— Ну, это я в закавычках... Ну, который у тебя в прошлом году спирт реквизиру... Ну, Глушенко! Неужели забыл? Он да еще его начальник Квилюнас за год состряпали сто тридцать фиктивных дел!

— С Глушенко сталкивался, а Квилюнаса не знаю.

— Узнаешь! Теперича о них весь край узнает. В газете пропишут, как они меня, Кондратьева и еще двоих наших заарестовали и били незаконным образом! Да с лозунгом: «Коммунисты (это мы) хотят разогнать Советы — бей коммунистов!». Это — нас! Ясна политика? Советы без коммунистов! Кто так говорил?

Билибин знал, кто так говорил, но отвечать не захотел: было противно слушать пьяную болтовню Степки Бондаря, да и не все было понятно, что он городил.

— А все из-за чего сыр-бор? Я тебе скажу по-свойски: у нас-то, у Союззолота, — коньяк и спирт, а у тузрика — один сухой закон, хе-хе. А выпить там тоже не дураки. Вот и пришел к нам этот Квилюнас, бывший чинодрал, золотопогонник. Пришел реквизиру спирт накануне приближающегося Международного юношеского дня! Кумекаешь политику? Но мы ему показали Мюд! — Бондарев сунул кукиш почти под самый нос Билибину. — Но это между нами... А официально вычистили тузрик за противодействие золотой промышленности и другие контрреволюционные дела. Это с ихней стороны тоже было махрово! И другая подоплека — текущий момент. Слышал, что на КВЖД творится? Не слышал. Но еще услышишь и увидишь, когда поедешь в поезде. Там, брат, такое творится — война, одним словом. Конфликт на КВЖД! Пока вы тут по тайге прохлаждаетесь, там наша кровь льется. А кто из нас кровь пущает? Недобитые беляки. Вот такие, как Квилюнасы

да Глушечки. Они там, а эти тут били нас. Но ничего... Наша взяла! Пей за нашу победу! И переходи работать к нам. Официально говорю. Оклад положу высший и спецпаек. Рубать будем, как их благородие, коньяк с лимончиком...

— Так пропьешь всю Колыму.

— Ну, и черт с ней!.. Другую найдем... Иди!

— Я еду в Москву делать доклад.

— В Москву? Доклад? Это хорошо! Там и обо мне не забудь доложить. Степка Бондарь — большевик с дооктябрьским, июньских дней, стажем! Бывший красный моряк и выдвигенец от сохи! Потомственный пролетарий... Командирован на прииска Далькрайкомом. Доверие оправдает! Так и доложи. А сам возвращайся ко мне. Мне такие спесы нужны...

Билибин встал и, не пожав протянутую руку Бондарева, вышел из палатки. Своих он догнал у Хопкэчана, где жил Макар Медов, и в тот же день, 16 сентября, торопливо занес в дневник самое последнее слово:

«18.35. Хопкэчан».

СИБИРЬ БУМАГА ЦАРЕГРАДСКОГО

Отряд Цареградского в пути задержался.

Каюр Алексей, молодой крепкий якут с необычной фамилией Советский, вдруг захныкал:

— Моя туда не иди. Моя туда иди, — и замахал руками, куда пошел Раковский. — Наши люди туда иди. Буюнда иди. Мякит не иди. Мякит камень бар, корм суох. Подыхай конь. Все подыхай.

— Нет, Алексей, ваши люди в Мякит ходили. Макар Медов ходил. Кылланах ходил. Знаешь их?

— Макарка — глупый, тунгус убьет его. Кылланах — сопсем старый, ума суох, бога перит. А моя не перит... Бог суох.

— Это хорошо, что ты в бога не веришь. А Билибину веришь? — спрашивал Игнатьев. — Его ваши люди зовут большим краснобородым начальником. Как это по-якутски?

— Улахан тайон кыхылбыттытах.

— Во! Ты ему, улахан тайону, веришь? Ты обещал ему вести нас по этой тропе?

— И Владимиру из Якутского ЦИКа обещал? — спросил Цареградский.

Каюр на вопросы Игнатьева и Цареградского не отвечал.

Валентин выхватил из полевой сумки первый попавшийся лист:

— Вот приказ! Билибин и Владимиров писали. Грамотный? Читай: «Алексею Советскому...» Читай!

Алексей Советский взял листок, важно повертел и вернул:

— Бумага.

— Как это — бумага? Это приказ Билибина и Владимира. А они, прежде чем писать, у ваших людей доподлинно узнали, что тропа, по которой ты поведешь, самая короткая и вполне проходимая. По этой тропе построят большую дорогу. Улахан дорогу! И ты по ней поедешь на автомобиле! В приказе так сказано.

— Симбир бумага.

Тогда Валентин извлек карту, изданную Геолкомом, на которой не только троп, но и рек-то таких, как Герба, Мякит, Малтан, не было.

— Смотри! Эту карту составили академики, шибко ученые люди. Они все знают. Вот здесь нанесена наша тропа и точно указано, что камней немного, а трава есть...

Алексей посмотрел с любопытством на ярко раскрашенный листок и опять:

— Симбир бумага.

— Заладил, скаженный: симбир да симбир! И шо только это значит — симбир? — возмутился всегда добродушный Яша Гарец.

— Все равно бумага, — перевел сам якут.

— Значит, ты никому не веришь? Своим красным якутам не веришь? Билибину и мне не веришь? Приказам, картам и планам нашим не веришь? Все у тебя — симбир бумага. И какой же ты после этого Советский? Кто тебя Советским назвал? И за что? — напирал Цареградский. — Боишься идти — не ходи. Пойдем без тебя. А ты возвращайся домой, я тебе записку дам, что коней мы вернем, а погибнут — заплатим. Но твои люди скажут, что ты трус, русских бросил.

Это было слишком. Поторопился вмешаться дипломатичный Игнатьев:

— Ну, хорошо, саха. Давай договоримся, догор. Пойдем сначала этой тропой. Если встретим непроходимый камень и не будет корма для лошадей, то вернемся и пойдем твоей тропой. Согласен?

Якут поплелся к своей лошади, уткнулся лбом в ее морду, долго стоял так и что-то шептал. Потом опустился перед ней на колени.

— В бога не верит, а кобыле молится,— засмеялся Яша.

— Пусть молится. Пережитки анимизма,— остановил его Валентин,— лишь бы согласился...

Алексей вернулся:

— Твоя дорога иди, Тукур Мурун.

Тукур Муруном за кривой нос якуты прозвали Игнатьева. Он не обижался. Теперь он крепко обнял якута:

— Давно бы так, догор саха!

Двинулись. Но не прошли и полдня, как попали в болотину. Лошадей вынуждены были развьючивать, груз перетаскивать.

Алексей опять заворчал:

— Симбир бумага — карточка. Марь баар, а на карта суох.

Ему не возражали, лишь бы не перешел от ворчания к худшему. Провозились долго. На правый берег Гербы переправились только на другой день, да и то поздно вечером. Недалеко от устья, по-видимому, Мякита остановились на ночевку.

Цареградскому не спалось. Какая впереди долина? Может, и в самом деле камней много, а травы нет. Вчера одна лошадь припадала на переднюю ногу. А как пойдут дальше, по камням? Лошади заметно устали. Неужели придется возвращаться на Буюнду? Так и на пароход опоздаешь...

Плохие прогнозы не подтвердились: шли по долине Мякита день, другой, третий, вывершили ее, а река была как река: с косами, с островами, с тальниками, камней не так много, а травы вполне достаточно. Лошади за ночь хорошо подкармливались, и та, что прихрамывала, перестала хромать.

— Ну, как, догор Советский, симбир бумага — моя карта?! — ликуя, спрашивал Цареградский.

Но ликовать было преждевременно. Взорались на перевал — прихватила пурга, самая настоящая пурга в середине сентября. Закрутило все вокруг — и днем ни зги не видно. Снег сначала сырой, потом сухой и жесткий. Одежда сперва промокла, затем заледенела.

Врезались в какое-то ущелье. Камень, щебень, глина — и все под снегом. Лошади спотыкались, скользили, сбили копыта в кровь. Тянули их на коротком поводке и сами выбились из сил. Еле держались на ногах.

Когда выкарабкались на седловину водораздела, снегопад кончился, прояснило. Но не успели облегченно вздох-

нуть — новое дело: долина, которая открылась с перевала, показалась очень знакомой. Цареградский уткнулся в компас, схватился за карту и удостоверился, что долина, уходящая на север и на восток, — не Малтанская, не Бохапчинская, а скорее всего та же Буюндинская. В мареве горизонта Валентину даже померещились знакомые очертания тальских вершин...

— Долина Диких Оленей? — тихо спросил он якута.

Алексей будто не слышал, нахмурился.

— Буюнда? — спросил Игнатьев.

И тут Алексей Советский запрыгал от восторга:

— Буюнда! Буюнда! — и тыкая в карту, весело вопил: — Симбир бумага! Симбир бумага!

Выражение «симбир бумага» много лет будет вспоминаться участниками экспедиции и не только в отношении недостоверных карт, а и прочих документов, заверений, мягко говоря, не соответствующих действительности...

Игнатьев покачал головой:

— Симбир бумага! От чего шли, к тому и пришли. А это и хорошо, Валентин Александрович! Задание Билибина мы выполнили: долину Мякита вывершили, убедились, что она проходима и на самом деле короче. Теперь можем спуститься в Буюнду.

Валентин Александрович глянул вниз. Спуск крутой, обрывистый, глубокий, — костей не соберешь.

— Нет, спускаться нельзя. Если даже все сойдет благополучно, то все равно дорогу здесь не проложат. Надо найти удобный перевал. Да и вывершили мы не тот Мякит: поднимались по его правому истоку, а надо было по левому... Пошли назад, к развилке Мякита...

Лишь на другой день по левому истоку Мякита перешагнули в долину реки, которая, по всем соображениям, впадает в Малтан или Бохапчу. Она повела на юг. И хотя потом круто повернула на запад, а времени оставалось очень мало, Цареградский, чтобы больше не плутать, твердо решил держаться ее течения.

Дошли до самого устья и оказались как раз на том месте, где зимой встретили тунгуса и от него узнали, что люди Билибина на Среднекане. Теперь с еще большей уверенностью двинулись вверх по правому берегу Малтана. На косах меж кустов попадались обломки досок, весел, обрывки веревок — следы последнего сплава. Через день вступили в Элекчан.

Тут уже был поселок: постройки, склады, палатки, но без людей. Один лишь заведующий, он же и кладовщик

и сторож перевалбазы — высокий, плечистый старик с раздвоенной пышной бородой.

— Не боишься, отец, с таким богатством?

— А кого? Туземцы чужое не тронут, разбойников пока нет, разве медведь, да и он теперича сытый, спать ложится.

— Билибин здесь не проходил? Знаешь его?

— Кто ж его не знает? Мужик заметный, борода, как у меня. Однако, не проходил.

— И Раковский, длинноносый такой, не проходил?

— Никто не проходил. Располагайтесь, хором много, харча вдоволь...

— Нет, нам некогда. А записку, пожалуй, оставим.

Валентин набросал:

«Юрий! Долину Мякита прошли. Она вполне проходима и может служить для постройки дороги. Мы идем медленно, не больше 20—25 км в день. Лошади сильно сбили копыта и почти вышли из строя. Но надеюсь быть в Оле к назначенному сроку. Выходим на последний перевал. Дого- ний!»

В. Цареградский. 16 сентября 1929 г.».

Последний перевал был памятен Валентину. Почти год назад он с отрядом Бертина пережил здесь много неприятных часов, после которых отказался от попытки пробиваться по глубокому снегу на Колыму и вернулся в Олу, оставив Бертина, Игнатьева и еще двоих. И сейчас этот злосчастный перевал не сулил ничего хорошего, хотя большого снега не было, местами желтела сухая трава...

— Родные места! — возразился Игнатьев. — Поохотились мы здесь с Эрнестом! Куропаток руками хватали! Зайцев лжами давили!

— И сами чуть... — не договорил Цареградский.

— Демка сюда прибежал. Всех перепугал... Нет, места тут хорошие, и страшного ничего нет. Через час перевалим.

Игнатьев оказался прав. Как-то незаметно, без особого труда поднялись на плоскогорье. Здесь у подножия высокого гольца росла корявая лиственница, ветрами скривленная на юг. Она еще золотилась мягкой хвоей и красовалась, обвешанная разноцветными лоскутками, ленточками — знаками благодарности тунгусов какому-то богу за успешно преодоленный перевал.

Возле священной лиственницы случилась и приятная встреча. Связка навьюченных лошадей, очередной транспорт с провиантом для приисков шел на Элекчанскую перевалбазу.

— Доробо, догор! — протянул руку якут, и Валентин узнал в нем Петра Медова.

Первые вопросы:

— Билибина не видел? Раковского не встречал?

— Улахан тайон кыхылбыттытах — тама! Тайон Мурун — тама! Псе баши люди тама! — весело махал обеими руками якут в сторону Олы.

— А пароход есть?

— И пароход тама! Улахан пароход «Поропский»!

— «Воровский»?

— О-о! Тайон пароход!

— Надо спешить.

До Ольского селения оставалось дней шесть хорошего пути. Но лошади вконец обезножили. Мучительно жалко было поднимать их по утрам. Часа через четыре они расхаживались, вроде переставали хромать, и тогда решались подстегивать их прутиками.

Валентин все больше подумывал, не отправиться ли ему одному, налегке, чтоб успеть к пароходу и предупредить: остальные идут. Но километрах в шестидесяти от Олы опять, как в повторном кино, та же задержка, та же встреча, что была и у Билибина, с тем же непросыхающим Степкой Бондарем и та же пьяная болтовня о какой-то чистке, и то же приглашение:

— Иди ко мне геолухом...

— Но я не совсем геолог, а палеонтолог, специалист по ископаемой флоре и фауне...

— К черту спецов и всякую флору! Будешь официально главным геолухом!

— Мы с Билибиным должны возвратиться в Ленинград и составлять отчет.

— К черту Билибина, Ленинград, отчеты!..

— И сделать доклад правительству.

— Я официально хочу спать. Завтра покалякаем... — и Бондарь повалился на оленьи шкуры.

Цареградский, Игнатьев, Гарец выбрались из палатки и, благо лошадей они не развьючивали, а весь табор мертвецки дрыхнул, поспешили вперед. С наступлением темноты, не разжигая костра, натянули палатку. Всю ночь кони тревожно ржали.

На рассвете увидели, что ночевали на медвежьей рыбалке. Ее хозяин разогнал коней так, что целый день их пришлось искать. Валентин окончательно решил оставить отряд и пошел пешком один.

Еще не брезжило, когда он добрался до юрты Макара

Медова. Валентин почувствовал какой-то холодок в старике:

— Перевези, догор, очень тороплюсь.

Макар Захарович отказывался, говорил, что у него лодки своей нет... Валентин хотел броситься вплавь, стал разуваться.

— Той,— остановил якут и пошел куда-то вверх по реке.

Через полчаса подбечевал долбленку:

— Тунгуска.

Втиснулись в узенькую ветку, и Медов, стоя, ловко орудуя одним шестом, погнал ее наискось течения.

— Как у тебя с тунгусами-то? Помирились?

Макар не отвечал.

— В тузрик обращался?

— Петка бумага писал.

— Ну, и что? Тузрик отменил приговор туземцев? — допытывался Валентин, но старик молчал, и Цареградский понял почему: — Симбир бумага?

— Симбир бумага,— согласно покачал седой головой якут.

— Ну, ничего, все уладится. Тузрик, говорят, здорово почистили? Теперь новый тузрик! Ты на чистке был?

— Была моя.

— Ну, и что? Как было-то?

Медов, как все туземцы, прежде охотно делился новостями-капсе, но на этот раз выдавил из себя всего одну фразу:

— Берлога одна, медведей много.

Валентин больше не расспрашивал ни о чем, расспросился на другом берегу и скорым шагом полетел в Олу.

— Баши — школа! — крикнул вдогонку якут.

— Понял, Макар Захарович! Спасибо, догор!

Двадцать с лишним верст Цареградский отмахал за какие-нибудь три часа. Ольская деревня, когда подошел к ее околице, еще спала. Даже собаки и те не встретили своим обычным бешеным лаем. Одна лениво потявкала, другая завывала, третья подхватывала, и тоскливый скулеж, как бывало перед пургой, заскрежетал по сердцу, наполняя его недобрыми предчувствиями. Где находилась школа, Валентин знал хорошо и в полутьме, никого не спрашивая, кратчайшими тропинками устремился к ней.

С порога закричал:

— Юра! Сережа! Здесь вы еще?..

Ольская смута заварилась еще в прошлом году из-за перевозок. Нужно было перебросить на Колыму двадцать тысяч пудов грузов. Кое-как, мобилизовав всех лошадей и оленей, за зиму выкинули на Элекчан четыре тысячи, и это объявили «историческим моментом».

Все неурядицы сваливали друг на друга. Агенты Союззолота считали, что местная власть им не помогает в организации туземного транспорта, и обзывали тузриковцев правыми уклонистами, а тузриковцы — агентов, требующих от местного населения невозможного, левыми загибщиками.

Спирт, впервые завезенный не контрабандным, а открытым путем снабженцами Союззолота, был как масло, подливаемое в костер правых и левых. Тузрик и его фактория «огненной водицы» не имели, а надобность в ней была то на медицинские, то на увеселительные цели, вот и пытались накладывать на спирт арест, конфисковывать его у Союззолота. Как тут не разгореться сыр-бору.

25 июля 1929 года, незадолго до Международного юношеского дня, начальник районного административного отдела (рао) Иосиф Квилюнас пришел к заведующему агентством Союззолота Кондратьеву за очередной данью к празднику, а этот был на взводе, с ним еще такой же подогретый Бондарев... Начрао вернулся в исполком с пустыми руками и на стол предтузрику — рапорт: он, начрао, согласно указаниям тузрика, хотел опечатать только что привезенный спирт, а они, Кондратьев и Бондарев, не позволили и заявили, что Марин и его тузрик тормозят работу агентства, что они, поименованные Кондратьев и Бондарев, вышли с ходатайством об исключении Марина из партии и устранении его от обязанностей предрика и вообще выбросили лозунг «Долой рик!».

29 июля Марин послал телеграмму в окрисполком:

«Бондарев и Кондратьев 27 июля пришли рик официально заявили зпт именем партии и Советской власти снимают райисполком и от имени какого-то оргбюро назначают новый состав тчк я им разъяснил зпт такого порядка не существует сдавать управление районом никому не могу тчк тогда они меня арестуют при помощи вооруженной силы тчк телеграфируйте указания тчк Марин».

К этому времени в Оле был установлен радиотелеграф. Телеграмму в Николаевске получили, но указаний почему-то никаких не дали. На другой день, 30 июля, Марин

собрал тунгусов и якутов Гадли на сходку. Председатель сельсовета Петр Александров сделал доклад о событиях в Ольском тузрике. Вынесли резолюцию в таком духе: население за Марина, он защищает наши интересы, а Кондратьев и Бондарев обманывают нас, Союззолото — плут-контора.

После этого прошел месяц. Марин сидел в своем тузрике как на горячих углях: ждал указаний окрисполкома и выстрелов в окно. Ни того, ни другого не было.

30 августа тот же начрао Квилюнас опять прибежал с докладной. Марин срочно собрал внеочередное заседание тузрика, на котором Квилюнас информировал:

— Сотрудник агентства Союззолота Кондратьев в квартире частного гражданина с оружием в руках грозил и кричал, что в тузрике все белобандиты, мы сегодня вооружим всех своих рабочих и арестуем весь рик, Марина и других.

Постановили: Кондратьев, Бондарев, Сурко, Беляев и другие проделывают это неоднократно. Чтобы пресечь эти выходы в будущем, предложить начрао немедленно изъять у них оружие до выяснения.

Вместе с Квилюнасом отправились разоружать сам Марин, секретарь рика Диомид Стреха, член рика, бывший милиционер, а теперь завфакторией Глущенко. Операция по разоружению прошла более чем успешно. Кондратьева, Бондарева, Сурко поочередно не только разоружили, но и за попытку оказать сопротивление арестовали и посадили в пустой амбар.

Арест произвели 31 августа в четыре часа пополудни, и тотчас все участники операции собрались на заседание рика. Начрао доложил, что всех арестовали по всей форме и по статьям 58-1, 59-1, 73 и 113 Уголовного кодекса.

Арестанты сидели под стражей недолго. На другой день, 1 сентября, на Ольском рейде бросил якорь «Воровский». Поговаривали, что его прибытие произошло не случайно, а якобы потому, что жена Кондратьева приносила мужу в кутузку ужин и по его просьбе послала «молнию». Телеграмму получили на «Воровском», а там у Кондратьева друзья, они и поспешили на выручку своему товарищу. Но так рассказывал сам Кондратьев. На деле было иначе.

В 1929 году в связи с конфликтами на КВЖД по решению ЦК ВКП(б) проводились чистки партийного и советского аппарата в пограничных районах. Прибытие в Олу «Воровского» с комиссией по чистке лишь случайно совпало с ольской смутой и арестами.

2 сентября всех арестованных выпустили, и в этот же день граждан селений Ола и Гадля созвали на чистку. Чистили Марина, Стреху, Бровина, Глущенко, Педаренко, Якушкова, Чухмана, Михайлова, Квилюнаса, Кочерова, Бондарева, Кондратьева, Даниловича, Сурко, Панова, Бушуева, Королева, Оглобина, Поликарпова, Овсянникова, Церетелли, Канова, Богданова. Шестерых последних, служащих приисковой конторы, в Оле не было, их чистили заочно. Чистка длилась два дня.

Первым перед комиссией предстал Марин, высокий, смуглый, с поникшей головой, похожий на когда-то грозную хищную птицу, но опустившую крылья.

— Марин Иван Хрисанфович, член ВКП(б) с тысяча девятьсот двадцать первого года, образование низшее, служил в Красной Армии, председатель Ольского рика, — объявил председатель комиссии Павловский и сразу же задал вопрос: — Коммунистов бил?

Марин помялся:

— При аресте ударил коммуниста Кондратьева, так как необоснованное его заявление задело мое самолюбие...

— Он и жену бил! — выкрикнул кто-то.

Каждый имел право выкрикивать что угодно, и каждый выкрик, вопрос заносился в протокол.

— Стреха Диомид, беспартийный, секретарь рика...

— Он кричал: «Бей коммунистов!»

— Кричал?

— Был в сильном возбуждении... не помню...

— Квилюнас Иосиф, начальник рао, прежде служил в царской армии унтер-офицером, за восемнадцать дней создал шестьдесят четыре фиктивных дела, во время ареста не предъявил ордера...

— Я был слепым орудием. Марин сказал: или нас — или их!

Дошла очередь и до Кондратьева.

— Кондратьев Владимир Иннокентьевич, член ВКП(б) с тысяча девятьсот двадцатого года, служил на Красном Флоте...

— Пьяница! — крикнул кто-то.

— Пьешь? — спросил председатель.

— Пьян не бываю, но без вреда делу и обществу выпиваю...

Высказывались лишь враждующие стороны. Не причастные к ним молчали. Их приходилось вызывать. Попросили выступить и Макара Медова, пожалуй, самого старшего и почтенного из туземцев, присутствовавших на чистке.

Он много говорить не стал, повторил то, что сказал Цареградскому:

— Берлога одна — медведей много.

Его мудрую краткую речь занесли в протокол полностью и даже с припиской: «Из-за этой вражды страдает наше хозяйственное строительство в крае», чего неграмотный старик сказать, конечно, не мог, но по сути все было правильно.

О результатах этой чистки «Тихоокеанская звезда» общала:

«Комиссия по чистке членов и кандидатов ВКП(б) и советского аппарата Восточного побережья Камчатки и Охотского района прибыла из Петропавловска в Олу в составе Павловского, Пупкова и Вельмякина. Они здесь были изумлены и недовольны. Здесь расцвел душистый махровый цветок разложения — неработоспособный партийный и разложившийся советский аппарат.

Во главе РИКа стоял сын зажиточного крестьянина Марин. Комиссия исключила его из партии, сняла с работы и передала суду. Марин был связан с чуждыми элементами, всячески отстранял от работы коммунистов. Не оставившись перед вредительством, создавал тормозы в работе Союззолота. Разогнал ячейку ВКП(б). Секретарь ячейки т. Кондратьев, управляющий приисками т. Бондарев, практикант по горному делу т. Беляев и начальник ведомственной милиции т. Сурко арестовывались и избивались. Марин выдвинул лозунг: «Коммунисты намерены разогнать Советы, поэтому бей их!».

Чуждые Советской власти элементы — счетовод Бровин, секретарь рика Стреха, помощник заведующего факторией Глушенко, бывший белогвардеец Тусский с остервенением избивали коммунистов: «Бей их, мерзавцев! Попили нашей крови!» К этому прибегал некто Квилюнас, сын помещика, бывший чиновник в канцелярии камчатского генерал-губернатора, участник колчаковщины. В Оле он стал начальником милиции и здесь для видимости создал 130 фиктивных дел...

При проверке Ольской парторганизации из 6 членов ВКП(б) двое исключены из партии, строгие выговоры получили два человека. Из советского аппарата из общего количества 23 проверенных по первой категории вычищено 10 человек, с одновременным преданием суду 5 человек, по третьей категории — 1 человек».

ВДОГОНКУ ЗА «ВОРОВСКИМ»

Юрий Александрович бросился к берегу, но никакого парохода на рейде не было, лишь сигнальные огоньки мигали у горизонта.

— Билибин? Опоздал, друг,— поднялся с галечной косы какой-то мужик.

По шипловатому голосу Юрий Александрович узнал Владимира Кондратьева. В темноте-то принял его за прибрежный камень и, запыхавшийся, усталый, намеревался сесть на него.

С Кондратьевым в последний раз Билибин виделся в мае, на Элекчанской перевалбазе, перед сплавом. Расставались как хорошие знакомые, Юрий Александрович поблагодарил секретаря партячейки за поддержку в борьбе с Матицевым.

— Опоздал, товарищ Билибин,— со вздохом повторил Кондратьев.— Вон видны одни огоньки «Воровского»...

— Да, опоздал,— вздохнул и Юрий Александрович.— А все Степа Бондарь! Два часа тридцать три минуты держал меня...

Кондратьев не уловил в голосе Билибина ноток проклятий Бондареву, так же горестно продолжал:

— Разъехались мои дружки-приятели в разные стороны, Степа — в тайгу, а эти — в море. А у тебя кто там, на «Воровском»?

— Никого. Я надеялся вместе с ними на материк выехать.

— А это не поздно. Мы их догоним! Мигом!

Билибин испытующе глянул на Кондратьева: пьян или смеется?

— Вон шлюпка Александра. Реквизнем у кулака как класса! И вдогон.

Билибину было не до шуток, отмахнулся от Кондратьева.

— Всерьез говорю — поплыли! «Воровский» пока полуостров обходит, пока в бухте Нагаева уголь и воду берет, мы ему вдогон и наперерез! До полуострова за пару часов дойдем, а там перевалим хощь на культбазу, у них катеришко, а то сиганем через сопки прямо под Каменный Венец, где «Воровский» стоять будет.

Юрий Александрович согласился не сразу: Кондратьев «под мухой» и отправляться с ним вдвоем ночью в плавание рискованно.

А тот будто угадал его опасения:

— Не трусь! Я моряк бывалый, на этом «Воровском» четыре года палубу драил. У меня там дружки боевые. Они меня в партию принимали. Для меня все сделают. Садись на весла!

Юрий Александрович сел. Шлюпка полетела как чайка. Полная луна, низко висевшая над сопками полуострова Старицкого, раскатала навстречу серебристую дорожку. По ней и плыли.

Кондратьев греб споро и все говорил о чистке, лихо и весело говорил:

— Меня за пьянки пожурили, строгача всыпали, сняли с секретарей, а в должности-то повысили! Теперича я заместо контрика Тусского завагентством! Степку тоже за это дело причесали и тоже заместо Оглобина — управляющим на прииски!

Юрию Александровичу претило его хвастовство, как и болтовня Степки Бондаря, но обнадеженный тем, что этот бывший краснофлотец поможет выехать на материк, он не прерывал рассказчика. Лишь спросил:

— А Оглобина — за что? И Поликарпова?

— Лежаву-Мюрата в крайцентре рубанули, а они, Оглобин и Поликарпов, — его ставленники.

Билибин хотел сказать: ведь и ты поставлен Мюратом, но не успел. Кондратьев зашептал, будто кто мог услышать:

— Мне дружки с «Воровского» намекнули, а я тебе по секрету скажу... Помнишь Миндалевича? Он, стерва, на Лежаву накатал. А Матицева помнишь, называл себя «очи Союззолота»? Лежава и Оглобин под зад коленом его, а он на них накатал. Он, курва, на всех накатал: и на меня, и на тебя, поди... Но у меня — верные дружки! А ты, как присланный Москвой, местной чистке не подлежишь. О тебе Матицев клязу, поди, в Москву настрочил. Приедешь — узнаешь.

— А что он мог настрочить?

— О, товарищ Билибин, такие грамотеи такое насочиняют — век не отмоешься. Напишет, с Оглобиным водку пил — вот тебе бытовая смычка хозяйственника и спеца на почве пьянства. Напишет, не давали старателям бить шурфы на богатых делянах, обзывали их хищниками — вот тебе издевательство над рабочим классом и контрреволюция.

— Так они пески копают где вздумают, золото тайком японцам сплавляют... Разве не хищники? Сам же таких рабочих называл не шурфовщиками, а шуровщиками...

— Обзывал. Но непойманный — не вор. Я тебя не страшаю, Юрий Александрович, а упреждаю как партизана беспартийного товарища. Ведь вашего брата-спеца и так и эдак повернуть могут. И помнишь по гроб жизни стерву Матицева. Мало мы его, тюленя, колотили! Протокол того собрания хранишь? Держи — поможет. Там партячей-ка и профком свое крепкое слово сказали...

Юрий Александрович задумался. Неужели Кондратьев, этот простоватый мужик с топориным лицом окажется прав и он, Билибин, должен будет помнить всю жизнь какую-то мелкую сволочь Матицева?..

...За свою короткую жизнь Билибин, опираясь на металлогенические закономерности распределения полезных ископаемых, им же установленные, откроет немало интересных месторождений золота. Но тернист будет путь к открытиям: «пока прогнозы не подтверждаются, меня все ругают, начиная от академиков и кончая последней мелкой сволочью».

Признание придет лишь в 1946 году, когда ему присудят высокую премию и изберут в Академию наук. Тогда же, отвечая на поздравления, он напишет своему колымскому сподвижнику Казанли:

«На старости лет (Билибину было 45) я задумал предпринять «вторую эпопею» в своей жизни и с целью проверки некоторых своих металлогенических построений соорудил довольно крупную экспедицию в Тувинскую автономную область. В июне мы с женами и детьми отправились в Туву и сейчас только что вернулись. Жили довольно хорошо, местность прекрасная. Геологически район оказался очень интересным. Мои металлогенические предположения подтвердились, сейчас работы сильно расширяются, и экспедиция действительно превращается в целую эпопею. В некоторых отношениях имеется сходство с Колымой: было достаточно склок, были «матицевы» и «завхозы», в перспективе имеются «шурь» и другие».

И на старости лет Юрий Александрович не забывал Матицева. Его фамилия стала нарицательной, как и Шура, о котором на Колыме сложат сатирическую поэму «Шуриада». Матицевы, шурь и другие входили в историю с черного хода, с черной завистью, пакостили немало, и история должна помнить об этом.

Протокол того собрания, о котором говорил Кондратьев, Юрий Александрович хранил в своем личном архиве до

конца жизни, а после смерти он вместе с другими документами, с рукописями и детским рукописным журналом «Уютный уголок» поступил на вечное хранение в архив Академии наук.

Слух о смерти Билибина разнесся по Колыме еще до войны. Но на запрос своего встревоженного друга, Петра Михайловича Шумилова, Юрий Александрович из Ленинграда радировал:

«Жизнеспособен, как никогда. В мае собираюсь защищать диссертацию. Слухи о моей смерти несколько преувеличены. Интересуюсь подробностями. Шлю большой привет. Билибин».

«Защищаю диссертацию», «Борьба продолжается», «Опять возобновляю войну», «Предпринимаю вторую эпопею...» — и так до последних дней своих, пока инфаркты и гипертония, заработанные с помощью недругов, не успокоили навечно этого русского богатыря, едва перешагнувшего полувековой рубеж своей жизни... И на Литераторских мостках Волкова кладбища рядом с могилой его друга академика Сергея Сергеевича Смирнова, рядом с прахом Александра Блока поднялся памятник Юрию Александровичу Билибину, выложенный квадратиками его любимого родонита, темно-розового орлеца...

Последователей у выдающегося ученого много. Академик Николай Алексеевич Шилов, председатель президиума Дальневосточного научного центра Академии наук, сказал, что «помнить о нем должны даже те, кто никогда не учился у Билибина. Потому что, по сути дела, все советские геологи — его ученики».

...Шлюпка вошла в бухту. Луна скрылась за Каменным Венцом. Светлая серебристая дорожка оборвалась. От скалистых берегов легла на воду и лукоморье густая тень.

Билибин, раздумывая о неприятностях, ожидающих его, слушал Кондратьева вполуха, а тот продолжал:

— Лежава и Оглобин в обиду себя не дадут, правду найдут, в РКИ или самому Калинин напишут. А Поликарпыча жаль. Мужик добрый, всякую зверюшку приласкает, а себя защитить постесняется. Выкатили на него бочку с дегтем его бывшие дружки, а им вера, потому как местные, а он пришлый. Да и припелся сюда при атамане Бочкареве, мобыть, и были у него какие делишки с белой бандой. А на чистке все принимается во внимание, и темное прошлое. Ну вот и приехали, Юрий Александрович. Гребь

правой, а то на камни наскочим. У тебя-то какое прошлое? Не темное?

— Из дворян я,— твердо и даже с вызовом кому-то ответил Билибин.

— Ври! — не поверил Кондратьев и засмеялся.— С такими лапищами, как у тебя, булуги ворочать. У их благородий таких ручек не бывало. Веселый и крепкий ты мужик! Свой в доску!

С разгону шлюпка закричала по прибрежной дресве. Сколько смогли, подтянули ее и причалили к большому валуну.

По крутому распадку продирались сквозь густой ольховник и кедровый стланик к подножию самой высокой сопки, что вершиной, похожей на замок, вырисовывалась на занявшемся рассветом небе. Но, спотыкаясь о камни и корневища, то проваливаясь в мочажины и ямы, коварно прикрытые багульником и карликовыми березками, перли напролом. Впереди, как сохатый, Кондратьев, зная, не за одни ноздри прозывали его Лосем. Билибин не отставал.

Утро было холодное. Вокруг поблескивала изморозь. А с Кондратьева и Билибина градом катился пот. Облегченно вздохнули, когда выбрались на перевал, где обдало свежим ветерком. К этому времени рассвело, и с высоты открылась вся бухта Нагаева.

Юрий Александрович увидел ее впервые да еще в такой час, в который при восходящем солнце все розовело: и сам воздух с редким туманцем, и склоны сопки, и спокойная, без единой морщинки, вода. Кондратьев, не останавливаясь, попер вниз, в дебри, и они скрыли всю красоту, лишь в прогалинах, меж кустов, сверкали, будто кусочки отшлифованного родонита, воды бухты.

Продирались долго, пока не вышли к глубокому распадку, а потом бегом спускались по водопадному ключу и, наконец, в маленьком заливишке, что у подножия Каменного Венца, увидели крохотный, словно игрушечный, кораблик.

— Вот и «Воровский»! Нас ждет.— И Кондратьев, сложив рупор ладони, закричал: — Ге-гей! Братва!

Матросы, занимавшиеся погрузкой угля, встретили Кондратьева с удивлением:

— Вот лось! Как ты догнал?

— Спрашивай. Доставил начальника экспедиции. Ему нужен капитан. Дело есть.

Вместе с углем подняли на палубу Билибина. Провели в капитанскую каюту. Там был и командир охраны. Они

с недоумением и даже подозрением смотрели на Билибина. Он будто с неба свалился — обросший, как дикарь, испачканный углем и до блеска потный. Но выслушали его внимательно.

Командир, долговязый и суровый, держа руку на широком ремне, сказал капитану:

— Надо помочь. Золото везут. Груз секретный, валютный.

Капитан ответил раздумчиво:

— Если вернемся на Ольский рейд и простои́м там хотя бы сутки...

— Да, — согласился командир, — времени у нас нет. Мы торопимся к Врангелю, там какие-то контрабандисты объявились...

Юрий Александрович сразу потускнел.

— Но вот что я вам посоветую. Через недели две-три мы снова придем сюда, а вы пока со всем своим грузом перебирайтесь вон на тот берег, на культбазу. Дождетесь нас — заберем. А если раньше кто, из торговых, будет, тоже заберут. Теперь агентство Совторгфлота — в этой бухте, все пароходы будут заходить сюда, а на Ольский рейд не все... Перебирайтесь и ждите.

Билибин снова воспрянул духом, горячо поблагодарил капитана и командира. Спустился на берег на лебедочном крюке, весело болтая ногами в воздухе. На вопрос Кондратьева, поджидавшего внизу, крикнул:

— Все в порядке!

— Ну! Я ж говорил!

Спустившись, Билибин крепко пожал ему руку:

— Спасибо, Лось! А теперь потопали на культбазу договариваться о пристанище.

БУХТА ДОБРЫХ НАДЕЖД

Эту бухту открыли русские мореходы триста лет назад и тогда же по достоинству окрестили ее Волоком. Позже подзабыли истинное значение этого прозвания, стали думать: «волок» — от слова «волочить», то есть волоком перетаскивать. Гидрографическая экспедиция в начале нашего века будто видела следы этого волока на перешейке полуострова Старицкого...

Но никто никогда таким волоком здесь не занимался. Это неразумно — перетаскивать хотя бы небольшую лодку через довольно высокий перешеек и волочить три версты

по суше, когда быстрее и легче обойти полуостров водой. А следы — это колеи старого ямщицкого тракта, что пролегал из Охотска через Тауйск в Олу, Ямск, Гижигу и далее на Камчатку.

Название бухты Волок идет не от слов «волочить», «переволокивать», а от слова «обволокивать», то есть укрывать, защищать что-либо, например от ветров. Волоками в старину назывались хорошо укрытые кибитки. Волоковыми окнами на Руси были небольшие оконца, которые изнутри закрывались задвижками, заволокивались. И девичьи глаза волоковые, с поволокою, когда затенены, прикрыты густыми ресницами. Вот и бухта потому Волок, что надежно защищена от многих ветров.

Разные суда и под разными флагами заходили в гостеприимные ворота ее. Отстаивались от шторма, пополнялись пресной водой. Заплывали и вороги. Не случайно при входе в бухту, на острове Недоразумения, со времен Крымской кампании, когда Петропавловск-Камчатский, как и Севастополь, мужественно сдерживал осаду иноземных кораблей, стояли кресты с английскими надписями. Один из ключиков, падающих в бухту, до сих пор называется Американским: в его лощине встречались могилы незадачливых китобоев-контрабандистов.

А тот, кто приходил с добрыми надеждами и намерениями, укрывался здесь от девятого вала и утолял жажду чистой ключевой водой. Лоция той же гидрографической экспедиции, что под командой морского офицера Давыдова обследовала в начале века все побережье Охотского моря, безоговорочно заявляла, что бухта Нагаева «...по справедливости может быть названа лучшей якорной стоянкой во всем Охотском море», и описывала ее очень обстоятельно. Сопками закрыта почти от всех ветров с моря. Бухта почти всюду глубока, и берега ее приглубы, на якоре можно становиться весьма близко к берегу. Среди всех достоинств лоция особенно отмечала водопад у подножия Каменного Венца, где, развернувшись кормой к берегу, с помощью нехитрых приспособлений суда могут брать чистую пресную воду.

И еще одну услугу могла оказать бухта мореплавателям. На вершине Каменного Венца экспедиция Давыдова установила астрономический пункт, а на восточном берегу соорудила девиационные створы — большие треугольные щиты с полосами. С помощью этих первых в бухте сооружений можно было во время стоянки проверять судовые приборы.

Подробно описав все пути и подходы к бухте, все ее берега и глубины, все ее достоинства, Давыдов не умолчал и о недостатках. «К ним могут быть отнесены слабая защищенность бухты от ветров, близких к западным, и отсутствие в ней населенных пунктов, что связано с невозможностью пополнить запасы провизии».

Тогда же, в 1912 году, экспедиция Давыдова переименовала бухту Монгодан в залив Гертнера, в честь исследователя, участника этой экспедиции, а бухту Волок назвала в честь замечательного русского гидрографа адмирала Нагаева. По его надежным картам устья Колымы и берегов Камчатки плавали моряки более ста лет. И тогда же, в 1912 году, с Каменного Венца была сделана первая фотография бухты. Пустынная гладь воды, курчавые берега, но без единого признака жилья, уходят вдаль голые увалы...

Такой безлюдной была самая лучшая якорная стоянка и тогда, и триста лет после ее открытия, и почти два десятилетия позже. Туземному населению никакой надобности в этой прекрасной бухте не было, рыбных речек у нее нет, лежала она в стороне от их полусонной жизни.

И только после революции, когда стал пробуждаться этот край, когда стали приоткрываться золотые кладовые колымской земли, на бухту Нагаева обратили взоры и ученые, и хозяйственники, и советские работники.

Первым возложил большие надежды на бухту Нагаева председатель Ольского райисполкома, первый и единственный коммунист в Ольском районе Михаил Дмитриевич Петров. За два года своей работы он много сделал и мечтал сделать еще больше, чтобы пробудить и преобразить этот край. 18 августа 1928 года Петров в газете «Тихоокеанская звезда» выдвинул лозунг: «Бухта Нагаева должна стать портом-базой». А еще раньше, когда в Дальневосточном комитете Севера намечали строительство культбаз, он же, Петров, предложил для Восточно-Эвенской культбазы не Олу, а бухту Нагаева.

Руководитель Дальневосточного комитета Севера Карл Янович Лукс приехал для обследования края, осмотрел бухту Нагаева, посоветовался со многими туземцами и с Валентином Цареградским, где лучше строить культбазу. Ему назвали бухту Нагаева. В Москву, в Комитет Севера при ВЦИКе Лукс писал:

«Эта бухта расположена почти в центральном пункте для всех эвенских тузрайонов Охотского побережья... и в самом центре интересного Тауйского залива и приле-

гающих к нему тузрайонов. Это естественный центр для всего Охотского моря, и отсюда же, несомненно, пойдет вся работа по снабжению... всего Верхне-Колымского золотопромышленного района... В навигационном отношении б. Нагаева (Волок) — лучший естественный порт всего Охотского моря (и почти единственный)». Это о месте для культбазы.

О том, что отсюда пойдет снабжение Верхне-Колымского района, довольно определенно высказывался замечательный исследователь Северо-Востока Иван Федорович Молодых, экспедиция которого работала на Колыме одновременно с экспедицией Билибина. Молодых в книге «К материалам по вопросам снабжения Верхне-Колымского приискового района Союззолота», изданной в Иркутске в 1930 году, писал:

«При постройке шоссированной дороги в 375 километров от морского порта (бухта Нагаева), при надлежащей эксплуатации водных путей района системы реки Колымы... этот район окажется в лучшем положении в вопросах снабжения, нежели большинство других золотопромышленных районов (Алданский, Витимско-Олекминский, Каларский и т. д.)».

Так разные люди, гидрографы, геологи, советские работники, пришли к единому мнению: лучшего места, чем бухта Нагаева, для строительства экономического, транспортного и культурного центра на Северо-Востоке нет. Так бухта Нагаева стала бухтой Добрых Надежд.

3 июня 1929 года из Владивостока вышел пароход «Эривань», вскоре за ним «Генри Ривьер». Почти одновременно, 20 и 22 июня, они доставили в бухту Нагаева постройки культбазы. Их рубили в Приморье из добротной лиственницы. А здесь стали собирать. Ставили здания фасадом к бухте. Незакатное летнее солнце могло освещать их со всех сторон, а зимнее бросало из-за сопки полуострова оранжевые и алые лучи в широкие окна фасада, такие широкие, каких прежде в этих краях не видывали. Первой построили школу, за ней — больницу и ветлечебницу, рядом со школой начали возводить интернат для туземных ребятишек.

В первой половине сентября на зафрахтованном дрянном китайском пароходике с громким названием «Фэй-ху» («Летучий тигр») прибыли из Владивостока педагоги, врачи, ветеринары, заместитель заведующего культбазой, мастер-механик.

В старину городами становились военные крепости, тор-

говые села, фабричные поселки. Город же на берегу бухты Нагаева начинался с культбазы, сразу как культурный центр.

Комиссия Ольского рика рекомендовала:

«...Разбить перед зданием сад и сделать спортивную площадку. Улицы устроить с проезжим полотном дороги шириною в 8 метров, кюветов в 2 метра, с двумя панелями по 5 метров под посадку деревьев, сохраняя такие по возможности при вырубке и корчевке. Разработать проект предполагаемой канализации, благоустройства, водоснабжения...» Одним словом, город-сад.

Школу построили прекрасную. Учителя приехали замечательные, молодые энтузиасты, из которых в будущем вырастут профессора, но учить пока было некого. Уговаривали родителей посылать детей в школу, а темные тунгусы удивлялись:

— Зачем? За оленем ходить надо, белку стрелять надо... А школа зачем?

Другие, видевшие в своей жизни из грамотных только купцов-обманщиков, убежденно говорили:

— Тунгус грамотный будет — плут будет.

Третьи вторили голосам богатых оленехозяев и шаманов:

— Дети в школе новые песни петь будут, родителей уважать перестанут, шаманам верить не будут.

На первый учебный год с великим трудом удалось набрать 14 учеников: 13 мальчиков и одну девочку. Да и тех привезли лишь к октябрьским праздникам.

А когда Юрий Александрович вместе с Кондратьевым пришел в первый раз на культбазу и попросил временного пристанища для экспедиции, в школе не было ни одного ученика, и заведующий культбазой Иван Яхонтов предложил:

— Располагайтесь в этих классах.

Заняться переброской грузов в бухту Нагаева Юрий Александрович попросил Цареградского:

— Тебе все пути туда знакомы. А я в Оле с Казанли и Корнеевым займусь картами, благо под рукой Макар Захарович, Кыллахан и другие землепроходцы. Раковский с его дневниками мне будет очень нужен, а тебе поможет Кондратьев, и ты, пожалуйста, не откладывай на завтра. Хотя Север жить не торопится, но никогда не знаешь, что он выкинет завтра. На одного «Воровского» рассчитывать не будем. И весьма возможно, последний пароход в Олу не придет, а туда обязательно.

Переброска грузов Валентину поначалу не улыбалась. Камней — больше тонны! А сколько туюков с прочим имуществом! К тому же транспортные дела у него никогда не клеились. Лучше бы карты рисовать: это он мог не хуже художника Корнеева.

Но когда Валентин Александрович узнал, что на берегу любезной ему бухты строится культбаза, для которой он предлагал место Луксу, то почувствовал себя основателем этой культбазы и возгорелся желанием посетить ее.

Завагентством Союззолота Кондратьев, ходивший после чистки гоголем, охотно предложил свои услуги, рабочих и шлюпку, заарендованную у Александрова.

Через три дня грузы экспедиции двинулись в бухту Нагаева. Перевозка их растянулась на две недели.

В начале октября на Нагаевской культбазе собрались все, кто выезжал на материк, расположились в школе, в недостроенном интернате. Достраивали сами.

— Коля, — сказал Казанли своему другу Корнееву, — говорил я тебе: «Будешь строить первый город на Колыме!» Вот ты и строишь. Оставайся здесь архитектором.

— А что? И останусь! Меня в Ленинграде никто не ждет...

— Ты опять об Иринке? Ну вышла сестренка замуж, что делать... А ты не грусти. Я тебе невесту получше привезу.

В просторных классных комнатах геологи и культбазовцы нередко чаевали вместе, беседовали, спорили о будущем.

Билибин рисовал яркие картины:

— Колыма затмит и Алдан, и Аляску!

— А Калар? — спрашивал Николай Тупицын, заместитель заведующего культбазой, молодой, очень начитанный, по образованию филолог-китаист.

— Какой Калар? — удивился Юрий Александрович. — Не слышал.

— Пока вы Колыму открывали, в Забайкалье Калар открыли и, как пишут газеты, золото перспективное.

— Не может быть. Богаче Колымы быть не может! На Колыму надо только дорогу проложить. Вот проложат железную дорогу...

— Железную? — с явным сомнением спросил Тупицын.

— Непременно! Как американцы к Доусону...

— Когда ее построили, надобность в ней отпала: город золота Доусон стал городом призраков.

— Да, Доусон стал городом призраков. Клондайк ос-

тался заманчивым лишь в книгах Джека Лондона. Но Колыма не Клондайк и не Эльдорадо! Город, который будет построен здесь, не станет мертвым, как Доусон. Ему жить века! И железная дорога до Колымы должна быть построена. Держу пари!

— На что?

— На ящик коньяка.

Билибин и Тупицын ударили по рукам. Раковский разделил их.

Николай Владимирович Тупицын через полтора года станет талантливым геологом, проработает на Колыме до старости и с доброй улыбкой будет вспоминать:

«Билибин, уверенный в себе, в своих прогнозах, любил держать пари и часто выигрывал. Но на этот раз он мне проиграл. Дорогу до реки Колымы и дальше, на тысячу километров, построили, но все-таки не железную, а шоссейную. А что касается города, которому на берегу бухты Нагаева «жить века», тут Юрий Александрович, как всегда, оказался прав и прозорлив. И наша культбаза послужила началом этого города...»

Больше месяца прожили геологи на берегу бухты Нагаева. Золотая хвоя лиственниц опала. Снег горностаем укрыл все побережье, а незамерзшая водная гладь стала похожей на большой овальный камень халцедон, распиленный, прекрасно отшлифованный, в белой оправе кварца.

Из окон школы вся бухта Нагаева видна как на ладони. И всегда возле этих окон кто-нибудь стоял, желая первым увидеть черную трубу «Воровского». Но прошел месяц, а в открытые ворота бухты никто не входил.

Цареградский однажды спросил Билибина:

— А придет ли «Воровский»-то? Не обречены ли мы на зимовку?

— Придет,— ответил Билибин.— Моряки всегда держат слово.

— Юра, а ты прикинул, где остров Врангеля?

— Прикинул.

— И все-таки веришь, что можно на какой-то старой калоше за три недели по трем морям обогнуть Камчатку, Чукотку и вернуться обратно?

— Думаешь, обманули? Но зачем им обманывать? Нет, я, видимо, не понял. Наверное, они пошли не на остров Врангеля, а в бухту Врангеля, которая недалеко отсюда, в Приморье.

— Хорошо бы.

МОРЕ БУРЬ И НЕВЗГОД

В бестуманные дни за воротами бухты, на сверкающем, будто фольга, горизонте, в предзакатные часы появлялось что-то похожее на белый дымок парохода. Но это был даже не мираж. Чуть отрываясь от моря, выступали над ним вдалеке гористые заснеженные вершины острова Спарфарева.

Надежды на прибытие парохода и скорое возвращение в родной Ленинград рушились. Ничего не оставалось, как зимовать и ждать. Ждать, как подсчитал Билибин, восемь месяцев — двести сорок дней, а может, и больше...

Но в начале ноября как раз перед самым праздником, когда над школой водрузили красное знамя и украсили кумачовыми полотнищами больницу, ветлечебницу и все жилые домики (готовились к открытию культбазы) и сами геологи, смирившись со своей участью, стали настраиваться на долгую зимовку, на рассвете вдруг раздался крик:

— Пароход!!!

Этот крик электрическим разрядом разнесся по всем зданиям, и все — кто в чем был — высыпали на мягкий снег, выпавший ночью. Бинокли врезались в подножие Каменного Венца. У кого их не было, нетерпеливо спрашивали:

— «Воровский»?

— Не похож...

— Наш?

— Кажись, иностранный...

— Опять лопнули наши надежды...— вздохнул Цареградский.

— Так это — она! Старшая дочь папаши Мюллера!

— Точно! «Нэнси Мюллер»! Ура, старая калоша!

— В шлюпку, товарищи! — скомандовал завкультбазой Яхонтов.

Изрядно потрепанную лодку выволокли на воду. Все сели на весла. До Каменного Венца — мили три. Гребли жарко. На подходе прочитали:

— «Нэнси Мюллер»!

Яхонтов пояснил Билибину:

— Есть три судна: «Нэнси Мюллер», «Кэтти Мюллер», «Розалия Мюллер». Они названы в честь трех дочерей капитана Мюллера. Сам он не то англичанин, не то норвежец, не то американец. Говорит на многих языках. Зафрахтован нашим Совторгфлотом. Служит нам честно. С ним вполне безопасно можно плыть...

Пароход был похож на лапоть, истершийся, ободраный, в подтеках ржавчины и мазута, с торчащими, будто колья, грузовыми стрелами. За ранним часом на палубе не было ни души. Лишь когда обошли судно, увидели, что под одной стрелой кто-то копошится и звякает лопатой о каменный уголь.

Грузчик не обращал внимания на лодку. Наконец на баке показались двое в зюйдвестках, и с палубы закрипел трап. По его скользким ступенькам Билибин и Яхонтов взобрались на борт, и два японца, беспрестанно кланяясь, провели их в капитанскую каюту.

Капитан, больше смахивающий на лавочника, кругленький, толстенный, в черном ластиковом халате, с рыжей бородкой, похожей на репу, представился:

— Папаша Мюллер.

Был он приветлив, радушен, словоохотлив. Сразу же усадил за стол, пододвинул заморские бутылочки, запросто, бесхитростно стал расспрашивать и так же, как старый приятель, рассказывать о себе:

— Да-да, Нэнси — сталшая дочка, живет в Амелике, Кэтти — в Англии, Лозалия, еще не замужем, — в Нолве-гги, а я со своими посудинами плиписан к Шанхаю. Заф-лахтовался у вас. Всюду клизис, а у Советов можно хо-ошо залаботать!

Папаша Мюллер говорил по-русски довольно складно, но безбожно картавил:

— О! Я вас, мистел Билибин, хо-ошо понимаю. Геологи — такие же моляки, как и мы, вечные стланники. И у них есть любимые дочки, милые девочки, котолых они не видят тысячу лет. Я вас с удовольствием возьму... Нет, нет, никакой платы мне с вас не надо. Папаша Мюллер — честный человек. Об оплате я хо-ошо договорюсь с Сов-толгфлотом. Но комфолта пледложить не могу, судно глу-зовое, пассажилских мест нет. Дамам уступим каюты и вам, мистел Билибин, тоже.

— Спасибо, устроюсь, как все, в твиндеке. Нам, веч-ным стланниками, не пливывать, — сказал Юрий Александрович, от доброй души подлаживаясь под произношение капитана. — Сюда плыли на японской калоше «Дайбоши-мару», а хуже ее, наверное, не бывает.

— Люблю оптимистов. С ними и тонуть будет весело. Но зачем вам твиндек? Там соленая лыба. Для вас — кают-компания. И лишь одно маленькое условие — поглу-зиться сегодня. У меня поламывает поясница — к непого-де. И я очень толоплюсь...

— Мы тоже торопимся, но...

— Понимаю. На вашей лодчонке глузы быстло не пеле-плавишь. Я вам дам свой калбасик, и, как только попол-нюсь углем и водой, подойду к белегу поближе.

После полудня, в большую воду, когда пароход подо-шел очень близко к замку бухты, погрузку часа через два закончили. Прямо на палубе и в кают-компании отъез-жающие прощались с теми, кто оставался: с гостеприим-ными культбазовцами, со своими рабочими, с Колей Кор-неевым, который вроде бы в шутку говдрил, что останется, а тут прораб культбазы решил уехать, и Коля остался вместо него. Мите сказал:

— Передай сестре: я на нее не в обиде, пусть будет счастлива, и ты с Дусей будь счастлив. Меня не забывай-те, привезите мне ленинградку, такую же, как Иринка.

Дуся Якушкова и Митя Казанли поженились в Оле. На Ольской погулянке играли в горелки. Митя догнал Дусю, схватил за руку, а кто-то сказал, что, по тунгусскому обы-чаю: дотронулся до девицы — называй своей женой. Митя назвал и повел Дусю в сельсовет. А теперь увозил в Ле-нинград.

Папаша Мюллер как отец родной обласкал молодоже-нов, устроил их в своей каюте, пожелал счастливого сва-дебного путешествия.

Пароход дал прощальный гудок, вода под кормой за-бурлила. Берег замахал руками, платками и красными, к празднику сделанными, флажками:

— Пишите! Возвращайтесь! Будем ждать!

— Ждите! Вернемся!

Свежерубленные золотистые домики культбазы тоже, будто на прощание, махали кумачовыми полотнищами и уходили вдаль, уменьшаясь на глазах. Корму не покида-ли долго, пока все не скрылось за густой навесью повалив-шего косога снега. Он падал на мутно-серые волны, и они жадно глотали его.

Поясница папаши Мюллера в прогнозе погоды не ошиблась. Еще в бухте недогруженное судно пустилось в легкий пляс. А когда вышли из ворот и стали проходить пролив между полуостровом Старицкого и островом Завья-лова, началась настоящая свистопляска. Посудина запръ-гала как одержимая бесом.

— Ничего, вечные стланники, — подбадривал капи-тан. — Выйдем из плонива, будет спокойнее.

«Нэнси Мюллер» должна была зайти на Ольский рейд за рыбаками и рыбой и догрузиться. Когда обогнули полу-

остров, развернулись к северу, действительно стало спокойнее, по крайней мере качало ритмичнее.

Пассажиры снова высыпали на палубу попрощаться с ольскими берегами. Но был отлив, остановились далеко, и ничего нельзя было рассмотреть. Капитан направил на рыбалку катерок с баржонкой. Они поплясами, попрыгали, но подойти к берегу не смогли.

С северо-востока надвигались огромные черные тучи. Папаша Мюллер с тревогой смотрел на них и, отчаянно махнув рукой, приказал дать сигнал катеру с баржей вернуться, а всех пассажиров попросил с палубы уйти.

Катер и баржонка вернулись, но когда подошли к борту и матрос-китаец с баржи уже упирался в него шестом, чтоб не сильно ударило, случилось непредвиденное. Баржонку вдруг оторвало, она закувыркалась, понеслась и за гребнями волн исчезла. Катер бросился вдогонку и тоже потерялся из виду. Возвратился через четыре часа, без баржи и без китаецца.

Все это время пароход болтало и кружило на месте, как скорлупку. Мрачный папаша Мюллер распорядился выбрать якорь и двинуться в открытое море. Ольских рыбаков со всей наловленной кетой оставили до следующей навигации. Так могли остаться и геологи, если бы ждали в Оле. Можно было радоваться...

Но радость омрачали гибель баржонки с китайцем и качка. В том, что случилось в самом начале пути, видели недобрые предзнаменования. Многим хотелось вернуться в бухту Нагаева и ждать хорошую погоду хоть всю зиму. Кое-кто поругивал папашу Мюллера: зачем вывел свой старый лапот в бушующее море?

Недобрые предчувствия очень скоро начали сбываться. Судно попало в нарастающий шторм. Он кренчал с каждым часом. Недогруженный пароход подбрасывало так, что кормовой винт часто оказывался над водой и, работая впустую, надсадно ревел, сотрясал судно будто в лихорадке, а потом будто ударялся о камень. На вторые сутки одна лопасть винта сломалась, вскоре и другая. А тут и рулевое управление отказало.

Судно болтало, качало и несло, никто не знал куда. Все, даже большая часть команды, валялись вповалку. Из пассажиров лишь Цареградский держался. Он пытался оказывать помощь всем в кают-компании, часто заходил к супругам Казанли и к Марии Яковлевне. Его пригласил в капитанскую рубку папаша Мюллер. Это было на вторую неделю.

— Цалегладский, я обязан дать сигнал бедствия. Но вы везете что-то секлетное, поэтому должен пледупледить.

— Где мы находимся?

— Не знаю. Ветел нолд-вест, возможно, несет нас на Кулилы или на Японские острова...

— А кто же нас будет спасать?

— Не знаю. Какой-нибудь японский клейсел...

— Я поговорю с начальником.

Билибина укачало так, что он не мог языком пошевелить.

— Юра, надо уговорить капитана, чтоб он не сигнализировал о бедствии. Понимаешь? Мы можем со всеми материалами попасть к японцам. Понимаешь?

Юрий Александрович в знак согласия лишь мотал тяжелой, как чугунный кнехт, головой.

— Да и возможно ли в такой шторм кому-нибудь близко и безопасно подойти к нам или бросить буксирный канат? — продолжал Цареградский.

— Нет, — с великим трудом выдавил Юрий Александрович.

Цареградский снова поднялся в капитанскую рубку:

— Начальник убедительно просит вас не давать сигнал бедствия. Да и никто нас здесь не спасет. Никто к нам не сможет подойти. Так ведь?

— Хо-ошо. Так. Сейчас остановим машины и ляжем в длейф. Будем ждать, когда стихнет. Но если покажется земля, я дам сигнал. Не могу лисковать моей «Нэнси» и блосаться на камни...

Машины застопорили. Пароход был полностью отдан во власть стихии. Начался дрейф в штормовом море.

БЕРТИНСКИЙ ВОЯЖ

В те дни, когда «Нэнси Мюллер» без руля и без ветрил болталась в штормовом и неизвестно каком, Охотском или Японском, море, Эрнест Бертин подъезжал к Алдану.

За три месяца он покрыл не менее трех тысяч километров. На лодке спустился по Колыме до Сеймчана. Сергея Обручева там не застал и оттуда по старинной Сеймчанской тропе вместе с уполномоченным ЯКЦИКа Владимиром, где на оленях, где на лошадях верхом, добрался до Якутска.

Время для охоты было самое благоприятное. Захватили и короткую золотую осень, и первую порошу, и шепот

звезд. Эрнест Петрович отвел душу. Не забывая наказ Билибина, он вел, как мог, и глазомерные съемки, и геологические наблюдения, расспрашивал туземцев о разных случайных находках, брал образцы и пробы... Но охота была куда удачнее! На пару с Елисеем Владимировым, тоже заядлым охотником и знатоком якутской тайги, настреляли уйму отлетающей дичи, вдоволь набили зайцев и уложили двух медведей, не успевших залечь в берлогу.

В Якутск прибыли как раз под ноябрьские праздники. Здесь их встретили с распростертыми объятиями, кормили кониной и олениной во всех видах, поили кумысом и чаем покрепче.

Здесь и началось ратование за Колыму.

Республиканскому Совнаркому Эрнест Бертин передал билибинский доклад об исследованиях и перспективах развития добычи золота в Сеймчанском районе, дополнил его своими соображениями и наблюдениями, показал образцы пород и золото в рубашке. Владимиров на заседании ЦИКа, не тая правды, поведал, в каких условиях работала Колымская экспедиция, как голодовали и не имели никакой связи ни с Якутском, ни с берегом Охотского моря, и передал докладную записку Билибина о необходимости быстрейшей постройки радиостанции в Среднекане, о налаживании снабжения приискового района как со стороны Якутска, так и с Олы.

Сообщения об открытии золота в Колымском крае были встречены якутянами с великим восторгом. Эрнеста Петровича чуть ли не носили на руках. Его сравнивали с Вольдемаром Петровичем, открывателем золотого Алдана, не забывали упомянуть, что и он, Эрнест Петрович, как и его брат, тоже красный партизан и борец за Советскую власть. О нем писала пресса, его интервьюировали журналисты. И рядом с его именем произносили: «Билибин», «Колыма».

В журнале «Советская Якутия» за 1930 год в статье «Золотая промышленность Якутии и новые открытия в ней» крупнейший в то время специалист по золоту Грунвальд не без восторга объявлял:

«...Блестящие исследовательские работы 1928—1929 гг. геолога Ю. А. Билибина дают новые многообещающие месторождения жильного и россыпного золота в бассейне Колымы».

В печати это было самое первое сообщение об открытии, которое пятьдесят лет спустя назовут величайшим геологическим открытием двадцатого века, «открытием века».

Но тогда оно прозвучало только в пределах Якутии.

Когда Эрнест Петрович объявился в «столице» Алданского края поселке Незаметный, тут тоже не дали ему опомниться с дороги. Сам главный инженер треста «Алданзолото», по просьбе многотиражки «Алданский рабочий», интервьюировал его:

«Участник Колымской экспедиции Бертин Эрнест поразил меня своим возбужденным поведением. Вечно горящий внутренним пламенем, пораженный до мозга просторами тайги, опьяненный пройденными пространствами, он так и не дал за короткое время нашей не совсем обычной беседы сколько-нибудь систематических сведений о незнакомом здесь Колымском крае. То, что у меня осталось от сообщенного мне, я конкретизирую ниже...»

А ниже под крупными заголовками «Вести с Колымы», «В неисследованных районах» сообщалось:

«Район исследования экспедиции Билибина, занимающий примерно 10 000 кв. км, представляет собой сравнительно ничтожную часть всего неисследованного района верховьев Колымы, где будущие экспедиции могут натолкнуться на новые неожиданные богатства...»

Дальше довольно сумбурно и путано, явно не в ладах с географией, давался маршрут экспедиции от Владивостока до Колымы, поминался и Сергей Обручев, который вроде бы «также встретил золото в одном из левых притоков Колымы, но Эрнест Бертин, командированный Билибиным для отыскания Обручева и получения от него сведений, однако, не успел захватить Обручевскую экспедицию на старом месте, нашел только следы ее пребывания...»

После таких газетных сообщений Эрнесту Петровичу в Незаметном проходу не давали, рвали его на части. Всяк хотел стать его закадычным дружком-приятелем, всяк тянул его в харчевни и к себе в гости. Знаток колымских тайн не упирался, но, издавна недолюбливая жадных до фарта людишек, ухо держал остро, а язык за зубами. В каком бы подпитии ни был — знал, что говорить, о чем молчать.

Хитровато прищуривая свои усмешливые глаза и нарочито растягивая слова, Эрнест Петрович неторопливо и таинственно повествовал:

— З-з-золота, этой д-д-дряни, там, на Колыме, н-н-навалом. Но и м-м-медведей много. Золото под каждой кочкой, а медведь — за каждым кустом. Про Бориска слышали? Его м-м-мишка к-к-кокнул! Бориска землю копал, как и вы, вечные к-к-копачи, а медведь сзади подошел, да тюк

по темячку! Да чем? Двухфунтовым самородком. Этого Бориску мы так и нашли в его яме, а рядом — этот самородочек. Хозяин тайги не любит вашего брата.

— Да ведь что удумал! — пополнял свой рассказ Эрнест в другом кругу. — Поднял я этого самого мишку, что Бориску убил, из берлоги, уложил одним выстрелом в самую пасть, это на моем счету двадцать первый... И случайно заглянул в его логово. А там — целый арсенал 3-3-золотых камней! Умный был, понимал, что самородки тяжелее, чем простые камни, и ухватистее. Вот и запасал себе оружие.

— Но и туземцы там не дураки, — присовокуплял Эрнест в третьем месте. — Тунгусы из 3-3-золота п-п-пули льют. Да, поднеси шкалик огненной водицы, — такую тебе пулю отольют, что в твою раззяву не влезет. Ядро для пушки! Что хлев-то распахнул? Я не сказки плету. Рот закрой, на ус мотай и никому ни гу-гу... Там ведь на Колыме-то, вода в речках чистейшая, а пить без процеживания вредно, потому как в почках, печени и мочевом пузыре могут образоваться золотые камни, и ничем их оттуда не вымоешь.

Чем пуще загибал Эрнест, тем пуще ему верили. Такова уж психика ненасытных хищников, вечных копачей, неутомимых искателей фарта. Сами стали складывать такие легенды о колымском золоте, на которые Эрнест Петрович не был горазд даже в самые вдохновенные часы.

Любил Эрнест Бертин посмеяться над людскими пороками, раззадорить алчность падких на золото людишек и тут не заметил, как перестарался в своем ратовании за Колыму. Так расписал ее несметные богатства, что слава Золотой Колымы вмиг затмила славу Золотого Алдана, а его личная слава — славу родного брата.

Кстати, Вольдемар Петрович находился в это время здесь же, в Незаметном. Он только что вместе с Татьяной Лукьяновной вернулся с Чукотки. Экспедиция туда оказалась неудачной. Хоть это и была экспедиция Союззолота и Бертин являлся ее начальником, но в нее входили на каких-то акционерных правах также топографы, работники Севморпути, торгаши Акционерного Камчатского общества. У каждого — свои цели, свои заботы и дела, и все тянули в свою сторону, как лебедь, рак и щука у дедушки Крылова. Одним нужны карты погранзоны, другим — обследование бухт и прибрежий, а работникам АКО, например, — пушнина.

Вольдемар Петрович, несмотря на все свои незаурядные организаторские таланты, не мог все увязать и согласо-

вать. К тому же первые поиски золота ничего обнадеживающего не давали. Серебровский, узнав обо всей этой петрушке, понял, что толку от такой организации не будет (а людей, таких, как Вольдемар Бертин, самородков золотой промышленности, он очень ценил и берег), разумно стозвал руководителя обратно на Алдан, а экспедицию передал АКО.

Между тем в это время на Алдане Вольдемар Петрович был необходим и незаменим. После его отъезда на Чукотку здесь заварилась скверные дела. Техническое руководство трестом «Алданзолото» нарушало экономическую политику, срывало выполнение промфинпланов, искусственно создало кризис на Алдане, чтоб добиться передачи его в концессию иностранному капиталу. Алданских руководителей арестовали, в Москве готовился алданский процесс, а на самом Алдане шли суды-пересуды и был полный развал. Возвратившемуся Вольдемару Петровичу и предстояло наводить порядок, восстанавливать добрую славу Золотого Алдана.

Нельзя сказать, что алданского комиссара встретили с тем же почетом и уважением, которыми он пользовался прежде. «Алданский рабочий» разразился огромной статьей «Немного об итогах Алдана и головоуныи аппарата», в которой вдруг взяли под защиту тунгуса Тарабукина, объявив его открывателем Золотого Алдана, а в головоуныи обвиняли весь аппарат треста, вкуче с ним и Вольдемара Петровича. Корреспондент газеты обратился к Бертину, подлинному открывателю Алдана, Вольдемар Петрович ответил на все его вопросы, рассказал, что встретил в момент приезда на Алдан Тарабукина, богатого спекулянта-якута Рожина и двух китайцев. Они пытались здесь мыть золото тайком, что намыли и где — никому неизвестно, заявок никаких не делали...

— Тарабукин не первый открыватель, а последний хищник на Алдане, — заявил корреспонденту Бертин.

Газета поместила беседу с Бертиным и это выражение, однако все же в чем-то оправдывала Тарабукина: в прошлом году Тарабукину-де выдали 1300 рублей на новые открытия, на разведку, которые «им истрачены в пространство», ибо «его не снабдили инвентарем для разведок».

Ныне это смешно читать, но тогда Вольдемару Петровичу было не до смеха. Прежде, бывало, комиссар хохотал так, что его раскатистый бас разносился по всей столице Алданского края, а теперь оставалось лишь горько усмехаться:

— Сколько еще нужно выбросить денег в пространство, чтоб удовлетворить необоснованные претензии хищника и пьяницы?

Мало что радовало Вольдемара Петровича по возвращении на Алдан. И прежде у него бывали неприятности, после которых он приходил домой и говорил своей Танюше: «Не подходи, я заряженный», а теперь она и без этих предупреждений старалась его не беспокоить.

И лишь приезд младшего брата несказанно обрадовал его. Эрнест поведал Вольдемару Петровичу о Колыме и Колымской экспедиции все, без утайки и, конечно, без малейшего завирательства. Вольдемар Петрович, чувствовавший себя причастным к организации Колымской экспедиции, всей душой радовался ее успехам и чуточку завидовал.

— Ну, а дальше куда? — спрашивал младшего.

— Сейчас в Иркутск, к Сереже Раковскому, затем в Ленинград. Там должны все вместе собраться. А потом обратно на Колыму! Поедешь с нами?

— Разрешат — охотно!

«И НАЧАЛ Я РАТОВАТЬ ЗА КОЛЫМУ»

В конце своей сумбурной корреспонденции «В неисследованных районах» многотиражка «Алданский рабочий» писала:

«После окончания сезона работы экспедиция Билибина спустилась по Колыме с расчетом попасть на пароход и вернуться во Владивосток водным путем. В настоящее время экспедиция должна находиться на пути к Ленинграду».

Здесь что ни фраза, то, мягко говоря, расхождение с действительностью. Экспедиция, как известно, по реке Колыме не спускалась, выбиралась к Охотскому морю сухопутным, полтора месяца ждала пароход в бухте Нагаева, а где находилась в момент опубликования заметки, никому не было известно.

«Нэнси Мюллер» дрейфовала целую неделю. Наконец буря стихла, тучи с туманами начали подниматься, и под их пологом приоткрылась узенькая, едва видимая полоска земли. Чтоб не выбросило на нее, капитан дал команду разводиться пары. Машина весело заработала, и судно, ковыляя, как хромой, на одной трети винта, стало потихоньку приближаться к берегу.

— Пеледайте пассажилам, — сказал папаша Мюллер, не сходя с капитанского мостика и поглаживая заросшие седой щетиной впалые щеки, — что я не помню такого бешеного шторма и что, навелное, только их счастливой звездой я обязан спасением своей «Нэнси».

Билибин и Цареградский ответили любезно:

— Скажите папаше Мюллеру, что только ему, его выдержке и мужеству, мы обязаны своей жизнью.

Когда тучи разошлись, туман полностью рассеялся и небо вывездилось, определили, что «Нэнси Мюллер» находится где-то между южной оконечностью Сахалина и островом Итуруп. За время дрейфа судно отнесло от берегов Камчатки почти на тысячу миль к югу. За Итурупом был Тихий океан, чуть западнее — пролив Лаперуза, ворота в Японское море.

— Теперь мы все-таки вынуждены зайти в японский порт, — виновато развел руками капитан. — Лопастям надо сменить и углем пополниться. Вы и ваши сотрудники, — посоветовал он Билибину, — на белег могут не сходить, японцы, я думаю, на борт не поднимутся, а я из порта свяжусь по радио с Совтогфлотом...

Билибину ничего не оставалось, как согласиться.

Кое-как «Нэнси» вошла в залив Анива и пришвартовалась к небольшому причалу. По-южному светило и пригревало солнце, зеленели берега, и трудно было представить, что там, откуда только что выбрались, — буря, снег, пурга и небо совсем иное. Сместились в пространстве и во времени года: с севера — на юг, из зимы — в лето.

Мюллер связался с Владивостоком по радио. Совторгфлот разрешил сменить винт, но просить у японцев уголь запретил, передав, что топливом можно пополниться с советского парохода «Кулу», который был на подходе к этому порту.

Углем пополнились, но винт сменить не удалось. Пришлось ковылять к другому порту. Остров Хоккайдо огибали два дня. В Хакодате искалеченной «Нэнси» довольно шнорвистом поставили новый винт, команда привела в порядок рулевое управление. Двинулись к родным берегам на всех парах.

На двадцатый день после отплытия из бухты Нагаева прибыли в бухту Золотой Рог. Тут все сияло, сверкало необычно, даже звезды казались ближе и ярче. По берегам приветливо мигали огоньки и золотыми рыбками бежали навстречу по воде. Это были те самые огоньки, которые сопровождали экспедицию в памятную ночь 12 июня 1928 го-

да, они будто и не гасли все эти пятьсот сорок дней и ночей.

Хорошо встретил Владивосток колымских аргonavтов. Правда, без медных труб, но зато широкими перинами гостиницы «Версаль» и бойким джазом ресторана, где отвели душу, заказывая все меню сверху донизу, снизу доверху.

Вступив на родную и большую землю, Юрий Александрович сразу же, как он выразится в своих воспоминаниях, начал ратовать за Колыму. Дальневосточное отделение Союззолота и местный Геолком выслушали его сообщение со вниманием и большим интересом. Лишь кто-то подпустил уже известную шпильку:

— Неужели Колыма богаче Калара?

Билибин с нарочитым самоумалением, но достойно ответил:

— Я из тайги, темнота, о Каларе пока знаю мало, но думаю, что цыплят по осени считают...

В этот же день к Юрию Александровичу в гостиницу пришел очень живой, подвижный, похожий на задорного подростка юноша и звонким тенористым голосом объявил:

— Я — Сергей Новиков. Слушал ваш доклад. И хочу ехать с вами на Колыму.

— А мы как раз оттуда, — с легкой усмешкой ответил Билибин.

Новиков сразу посерьезнел, и его брови обидчиво приподнялись:

— Я горный инженер. Вот мой диплом. Только что окончил Дальневосточный университет.

Юрий Александрович взял диплом, пробежал по вкладке:

— Отметки по всем предметам приличные. Но тут не сказано, как вы играете в шахматы.

— Могу показать.

И они сели за шахматную доску. Юрий Александрович давно страдал от отсутствия достойного партнера. Один лишь Казанли заставлял его иногда серьезно задумываться. А этот голубоглазый, на вид бесхитростный мальчишка довольно быстро обыграл Юрия Александровича. Вторая и третья партии длились дольше, но закончились так же.

— Я вас возьму в следующую экспедицию, — твердо сказал Билибин, с улыбкой добавил: — Наконец-то у меня будет настоящий партнер. Оставьте ваш адрес, извещу сразу же, как только выяснится судьба будущей экспедиции.

Довольный, сияющий, Сергей Новиков ушел.

Цареградский, несколько уязвленный словами Билибина о настоящем партнере, пожал плечами:

— Разве можно судить о геологе по шахматной игре?

— Можно. Человек, хорошо играющий в шахматы, обладает как раз теми качествами, которые необходимы геологу: вниманием, сосредоточенностью, находчивостью, дисциплиной, упорством. В нем это чувствуется. Надо ведь поддержать человека, Валентинушка. Первая ласточка рвется на Колыму! И она мне очень понравилась.

В Иркутске Билибина задержали руководители Союззолота. В этом году оно переехало из Москвы в Иркутск, поближе к производству, почти в полном составе, в Москве осталось только представительство. Но самого Серебровского в это время в Иркутске не было, выехал в наркомат.

Сообщения о Колыме в Иркутске, как показалось Юрию Александровичу, встретили с меньшим интересом, чем во Владивостоке. В Союззолоте и Востокзолоте все словно помешались на Каларе. Калар называли первенцем первой пятилетки. На Калар возлагали все надежды в новых планах золотой промышленности.

Калар и по соседству с ним Калакан — притоки Витима, в Забайкалье. Они почти под боком Иркутска, от станции Могоча Уссурийской железной дороги до них километров триста. Это, конечно, пустяки по сравнению с расстоянием до Колымы. Серебровский осенью 1928 года, возвращаясь с Дальнего Востока, эти триста километров и обратно как бы попутно проехал на лошади, убедился, что золото на речках Калар и Калакан есть богатое, и в ноябре того же года по его представлению Совнарком принял специальное решение о немедленной организации старательских работ на Каларе. На выполнение этого решения в небывало короткие сроки были мобилизованы все предприятия Союззолота от Урала до Амура. Из Могочи на Калар проложили зимник, и пять тысяч лошадей, для которых завезли пятьсот тысяч пудов сена и овса, до весны на Каларский прииск перебросили девятьсот тысяч пудов — 15 000 тонн! — различных грузов.

— Ничего подобного не бывало во всей истории золотой промышленности! — гордо заявлял Перышкин, который прежде возглавлял Дальзолото, а ныне Востокзолото в Иркутске. — И это только первые шаги пятилетки. У руля золотой промышленности стоит сам Серго! Это по его указанию Калар уже дает золото... А там у вас на Колыме, слышно, какая-то чехарда происходит, нам еще с ней раз-

бираться надо... Нет, дорогой товарищ Билибин, вашей Колыме далеко до нашего Калара. Да и далековата она от нас, семь верст до небес и все пехом...

И самому Юрию Александровичу, докладывавшему о Колыме, было как-то неловко вспомнить, как он в Оле не мог найти десяток лошадей, когда здесь их считают на тысячи. Он за Колыму мог бы постоять. Калар и Калакан — всего лишь две речушки, может, и богатых, а в Колымском крае таких золотоносных речек сотни. Надолго ли хватит запасов Калара? Да, истории неизвестны такие темпы организации приисков, но история немало знает и таких случаев, когда золотые лихорадки вспыхивали быстро и так же гасли. Спорить об этом с Перышкиным бесполезно. К Колыме он равнодушен, а ставить палки в колеса он, как и прежде в Дальзолоте, мог. Без Серебровского тут ничего не решишь.

Юрий Александрович сдержанно ответил:

— Посмотрим, кому до кого далеко. А с чехардой разбираться придется. Направили к нам какого-то пьяницу Степку Бондаря и хотите, чтоб под его «мудрым руководством» Колыма давала золото? Пропьет он всю Колыму. Снимать его надо. Знает ли о Степке Александр Павлович?

— Ну, это нам решать, кого ставить, кого снимать. И о вас, товарищ Билибин, не очень лестные слухи до нас доходят...

В Москве, в том же Настасьинском переулке, в здании, похожем на расписной пряник, Юрия Александровича выслушивали сам Серебровский и все тридцать три сотрудника московского представительства Союззолота. Но и здесь начали было петь ту же песенку:

— Калар, Калар... Колыме далеко до Калара.

— Да и есть ли золото на Колыме?

Билибин слушал, крепился, но потом разразился такой пламенной речью, каких не произносил за всю свою жизнь, за все свои без малого тридцать лет.

Может быть, так же вдохновенно говорил он три года назад, в алданской тайге, под шум дождя, в палатке, где на земле рисовал берега Тихого океана и, щедро осыпая их золотом, мысленно расстегивал пряжку Тихоокеанского пояса на Чукотке и Колыме.

Теперь он вернулся с Колымы. Вернулся с этой золотой пряжкой в руках. Вот оно золото, рассыпное, в желтых ластиковых мешочках, рудное, видимое простым глазом в молочных кварцах!..

Но ему по-прежнему не верят. Как и прошлый раз в этом же кабинете, когда он просил несчастные шестьсот тысяч рублей, этот же Серебровский слушает его и что-то подсчитывает и не то улыбается, не то усмешается. Видать, и для него Калар — любимый сын, а Колыма — бедная падчерица...

— Всю дорогу от бухты Нагаева до Владивостока, от Владивостока до Иркутска, от Иркутска до Москвы только и слышу: Калар, Калар, Калар, Калар богаче Колымы, Колыме далеко до Калара... Я, конечно, буду рад, если Калар будет богаче Колымы. Дай бог! Это значит, мы с вами будем богаче, страна будет богаче. Но прошу учесть, что моя Колыма — такая же ваша, как и Калар, и я вам не предлагаю доить чужую корову! И еще прошу учесть одну мудрую поговорку — цыплят по осени считают. Одна речка, даже такая богатая, как Калар, погоду не делает. Простите, что учу вас, старейших и мудрых королей золота, но вам известно из истории: золотая лихорадка на Эльдорадо вспыхнула и погасла, у нас, под Охотском, тоже вспыхнула и погасла. Калар и Калакан тоже может ждать та же участь. Они находятся в старом, изрядно вычерпанном золотоносном районе, их случайно не обнаружили прежде и случайно нашли сейчас. А Колыма — это огромный бассейн. Таких речек там не счесть. Колыма не погаснет века! И она открыта не случайно, а в результате гипотезы, научного предвидения... Да, да, той гипотезы о рудном поясе Тихого океана, в которую здесь, когда я выпрашивал шестьсот тысяч, многие не верили, да и сейчас не верят... Я и сам готов теперь внести весьма существенные поправки в эту гипотезу, но в целом она правильная и еще может послужить основой для выявления закономерностей распределения ископаемых. На Колыме мы обнаружили не только рассыпное золото, вторичные преобразования месторождений, но и первичное, рудное. Ярких рудопроявлений выявлено по крайней мере три, и среди них самое обещающее — Среднеканская дайка, несомненно связанная с близлежащими рассыпными...

Юрий Александрович представил золото, полученное из этой жилы, образцы кварца с ясно видимыми золотыми вкраплениями и привел цифры, полученные в результате подсчетов, оговариваясь, что эти подсчеты он всячески ужесточал, но и в таком количестве цифры приводят его в священный ужас.

Присутствующие впились глазами в среднеканское рудное золото!

В своих воспоминаниях Юрий Александрович так и напишет: «Всем было заманчиво распространить полученное в пробах содержание на всю массу руды...»

Билибин, пытаясь как-то отвлечь столь необычное внимание к Среднеканской дайке, говорил:

— Однако золото, открытое на Колыме, — это не главное. На Колыме, я уверен, может быть найдена вся периодическая система Менделеева...

Но периодическая система Менделеева сотрудников Союззолота интересовала мало.

— Главное, — продолжал Билибин, — Колыма — это наш край, открытый русскими землепроходцами, русский, а теперь советский край. Самый обширный, там может разместиться несколько европейских государств, богатейший, но пока самый необжитый, пустынный и находящийся на самой далекой границе России. Вот что самое главное. И мы должны его осваивать, обживать, заселять, налаживать прежде всего транспорт, поднимать его экономику, хозяйство, культуру. Осваивать этот край надо буквально со всех сторон: с юга — бухта Нагаева, где уже строится морской порт и будет город, с севера — Северный морской путь, река Колыма, которая, как показали только что проведенные исследования экспедиции Молодых, вполне судоходна от устья до приискового района, и ее нужно использовать для снабжения, с запада — от Якутска уже есть тропа, проложенная землепроходцами и местным населением, она должна стать дорогой...

Билибин все эти пути показывал на большой настенной карте.

Но когда обернулся, то увидел, что многие сотрудники, увлеченные среднеканскими пробами, на него не смотрят и его не слушают.

— Простите, мне не здесь об этом нужно говорить, — процедил сквозь зубы Юрий Александрович и пошел на свое место.

— Нет-нет, говорите, — поддержал его Серебровский. — Все это очень интересно и очень важно! И кое-кому из нас не мешает это знать и об этом думать... — И Александр Павлович закончил свою реплику таким крепким словом, что все его сотрудники, и прежде слышавшие подобные выражения, на этот раз замерли и впились глазами в Билибина.

— Да я почти все сказал, Александр Павлович. Могу повторить только, что золото — это не главное, это всего лишь архимедов рычаг, с помощью которого можно под-

нять Колымский край... Кажется, и вы так говорили, Александр Павлович?

— Примерно так. Правда, не о Колымском крае, а вообще... И мысль эта не моя. Так говорил мне Иосиф Виссарионович. Но в общем все правильно! А что же все-таки вы хотите от нас, Союззолота, сегодня?

— Сегодня? Сегодня я прошу на вторую Колымскую экспедицию не меньше миллиона.

Одни ахнули, другие захохотали:

— Аппетит растет во время еды...

— Да вы, батенька, неизлечимо заболели Колымой, — усмехнулся и Серебровский. — Вчера просили шестьсот тысяч, сегодня — миллион. А завтра?

— Завтра? Я еще не прикидывал, но думаю, что потребуется в десять крат больше, ибо считаю, что исследовать Колыму экспедициями — это пить спирт чайной ложкой. На Колыме необходимо создавать целое геологическое управление, свой Геолком. Чтоб не наездами, а постоянно, изо дня в день изучать, исследовать, открывать и тут же передавать в эксплуатацию открытые месторождения.

— Так там должно быть, если продолжить вашу мысль, и самостоятельное приисковое управление, по типу «Дальзолото», «Востокзолото», «Алданзолото», — «Колымзолото»?

— Несомненно, Александр Павлович. Колымзолото. И направлять нужно туда не таких руководителей, как Бондарев или бездарный инженер Матицев, который не мог отличить осадочные породы от магматических, крупу от крупчатки, а величал себя «оком Союззолота»...

Все засмеялись, видимо, здесь Матицева знали.

Поддержанный этим смехом, Юрий Александрович обратился к Серебровскому:

— Ну почему, Александр Павлович, вместо Оглобина направили какого-то Бондарева? Если Оглобин был слаб как специалист по золотодобыче, то Бондарев и золота в рубашке никогда не видел, смотрит больше в рюмку и кичится своим дореволюционным партийным стажем. Он и Колыму, и партбилет — все проплет. Почему не послать вместо Оглобина такого прекрасного организатора и настоящего партийца, как Бертин Вольдемар Петрович?

— Опять вы о нем, — улыбнулся Александр Павлович, — да я вам говорил, что у нас таких самородков — раз, два и обчелся. И сейчас Вольдемар Петрович очень нужен на Алдане, сами знаете, что там натворили в его отсутствие... Бертина на Колыму я не могу послать, а вот

другого такого же самородка, Улыбина Николая Федоровича...

— Товарищ Улыбин сейчас на Каларе...— подсказал кто-то.

— Знаю. Но придется, пожалуй, его с Калара отозвать на Колыму... А что касается миллиона...

— Сегодня строгий режим экономии, и с этим надо считаться,— опять встал кто-то из сотрудников.

— Да вот я, пока товарищ Билибин докладывал, слушал его и прикидывал по своей методе, со всеми поправками на ваш, Юрий Александрович, колымский патриотизм. Среднеканскую дайку надо разведовать и нужна рудная партия. На поиски россыпного следует поставить не менее четырех партий... Составляйте смету, товарищ Билибин, а там посмотрим, может, урежем, а может, и прибавим. Это верно, одной экспедицией и одной приисковой конторой мы дело не потянем. Главное Колымское приисковое управление организуем в ближайшие дни, и не позже как в январе направим на Колыму новые кадры. Направим, не дожидаясь навигации, из Иркутска через Якутск по той самой тропе, о которой мы говорили... А что касается постоянной геологической базы, Колымского геолкома, как вы выразились,— это не в нашей компетенции. Обращайтесь, товарищ Билибин, в свой Геолком, пока его не реорганизовали. А все, что вы здесь говорили о Колымском крае, его значении, его освоении, повторяю, очень важно. И вы этих мыслей не оставляйте... Не сегодня-завтра я доложу о Колыме Сергею Орджоникидзе, а при первой возможности и товарищу Сталину. Начнем, как вы говорите, ратовать за Колыму!..

УЛЫБИНСКИЙ ПОХОД

Серебровский слово свое сдержал. Обстоятельно доложил о Колыме наркому тяжелой промышленности Орджоникидзе и, не откладывая в долгий ящик, в том же декабре издал приказ об организации Главного Колымского приискового управления. Главноуправляющим назначил Николая Федоровича Улыбина.

Коренной забайкалец, потомственный старатель, родом с Казаковского золотого промысла — царской каторги,— Николай Улыбин образование получил церковноприходское, но прошел на приисках солидную школу золотого дела, да и читал немало. Управлял Могочинским приисковым

управлением, а как открыли Калар, направили его в этот необжитый край руководить прииском «11 лет Октября». Год проработал — начальник Востокзолота Перышкин вызвал в Иркутск:

— Засиделся на Каларе, Николай Федорович?

— Вроде нет, дело только налаживается..

— Есть для тебя дело поважнее. Вот приказ. Новый год встретишь с женой, а через десять дней в поход на Колыму! Собирай экспедицию...

— Что так скоро? Горит?

— Колыма-то? Горит. Послали туда управлять какого-то пьяницу. Выезжай спасать не мешкая, а то, говорят, проплет всю Колыму Степка Бондарь. А Колыма — второй Калар, может, и богаче. Дело там разворачивается не шуточное. Ты мастер на такие развороты. Тебя и направляем. Навигация закончилась, придется идти на Колыму по суше и до весенней распутицы успеть. Торопись. Не хотел и не хочу я тебя отпускать, но, видать, Билибин уговорил Серебровского. Билибина знаешь? Нет. Ну, узнаешь. Билибин и Улыбин хороши для рифмы в стихах, а работаете ли на деле? Он медведь напористый, ярославский, ты — забайкальский. Сойдутся Европа и Азия. Не уступай.

10 января 1930 года экспедиция Главного Колымского приискового управления из одиннадцати человек выехала из Иркутска. 14 января поезд доставил ее на станцию Невер. Выгрузились, готовы были с подножки вагона топтать по Алданскому тракту, а лошадей, что запрашивали телеграммой, нет: угнали на Алдан, вернутся не скоро.

Пошел Николай Федорович стучаться в тесовые ворота, в хоромы высокие, выглядывавшие из частокола резными наличниками. Торговался, подряжал подводы у недобитых торгашей и нераскулаченных лошадиников. Три дня ухлопал. Наконец 18 января в шесть часов вечера тронулись на шестнадцати подводах по Алданскому тракту на север.

Начался беспримерный в истории поход на Колыму. Сухопутьем, по тайге и тундре, через реки и сопки, в самые крепкие морозы и пурги предстояло пройти более трех тысяч верст в течение ста дней, не меньше.

Впереди вместе с проводниками шел Улыбин. В меховых унтах, в белом дубленом полушубке, подпоясанном кожаным патронташем, с неразлучной двустолкой, он, заядлый охотник, был похож на командира партизанского отряда, которым и был в годы гражданской войны. Во многих местах дорогу переметало, искать ее приходилось, утопая по

пояс в снегу. На ночлеге, в зимовье, если добирались до такого уюта, а нередко в палатке при колеблющемся свете стеариновой свечки Николай Федорович каждый день похода заносил в тетрадь.

Позже его сын, Николай Улыбин-младший, используя дневник своего отца и его воспоминания, напишет повесть «Нетронутые снега». Повесть художественная, поэтому не все в ней представлено так, как было на деле. Географические названия изменены: Колыма — Комыть-юрях. Фамилии — тоже: Улыбин — Аргунов. Появились кочующие из одной повести в другую пресловутые американцы мистер Джеймс и Дик, пытающиеся как-то прижугить чужие природные богатства и убивающие первого старателя Соловейку, в котором можно усмотреть легендарного Бориску. Советские геологи, истинные открыватели Золотой Колымы, не упоминаются. Их роль по традиции передана старателям. Они пишут в Москву, по их письму направляют Аргунова на Комыть-юрях. Сам поход описан не без детективных накладок, но довольно ярко. Правда, даты почему-то тоже расходятся с подлинными, имеющимися в одном из магаданских архивов.

Когда экспедиция Улыбина вышла с Невера, тюки прессованного сена поднимались выше лошадей. Часть людей сидела на них, рискуя свалиться. Многие предпочитали идти пешком. Ломовые лошади шли тяжело, медленно, по пять верст в час, а на увалах и того меньше. Первые двадцать дней шли бодро, с прибаутками, на тюках с сеном даже песни затягивали.

На двадцатый день с рассветом вся кавалькада вступила в Незаметный. «Столица» Алданского края встретила экспедицию с большим и нездоровым любопытством. Распаленные колымскими рассказами Эрнеста Бертина, гостившего здесь месяц назад, искатели форта и вечные копачи сразу же стали испытывать улыбинцев, куда и зачем, а узнали, что экспедиция движется на Колыму, одни начали упрашивать взять их с собой, другие — сбивать свои артели, чтобы также посуху отправиться за колымским золотом. Алданскому начальству пришлось срочно вывешивать новые объявления о том, что на Колыме проводятся только разведывательные работы, деленок для эксплуатации не дают, и принимать экстренные меры для задержки артелей, готовых ради золота ринуться на голодную смерть.

В эти дни Улыбин познакомился с Вольдемаром Петровичем Бертиным. Двум крупным самородкам золотой

промышленности, двум партийцам, было о чем поговорить и что друг другу посоветовать. Вольдемар Петрович не без зависти смотрел на Николая Федоровича. Сколько лет мечтал о Колыме, а его все обходили: то Билибин с Эрнестом, то теперь Улыбин... Но и завидуя, Вольдемар Петрович все же чувствовал себя причастным к открытию золотой Колымы, поэтому охотно делился всеми своими знаниями и опытом золотоискателя и всегда готов был бескорыстно помочь людьми, транспортом, продовольствием.

Четыре дня пробыла экспедиция Улыбина в Незаметном. Сменила лошадей, пополнилась продуктами и фуражом. 12 февраля вечером покинула «столицу» Алданского края, двинулась на Якутск, куда и прибыла через десять дней. Остановились на кружале — большом постоялом дворе, похожем на деревянную крепость, построенную русскими казаками. Здесь предстояло с конного транспорта перегрузиться на олений и дальше идти по оленьей тропе.

От Якутска на оленях в день шли по шесть часов, не больше. До рассвета животные отлеживались, потом кормились, доставая из-под снега ягель, немало времени тратилось на их сбор, и раньше десяти утра не выезжали.

Да и дорога нелегкая. Двигались по льду рек, зажатых меж сопок, а эти речушки виляют, словно кружатся на одном месте. Нередко встречались наледи. Вода в самые крепкие морозы вырывалась со взрывом из-под льда и разливалась, не замерзая, от берега до берега, а к весне таких наледей становилось все больше. Сверху сорокаградусный мороз давит, ниже — ноги по колено в ледяной воде, а под ногами — скользкий лед, а то и промоина.

Куржаком покрылись подпотевшие олени бока, и стволы рогов унижены мохнатым инеем. Красотища! Но ни людям, ни оленям не мила эта красота. Животные скользят, падают, в кровь разбивают морды и не могут подняться на ноги. Другие тащат их, лежащих на боку, по нескольку метров. И люди скользят, падают, купаются в ледяной воде. Тунгуса-каюра Петра Федорова сбило течением и едва не унесло под лед, вовремя подали палку, ухватился за нее, и его вытащили.

Одно радовало Улыбина, что весна в этих краях не топила. Днем солнце пригревало, а ночью подмораживало, как и зимой. По льду Колымы 3 мая экспедиция прибыла на Утиную, 10 мая — на Среднекан. За сто пять ходовых дней прошли три тысячи шестьдесят пять километров. А всего в походе провели ровно четыре месяца.

В Среднекане, по указанию Серебровского, Улыбин

должен был снять с должности управляющего Степана Бондарева, по возможности использовать его на какой-либо другой работе. Но ни снимать, ни использовать не пришлось.

Степка Бондарь за три месяца до этого бросил контору со всеми приисками и укатил, или, как он выражался, перенес свою резиденцию, в Олу. Оставил на приисках вместо себя собутыльника Слюсарева, по прозвищу Ванька Слесарь. Преемник Степки Бондаря работу пустил на самотек, подписывал любую бумажку не глядя. Продовольственный склад растащили, люди бежали от голода в Олу. На Утиной и Среднекане почти никого не осталось.

А те, кто остался, не могли забыть жуткую, как кошмарный сон, историю короткого правления Степки Бондаря. Прибыл он на Среднекан 6 октября и сразу же, якобы по указанию сверху, а на самом деле по своему произволу, начал творить чистку. Всюду и во всем видел троцкизм, оппортунизм, контрреволюцию. Разогнал всех служащих приисковой конторы, не тронул лишь счетовода Лекарева (он еще был и фельдшером) и молодого техника Петра Кондрашова, исполнявшего обязанности техрука: без них, видимо, не мог обойтись. Утинские прииски, как недостаточно снабженные продовольствием, закрыл. На среднеканских работа сама собой прекратилась. Степка Бондарь наложил запрет даже на технические и художественные книги, оставленные Билибиным и Казанли в дар Кондрашову:

— Еще посмотрим, что там за книги и на каком языке!..

— Технические справочники на немецком, Толстой на русском,— пытался отстоять библиотеку Кондрашов.

— Какой Толстой? Граф, что ли? Сжечь. Все сжечь!

Всех разогнав и все позакрывав, Степка Бондарь ударился в беспробудное пьянство. Ликвидировав весь спиртной запас, открыл браговарение из сушеных фруктов и сахара. Брагу варили в столовой, в многоведерном титане. Бондарев перенес этот бак в свою штаб-квартиру и занялся потреблением его содержимого, не поднимаясь с топчана.

Однажды секретарь партячейки Лунев, что был в экспедиции Билибина, и комсомолец Беляев вылили эту брагу, чтоб управляющий отрезвился и поинтересовался разведывательными работами.

Степка набросился на них:

— Кого учите, молокососы? Я командирован Далькрайкомом! Стану я с вами считаться!

Вольготно стало жить на прииске хищникам, шуровщикам, картежникам и пьяницам. Они, прижимаемые прежде Оглобиным и Поликарповым, величали нового управляющего «освободителем пролетариата».

Секретарь партячейки решил сплавить Бондарева в Олу: там есть тузрик, милиционер, приберут к рукам. Поручил техруку Кондрашову и счетоводу-фельдшеру Лекареву уговорить управляющего выехать в Олу сопровождать золото.

Уговаривать, однако, не пришлось. Едва Кондрашов заикнулся, что для переправки золота в Олу нужен смелый и надежный человек, Степка перебил его:

— Знаю! Золотой запас никому не доверю, сам повезу.

И уехал безвозвратно, вроде бы и не по своей прихоти, а по неотложным делам и по просьбам трудящихся. Из Олы присылал невразумительные приказы, которые никто не читал и не выполнял. А сам в Оле стал куролесить еще пуще. Вокруг него завертелись старые дружки, Кондратьев, завагентством, и родня жены, ольской камчадалки Бушуевой. Степка брал казенные деньги, спирт, вино, папиросы, консервы, сахар, монпансье.

Ольский тузрик и милиционер не знали, что предпринять. Поступить по примеру прежнего тузрика опасались, опять Бондарев и Кондратьев будут на всю Олу кричать: «Коммунистов быют!» Почти два месяца тузрик и милиционер молча взирали на все художества Бондаря и его компании. 23 марта терпение лопнуло, и по радио передали в крайком и крайисполком донесение о поведении управляющего колымскими приисками и стали ждать указаний.

Но никаких указаний до самой навигации не дождалось. С первым пароходом прибыл в Олу новый управляющий из Дальзолота Домбар. В это время приехал в Олу и Улыбин — по делам службы и встретить жену.

И сошлись в Ольском райцентре три управляющих: Бондарев, Домбар, Улыбин. Троевластие, и только! Районные руководители стали разбираться в этой чехарде, молниировать и телеграфировать в Иркутск, Владивосток, Москву. Разобрались. Законным главноуправляющим остался Улыбин. Присланный по несогласованности Дальзолота с Союззолотом Домбар оказался не у дел. Бондарева отозвали во Владивосток, где его посадили на скамью подсудимых, и он получил по заслугам.

Все это произошло летом 1930 года, когда в бухту Нагаева прибыла вторая Колымская геологопоисковая экспедиция.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

КРАСНЫЙ ГРАНИТ И БЛАГОРОДНАЯ ШПИНЕЛЬ

Вернувшись в Ленинград в декабре, Юрий Александрович в январе женился.

Ни на Алдане, ни на Колыме ни словом не обмолвился о своих сердечных помыслах и вдруг, едва сошел с поезда, сразу — в узы Гименея. Его друзья-догоры поверить не могли, чтоб их улахан тайон, свободолюбивый и разумный, так скоропалительно дал надеть на себя хомут, что даже на свадьбу никого не успел пригласить, да и была ли она, свадьба-то?.. Все это так не похоже на Билибина! И подумывали, что это очередной розыгрыш, которые частенько предпринимал их любимый начальник.

Но был не розыгрыш, и ничего скоропалительного в женитьбе Билибина тоже не было. На этот высокий и крутой перевал своей жизни Юрий Александрович взбирался четыре с лишним года, бывало, и скатывался не без ушибов, и терял уверенность в своей неотразимости. И лишь когда Сергей Обручев на берегу реки Колымы, ниже речки Утиной, передал ему почту из Ленинграда, а вместе с ней и маленькую фотокарточку с дарственной надписью той, по ком вздыхал украдкой от людей, Юрий Александрович понял и почувствовал, что он — в чем был и не был виноват — прощен и ему до вершины перевала осталось несколько легких шагов...

Задержавшись в Москве с докладами, отпустив всех членов экспедиции, в Ленинград он приехал на «Красной стреле» один. Все родные и та, к которой он стремился, уже знали, что он со дня на день придет, ждали, собирались встретить его на вокзале, но он решил телеграмму никому не давать, хотел нагреться вдруг.

За полчаса до прибытия в Ленинград он облачился во все таежное: в оленьи торбаса, медвежью доху и тот якутский малахай, что подарила ему в Сеймчане столетняя

Тропимна. К этому звериному одеянию борода его шла как нельзя лучше. Ну а глаза — светло-голубые — делали его совсем похожим на врубелевского Пана.

И в таком обличии Билибин, сдав багаж в камеру хранения, вышел на привокзальную площадь, крикнул извозчика, завалился в сани, важно огладил бороду и густым басом пророкотал:

— Барда на Острова!

И вдруг серебристым девичьим голоском залился:

Гайда, тройка! Снег пушистый,
ночь морозная кругом...

Кучер, выдавший всякие питерские чудачества, изумленно воззрился на седока и пытливо глянул на дно повозки: не спрятал ли под полостью рыжебородый детина певунью-красотку?

Довольный розыгрышем, Юрий Александрович раскатисто захохотал.

— Граммофон. Как есть граммофон, — пробурчал возница и тронул свою худющую пегую лошадедку.

Утро стояло туманное, с морозцем и дремотной тишиной. На карнизах и подоконниках висели сосульки, вероятно накануне была оттепель. После тайги Невский проспект — без единого деревца — показался унылым и пустынным, а сами дома за два года вроде бы осели.

Лишь на стрелке Васильевского острова Юрия Александровича неожиданно обрадовали тонконогие молоденькие липки, недавно высаженные у парапета набережной. Унизанные мохнатым инеем, они звонко поблескивали и, словно серебряные колокольчики, приветствовали возвратившегося в пенаты Билибина.

И сам Билибин вскочил им навстречу, навалился на одну сторону саней так, что они рискованно накренились, и вся Пушкинская площадь услышала:

— Здравствуй, племя младое, знакомое!

Дремавший извозчик спросонья испуганно взвизгнул:

— Выручай, кормилица! — и отчаянно хлестанул по ребрам пегашки, но, уразумев, в чем лихо, перекрестился: — У, черт, шепутной! То бабой голосил, то мужиком заревел. Не вздремнешь!

Возок круто развернулся. Зайндевелые тонконогие липки, будто балерины, поменялись местами. Но пока они не скрылись за углом старой Биржи, Юрий Александрович не отрывал от них глаз, и сердце его наполнялось предчувствием радостных встреч.

А тут еще выступили засвидетельствовать свое почтенные старожилы петровских времен, знакомые каждой лепной завитушкой, каждым камнем и каждой щербинкой на камне. За два года они тоже будто постарели — Кунсткамера, двенадцать сестер-коллегий, Меншиков дворец...

Впрочем, что с ними за два года может случиться?.. Это ему на два года стало больше.

— Отец, сколько мне лет? — спросил он возницу.

— А это глядя по обстоятельствам. По бороде — давно пора остепениться, деток нянчить, а по всему прочему — вроде и рано.

— Ох и уклонист ты, батя...

Возле Академии художеств Билибин вдруг остановил сани и так же неожиданно отвалил извозчику за всю дорогу, которую еще не проехали, щедро дав ему на чай, а его кормилице на овес.

Кучер почтительно привстал и, маленький, в огромном тулупе, начал раскланиваться, словно колокол раскачиваться, малиново вызывая:

— Благодарствуем. Премного благодарствуем, гражданин хороший. — Проворно спрятал выручку и добродушно ухмыльнулся: — А шепутной. Как есть шепутной.

— А это хорошо или плохо?

Старик, опасаясь, что сболтнул лишнее, поспешно повернул оглобли:

— А это по обстоятельствам...

— Опять по обстоятельствам! Ну, а долго будешь скрипеть на своей колымаге по обстоятельствам-то? Времена-то ваши проходят. Лимузины едут на смену пегашкам.

— Отходят, сынок, отходят, — охотно и даже со слезой согласился извозчик. — Овес день ото дня дороже. Налоги на закладку все больше. Такие обстоятельства — хоть в профсоюз пишись. Но еще поскрипим от ваших щедрот, товарищ хороший.

— Ну, скрипи, старик!

Юрий Александрович двинулся было к проспекту Пролетарской Победы, но остановился: рано еще, все спят, и она спит...

Он вернулся к набережной, смахнул снег с парапета и по студенческой привычке уселся на него. Под теплой ладонью гранит засверкал блестками слюды и полевого шпата. Юрий Александрович погладил его и ласково, с чувством признательности, произнес:

— Рапакиви. Красный гранит рапакиви...

...После разгрома белополяков он вместе с отцом продолжал служить под командованием Тухачевского. Самым командармом был направлен в Политехнический институт Западного фронта. Учился и преподавал математику в красноармейском университете и на пехотных курсах начсостава, но быть всю жизнь военным, как его отец, не собирался.

И вот однажды, после подавления кронштадтского мятежа, в красную казарму с просветительной целью прибыл докладчик. Военком представил его:

— Наш красный профессор! Был депутатом Петроградского Совета. Царь не давал ему учиться, ссылали его, студента-революционера, в Чердынск, тянул он солдатскую лямку на царской службе. И лишь после Октября, несмотря на свой уже немолодой возраст, он сел на студенческую скамью и за один год не только закончил Петроградский горный институт, но и стал его профессором! Приветствуем, товарищи красноармейцы, нашего красного профессора товарища Болдырева! Ура!

От смущения профессор покраснел, насупил черные густые брови и, не дав затихнуть рукоплесканиям, начал:

— Я расскажу вам про камни, про обычные камни, которые нас окружают, про булыжники, по которым мы ходим. Знаете ли вы, из какого камня сделаны набережные Невы, колонны Исаакия и Казанского собора? Они сделаны из красного гранита, называемого по-фински рапакиви. А знаете ли вы, как родился этот рапакиви?

И профессор, как будто сам все видел, что было миллиарды лет назад, рассказывал, как из глубин земли вырывались газы, выплескивались огненные лавы, а потом эта масса застывала в камень...

После лекции красноармейцы приняли резолюцию: «Приветствовать доклад красного профессора товарища Болдырева о красном граните и булыжниках — оружии пролетариата. Недра земли принадлежат народу! До последней капли рабоче-крестьянской крови будем защищать эти недра!» И щедро угостили докладчика морковным чаем.

Юрий и прежде, в реальном училище, увлекался минералами, собирал камешки на даче в Лиозно, в окрестностях Смоленска, но только после этой лекции твердо решил изучать камни и стать таким же ученым, как этот профессор. В том же году по Красной Армии вышел приказ: откомандировать всех студентов-горняков в Петроградский горный институт. Юрий таковым студентом не был, но ре-

шил попытать счастья, обратился к самому Тухачевскому с просьбой перевести его из Института Западного фронта в Петроградский горный. Командарм с большим сожалением: «Из вас, товарищ Билибин, стал бы хороший красный командир, как отец!» — все же разрешил. Юрий на имя ректора Петроградского горного института послал прошение о зачислении его студентом и был зачислен как демобилизованный боец Красной Армии.

Солнечным сентябрьским утром, в изрядно потрепанной солдатской шинели и отцовской с красным верхом папахе, поднимался он по широкой лестнице навстречу величественным белым колоннам портика и изваянным из пудожского камня скульптурам. Статуи на мифологические сюжеты должны были внушать студентам, что знания легко не даются, их надо, как Геркулес Антея, вырывать из земных недр или похищать, как Плутон Прозерпину. Билибин чувствовал в себе геркулесовы силы и поднимался уверенно, не думая, как и на что будет дальше жить.

Жить ему, как и многим студентам того времени, приходилось очень туго. Ни от какой работы, изредка предлагаемой биржей труда, студент Билибин не отказывался: расчищал снег на трамвайных путях, выгружал уголь в порту, мостил булыжником улицы... Но заработки были случайные и скудные, голодовать доводилось отчаянно. И хотя Юрий самолюбив был, однако приходилось просить руководство института:

«Вносить плату за учение я не в состоянии. Не имея никакого постоянного заработка, я сейчас живу только тем, что мне удалось заработать осенью в порту, употребив на это полтора учебных месяца. Рассчитывать на поддержку из дома не могу, так как отец, член профсоюза транспортников, получает ограниченное жалование, содержит на своем иждивении мою сестру и мать...»

После гражданской войны его отец служил в управлении Днепропетровского водного транспорта, мать попала под сокращение штатов и не работала, сестра Людмила училась в Могилевском институте народного образования и стипендию тоже не получала.

На прошение наложили резолюцию: «Оставить в силе прежнее постановление».

И студент Билибин вынужден был снова писать: «Даже последний выход — продажа своих вещей — для меня закрыт, потому что имею только то, что на мне. Остается одно — уходить из института. Этот выход мне тем более

обиден, что, несмотря на крайне тяжелые условия жизни, я все же проявил полную активность, в настоящее время мной сдан не только рождественский минимум, но даже более 100% годового».

Юрий страдал малокровием, упадком сил, и, по заключению комиссии, ему дважды разрешали месячные отпуска на поправку к родителям в Могилев.

Теперь открывателю золотых месторождений об этом нелегко и не очень приятно вспоминать. Но так было. Почти все студенты голодали и даже профессора. Тот же Болдырев жил коммуной со Смирновым и Наливкиным, будущими академиками, и питались впроголодь.

Юрий квартировал в общежитии рабфаковцев — без печей, с недействующим отоплением. На пол клали кирпичи, на них разводили костры, варили похлебку в армейских котелках. Спичек не было, и, как в первобытные времена, для поддержания огня переносили зажженную лучину из комнаты в комнату. Спали на голом полу по-солдатски — на шинели и шинелью укрывались. Лишь книги, подложенные под голову, свидетельствовали: красноармейцы-фронтовики стали студентами-горняками.

Над богатейшей коллекцией минералов институтского музея и над книгами Билибин просиживал до ломоты в костях и говаривал:

— Нет такой книги, которую нельзя прочитать за одну ночь.

Посещение лекций было свободное: хочешь — ходи, хочешь — нет. Надо лишь набрать минимум очков, баллов, чтобы оставаться студентом. Многие готовились к экзаменам только по книгам да по конспектам товарищей или сдавали их по шпаргалкам. Сдавали экзамены тогда, когда считали, что достаточно хорошо усвоили предмет, или, если подпирал страх быть отчисленным, шли на арапа. Одних это приучало к самостоятельности и углубленному изучению той или иной науки, другим позволяло бездельничать.

Юрий ходил на все лекции. В аудиториях замерзали чернила, пальцы от холода коченели, а он записывал все, да так, что его конспекты, написанные четким крупным почерком, толково и ясно, ценились как прекрасные учебники, и многие студенты успешно сдавали экзамены по ним.

Надеждой института называли Билибина профессора. Даже самый строгий и требовательный Болдырев, который от каждого студента требовал, прежде чем назвать минерал, хотя бы и известный, проделать все процедуры его

распознавания, восхищался студентом Билибиным, его знаниями, пытливостью, памятью.

Однажды в минералке Юрий, с большим тщанием осмотрев, поцарапав, понюхав, полизав, взвесив, обмерив камень, сказал:

— Благородная шпинель. Показатель преломления — 1,725.

Болдырев приподнял густые черные брови:

— А как же вы, молодой человек, запомнили показатель преломления? На камне он не написан.

— Очень просто, Анатолий Капитонович. Петр Великий носил в галстук булавку с благородной шпинелью. Это был его обожаемый камень. А как известно каждому школьнику, Петр почил в бозе в тысяча семьсот двадцать пятом году. Так я запомнил показатель преломления этого драгоценного камня — 1,725.

— Мнемоника, значит, — улыбнулся строгий профессор. — А это точно, что Петр Первый носил благородную шпинель?

— Не ручаюсь. Кажется, где-то читал или слышал. Но я хорошо помню, когда умер первый русский император, остальное могу и придумать. Он с меня не взыщет.

— Конечно, — улыбнулся профессор, — хорошему студенту сам Петр служит, — и с удовольствием вывел в зачетке «пятерку».

А Билибин взял себе за правило — каждый минерал определять, как учил Болдырев. И таким методом, будучи еще студентом, когда готовил дипломную работу по материалам Хакасской экспедиции, открыл неизвестный науке минерал — алюмогидрокальцит. Его сообщение опубликовали «Минералогические записки». О дипломной работе «Алюминиевые минералы Хакасского округа» председатель квалификационной комиссии Болдырев отозвался как о почти готовой диссертации.

Это было весной 1926 года. 10 мая Билибину присвоили квалификацию горного инженера. Свидетельство об окончании Ленинградского горного института геологоразведочного факультета по геологической специальности подписали председатель квалификационной комиссии профессор А. К. Болдырев и секретарь этой же комиссии Н. И. Трушков.

НА ВЫСОКОМ ПЕРЕВАЛЕ

На последних курсах Юрий Александрович уже не бедствовал.

Летом двадцать четвертого года под руководством профессора Заварицкого он исследовал Бакальский рудник в Златоусте. Профессор и прежде, когда читал лекции, принимал экзамены, выделял пытливого студента, а на Урале увидел в своем любимом ученике серьезного исследователя. На следующее лето, по рекомендации Заварицкого, Билибин отправился помощником начальника Хакасской экспедиции в Минусинский край, а когда вернулся, то для обработки полевых материалов этой экспедиции был зачислен в штат Геологического комитета научным сотрудником.

Зарплаты хватало на безбедное житье и даже на обновление гардероба. Красноармейскую, изрядно потрепанную, шинель и отцовскую полковничью папаху из облезлого каракуля Юрий сменил на полную студенческую форму: фуражку с горняцкими молоточками над лакированным козырьком и тужурку на белой шелковой подкладке, но без наплечников, какие, с екатерининскими вензелями, носили студенты Горного до революции, а белоподкладочники и после.

В это же время случилось несчастье, без которого не бывает счастья. Дом на 20-й линии, стоявший напротив института, где жили такой дружной коммуной, что сигарки прикуривали ради экономии от одной горящей спички, просовывая ее в щель деревянной перегородки, — дом на 20-й линии сгорел, возможно от этой самой сбереженной спички. Билибину как сотруднику Геолкома выдали ордер на жилплощадь в коммунальной квартире дома № 56 по проспекту Пролетарской Победы. Он перевез сюда свою мать из Могилева и зажил маленькой семьей.

И надо же так случиться, что в этом же доме в это же время получил квартиру профессор Трушков, только в другом подъезде. У Билибиных была квартира 84, у Трушковых — 48.

До этого Трушков Николай Ильич много работал на различных рудниках страны, изучал рудное дело в Европе и Америке, словом, был крупнейшим горным инженером, специалистом по разработке рудных месторождений, напечатал много трудов и учебников, в последние годы профессорствовал в Томском технологическом институте. Из Томска его и пригласили в Ленинградский горный.

Профессор перевез из Томска свою семью: ослепшую восемь лет назад жену, дочь девятнадцати лет, сына помладше.

Была у Трушковых огромная собака, довольно свирепого вида. Этого пса, еще не зная, что он профессорский, Юрий старался обходить. Выгуливала его слепая женщина, держа за короткий поводок. Иногда с ним прохаживалась миловидная девушка. Юрий не раз хотел с ней познакомиться, но в присутствии пса подойти близко не осмеливался, а без него никогда ее встречать не доводилось, и единственное, что оставалось, это кланяться издали ей, а она этих поклонов вроде бы не замечала, да может быть, и девичья гордость не позволяла ей раскланиваться с незнакомым молодым человеком.

Так бы они ходили мимо друг друга. Но вскоре Юрию посчастливилось познакомиться с ней. Случилось это у самого порога профессорской квартиры и при обстоятельствах весьма забавных.

Профессор Обручев Владимир Афанасьевич, главный научный консультант треста «Алданзолото», сразу же, как Юрий Александрович получил квалификацию горного инженера, порекомендовал его геологом на Алдан. Будущий академик выразил надежду, что молодой одаренный инженер разработает новые методы поисков золотых месторождений и Алдан станет последней страницей в длинной истории случайных открытий золота, а русская золотая промышленность вступит в научную фазу своего развития.

После получения рекомендации Обручева Билибину нужно было перед отправлением на Алдан подписать кое-какие бумаги, направления. Требовалась подпись и секретаря квалификационной комиссии профессора Трушкова. В институте Юрий его не нашел, решил побеспокоить на дому.

От стука Юрия незапертая дверь профессорской квартиры распахнулась. Из нее бросилась с угрожающим рычанием та самая огромная свирепая собака. Билибин ослеплен:

— Свой, свой...

Но пес не пожелал признать его за своего и, надвигаясь, оскалил крупные клыки.

Выбежала из комнаты в прихожую та самая миловидная девушка с книжкой в руке и замахала этой книжкой:

— Ермак! Нельзя! Фу!

Но Ермак продолжал напирать. Девушка потянула его за ошейник. Где там! Пес был гораздо сильнее ее.

— Уйдите, пожалуйста, и закройте дверь! Я успокою его и загоню в ванну...

Но Юрий Александрович почел унизительным, да еще на глазах такой девушки, по которой вздыхал, отступать и прятаться за дверь. Откуда взялась смелость! Он сам опустился на четвереньки, зарычал не хуже пса, оскалив зубы, и, страшно выпучив глаза, попер на собаку.

Такого зверя пес не видел, а, будучи по характеру незлым, добродушным, сам недоуменно попятился и отступил. Не стал связываться.

Девушка захохотала:

— Вы какой породы? Из дворян?

Билибин встал, выпрямился, ответил не то всерьез, не то шутя:

— Чистокровный дворянин.

Так они познакомились. Ее звали Наташа. Родилась на Урале, в Екатеринославле, выросла в Сибири.

— Челдонка, — говорила она о себе.

Разница в их возрасте была пять лет. Он уже закончил институт, а она лишь первый курс Ленинградского университета.

Когда горный инженер Билибин уезжал на Алдан, между ними не было еще никакой договоренности. Об истинной цели своей поездки, о рекомендации и пожелании Обручева Юрий Александрович умалчивал, чтоб не показаться хвастуном, но о своих чувствах к девушке и своих мечтах на будущее прозрачно намекнул:

— Еду на два года... Подзаработать на мебелишку...

Она поняла, почему он говорит о мебели, ответила так же:

— А мне томиться в университете еще четыре года...

Это значило: буду ждать хоть четыре года и замуж и за кого не выйду, пока не закончу университет.

Через два года он вернулся. Заработал не только на мебелишку, но и на начало вполне обеспеченной семейной жизни. Из Могилева приехали к нему в Ленинград сестра, закончившая тамошний пединститут, и отец, вышедший к этому времени на пенсию по болезни. Оставалось только, по обычаю, жену ввести в дом.

С приездом отца, хотя и больного, но всегда веселого, на шутки-выдумки гораздо, в коммунальную квартиру Билибинных словно возвратился тот семейный климат, который царил в Смоленске, в довоенное время. Стали приглашать гостей.

Пригласили и Трушковых, и, разумеется, не только как

соседей. За столом Наташу и Юрия посадили рядом. Наташин брат, тоже Юрий, студент Горного института, сел напротив. Остальные — кому где удобнее.

Билибин-старший, Александр Николаевич, которого и болезнь не могла сломить, такой же стройный, по-военному подтянутый и элегантный, сразу же вошел в свою старую роль хлебосола и краснобая.

Билибин-младший ни в чем не хотел уступать старшему, но все же главное внимание уделял преимущественно одной гостье — Наташе и угощал ее, и шутил с ней, и даже стихи читал ей.

Решил показать ей и игрушку-чертика, которого они с отцом прятали за картиной, висевшей на стене.

— Посмотри, Наташа, на пейзаж. «Дремучий лес» называется, — и тайком, под столом, дернул за ниточку.

Из «Дремучего леса» выскочил чертик с рожками и плутоватыми глазками.

— Ах, какой забавный чертик! — воскликнула Наташа.

А Юрий снова дернул за потайную ниточку — чертик исчез. Все, и профессор Трушков, и его сын-студент, посмотрели туда, куда глядела Наташа, но ничего, кроме картины, не увидели. Профессор начал пенсне протирать, а его сын передернул плечами и озорно хмыкнул:

— Ого, сестрица! Напилась до чертиков!

Все засмеялись. А девушка не на шутку обиделась, вспыхнула, вскочила и убежала. Случилось это в мае, в день рождения Юрия, а когда он в том же месяце уезжал на Колыму, Наталья даже не пришла проводить его, и напрасно он все глаза проглядел, когда искал среди провожавших на вокзале гордую и порушенную свою любовь.

И вот он приехал, прощенный и обнадеженный и во всей своей таежной красе: в торбасах, в дохе, в малахае, и с бородой.

Пора идти на встречу. Узнает ли его в таком обличье Наташа? А пес узнает ли?

Пес бросился, вырвавшись из рук молодой хозяйки, но с приветственным лаем и даже с лобызаньями. А Наташа сначала не узнала, лишь потом воскликнула:

— Тунгус!..

ПЕРВЫЙ СВАДЕБНЫЙ ВИЗИТ

Позже, пятьдесят лет спустя, Наталья Николаевна Трушкова, вспоминая свой медовый месяц, напишет:

«Свадьбы у нас не было, но были свадебные визиты» — и назовет тех, кого они, молодожены, навестили сразу же после женитьбы.

Все, кому они сделали визиты, — институтские друзья Юрия Билибина. И не только друзья, но и члены Сибирской секции геологического кружка Ленинградского горного института. Этот кружок возник в конце прошлого века, действовал он и после революции. А Сибирская секция при нем была организована студентом Билибиным и его друзьями, и он, Юрий Билибин, все годы, пока учился, был ее душой и бессменным председателем. Они называли свою секцию хотя и не очень благозвучно, но кратко — Сибсек, а себя — сибсековцами.

Сибсековцы, как будет позже вспоминать Юрий Александрович, «со всей горячностью и легкомыслием молодости поклялись» закрыть все белые пятна на карте Сибири и Дальнего Востока и там, в труднодоступных местах, где никогда не ступала нога геолога, открыть все минеральные богатства, открыть и поставить их на службу трудовому народу. Сибсековцы «делили» всю Сибирь и весь советский Дальний Восток на свои «вотчины». Каждый брал себе, что хотел: Таймыр, Камчатку, Чукотку, Якутию, Колыму... Сначала в Сибсеке было не более десяти членов, «вотчин» на всех хватало, а на каждой «вотчине» просторно разместится не одно европейское государство, да еще с той разницей, что в европейских государствах все давным-давно известно и открыто, а тут на каждом шагу ждут тебя великие открытия и несметные богатства.

Сибсек вырос до полутора десятка членов, и для всех хватало неизведанных земель в Сибири. Сибсековцы хотели знать о своих «вотчинах» все. Копались в книгах, в архивах, в геофондах, вылавливали все, что попадалось, делились между собой своими «уловами», зачитывали и обсуждали рефераты. На свои заседания, которые проводились то в пустующей аудитории, то у кого-нибудь на квартире, приглашали заезжих сибиряков и тех, кто там жил и работал: геологов, учителей, врачей, бывших политссыльных... А когда наступала практика, норовили попасть в экспедицию поближе к своим «вотчинам».

И вот миновало четыре года, как председатель этой секции закончил институт. За это время он, горный инженер Билибин, сохраняя верность клятве сибсековцев, кое-что сделал, кое-что открыл на Алдане и на Колыме. Ну, а как другие?

Об этой цели визитов Юрий Александрович даже На-

таше ничего не сказал: просто навещал друзей студенческих лет и знакомил ее с ними.

Чтобы никого не обидеть, начал по алфавиту — с Бобина. Закончить визиты намеревался Серпуховым и Цереградским.

Наташе же показалось, что с Бобина начали потому, что он — лучший друг Юрия. Сам Юрий частенько обращался к нему, как Пушкин к Пушкину: «Мой первый друг, мой друг бесценный». И Бобин к нему с этими же словами. Правда, произносили они это с добродушной усмешечкой и вообще нередко друг над другом подтрунивали, но, несомненно, они, Юрий Билибин и Евгений Бобин, были друзьями. Вместе не только учились, но и жили коммуной, укрывались одной шинелью, ели из одного котелка, голодали, вместе подрабатывали на разгрузке в порту.

Говорили весело. Вспоминали первые геологические походы. Наташа подумала, что ни одна профессия не приносит человеку столько интересного, как профессия геолога, путешественника. Ей стало завидно, она начала жалеть, что поступила учиться на физико-математический факультет, а не пошла, как брат, по стопам своего отца, в Горный институт. Закончила бы, например, Ленинградский горный. Стала бы работать вместе со своим мужем в неведомых краях.

— А помнишь, Юра, как ради хлеба насущного мостили булыжную мостовую? — И Евгений Бобин, обращаясь к женщинам, начал рассказывать о своем друге: — Мастер он камни бить! Бывало, зажмет валунчик коленками, прицелится и хватит молоточком! Один удар и готово!

Юрий Александрович не возражал, лишь скромно вставил:

— Н-да, на булыжной мостовой я и познавал петрографию, науку о камнях, в поле это мне очень пригодилось.

— Бывало, — продолжал Евгений, — бородатые мостильщики, в лаптях, в холщовых фартуках, уставятся на него как на чудо! Учились. И сам он с такой же бородищей... Это для того, чтоб от барышень свое лицо спрятать, стыдно было юноше на мостовой камни тесать...

— И вовсе не поэтому... — попытался возразить Билибин.

— А посмотрите, какие у него руки! Какие утолщенные кончики пальцев! Какие крепкие ногти! Да с такими граблями не только камни на булыжной мостовой бить, но и на большую дорогу можно выходить!

Женщины взглянули на руки Юрия Александровича. Он не на шутку смутился и спрятал их за спину:

— Послушай, первый друг, ты лучше о себе расскажи.

— Догадываюсь, для чего пришел и что тебе от меня надо. Хочешь спросить, не забыл ли я нашу горячую клятву и свою вотчину Камчатку? Не забыл. Хочешь пригласить на Колыму? Приглашай. Поеду вместе с женой. Поедем, Наталья Константиновна?

— Поедем! — не задумываясь, ответила Наталья Константиновна, только что закончившая Московскую горную академию, и обратилась к своей тезке: — И вы, конечно, поедете, Наталья Николаевна?

Наташа не ожидала такого вопроса.

— Мы об этом как-то еще не говорили... — взглянула она на своего мужа, — да и какой из меня геолог?.. Я учусь...

— О! — весело воскликнул Евгений Бобин. — Геологами не рождаются, геологами становятся. А под руководством Юры...

— Но-о... — вступил тут Юрий Александрович, — как бы мне выразиться, чтоб не унижить женщин... Видите ли, верховья Колымы хотя и находятся южнее Полярного круга, но Южная Колыма все же весьма суровее Северного Кавказа... И участники нашей Первой Колымской экспедиции, исключительно одни мужчины, пришли к такому выводу, можно сказать, даже уговору, что слабый пол... надо жалеть...

— Чего ты тянешь? Это на тебя не похоже! Решили не брать? Так и скажи. Наталья Николаевна, за кого вы вышли замуж? Бросит, а сам уедет. Нет, так не пойдет... Берите, Наталья Николаевна, этого Наполеона в свои ручки и командуйте им как Жозефина! Но меня-то с женой он возьмет как миленький!

Наташе очень понравились Бобины, и сам Евгений Сергеевич, и его жена Наталья Константиновна, почти такая же молодая, как Наташа, а уже горный инженер и может вместе с мужем работать наравне там, где и он, им разлучаться не нужно.

Позавидовала Наташа своей тезке и еще раз пожалела, что не поступила учиться в Горный, хотя и папа, и дядюшка, профессор этого же института, палеонтолог Яковлев, чуть ли не тащили ее туда.

Но то ли потому, что среди студентов Горного девушек почти не было, то ли оттого, что «университет» звучит посолоннее «института», а может, характер не позволил учить-

ся там, где профессорами — ее отец и дядя (будут смотреть на нее как на профессорскую дочку и профессорскую племянницу, а она ни в каких поблажках не нуждается) — словом, не поступила в Ленинградский горный институт, а теперь ей очень жаль.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИБСЕКА

Следующий по алфавиту визит предстояло нанести Дмитрию Вознесенскому — Димке, как весело звал его Юрий Александрович.

Как только Билибин вернулся в Ленинград, Вознесенский сразу же разыскал его и без всяких околичностей заявил:

— Больше на Колыму без меня не поедешь. Не пушу! Колыма — это и Якутия, а Якутия — моя епархия. И родина моя! Ты это знаешь, как и то, что моя квартира — родильный дом Сибсека и клятвы мы давали у меня за праздничным столом, в октябрьские дни, в торжественный момент нашей жизни. Не забыл? Помнишь? — и Димка врезался своим ястребиным носом и горячей папиросой в бороду Билибину.

— Спалешь золотой оклад, — отстранился Юрий Александрович.

Билибин, конечно, все знал и помнил. В первую экспедицию он не взял Вознесенского прежде всего потому, что тот в то время был на Алтае. К тому же за Димкой числилось столько «хвостов», что одни говорили — он сам бросил институт, другие — что его вышибли снова, как в первый раз, когда была чистка студентов непролетарского происхождения. А если даже не то и не другое, то все равно ему за несколько дней до отъезда все экзамены не сдать, диплом не защитить, а уезжать на два года, не закончив институт, это, значит, бросить его. Конечно, для экспедиции он оказался бы настоящим кладом. У Димы одного коллекторского стажа — девять лет. С четырнадцати годов — в геологических партиях. И у кого только и где только ни работал: под началом своего родного отца, известного геолога Вознесенского, — в Баженовском асбестовом районе, под руководством профессора Яковлева, Наташиного дядюшки, — на Урале, у Жемчужникова — в Черемховском бассейне, с Наливкиным, будущим академиком, — на Южном Урале, у Бубличенко, — в рудном Алтае... Такого опыта не было ни у одного студента! И не случайно,

что за два года до окончания института Дмитрия Вознесенского приняли в Геолком младшим научным сотрудником и начальником партии.

В сентябре двадцать восьмого года Вознесенский вернулся с Алтая. К своему великому огорчению, узнал, что его друзья отправились без него на Колыму, в его якутскую епархию, обозлился на них, но рук не опустил, зубы сжал и подал в ректорат прошение о восстановлении студентом.

Его восстановили. Он за полгода ликвидировал все свои «хвосты», блестяще защитил диплом по геологии Алтая и в январе 1929 года получил квалификацию горного инженера и ту же специальность петрографа.

Получив все это, Дмитрий готов был броситься догонять друзей. Но Геолком назначил его начальником Сутамской полевой партии в Южно-Якутское приисковое управление. От Колымы далековато, но все-таки — Якутия, его родина, к тому же здесь, на Алдане, Билибин, его друг-сибсековец, начинал свою карьеру, пройти по его следам полезно. И Дмитрий Вознесенский согласился.

Но проработал он начальником Сутамской полевой партии меньше года. Как только Эрнест Бертин привез в Незаметный вести с Колымы, Дмитрий дня не мог оставаться на своем месте. Хоть снова коллектором, но — на Колыму!

И вместе с Эрнестом Бертиным в конце того же года вернулся в Ленинград, лишь на несколько дней опередив Билибина.

Как же не навестить Диму Вознесенского, его дом, где в октябрьские праздники 1923 года впервые собрались члены Сибирской секции послушать известного геолога Владимира Александровича Вознесенского.

Владимир Александрович и его жена Екатерина Сергеевна встретили молодежь радушно, стали угощать чаем, бутербродами, печеньем, выставили и красное вино. А больше всего занимали гостей рассказами:

— Познакомились мы на панихиде, — весело начал повествовать о своей семейной жизни Владимир Александрович, сверкая живыми карими глазами. — Да, на панихиде! Люди плачут, слезы льют, а мы друг на друга первый раз взглянули...

— Но это была не совсем обычная панихида, — поправила Екатерина Сергеевна, женщина более солидная и основательная, чем казался ее муж, широкая в кости, скуластая и чернобровая сибирячка. — Ныне она называется ветровской демонстрацией.

— Да, но мы-то не предполагали, что из панихиды получится демонстрация. Четвертого марта, двадцать шесть лет назад, в Казанском соборе собралось тысяч пять студентов, чтоб отпевать Марию Ветрову...

— Я с ней училась на Бестужевских курсах. В Трубецком бастионе она не вынесла издевательств тюремщиков, облила себя керосином из лампы и подожгла.

— А арестовали Ветрову в связи с провалом нашей Лахтинской типографии. Тогда по этому делу много народныхольцев схватили. Собрались мы в соборе, а настоятель отказался служить панихиду: «Не делайте божий храм местом сходбищ, не кошунствуйте, разойдитесь!» И тогда я предложил спеть Ветровой «Вечную память». Раздались крики: «Поднять венки!», «Вечная память». Стройно запели и хлынули на улицу...

Екатерина Сергеевна продолжила:

— Только вышли — набросились на нас казаки. Все пути преградили, кроме одного переулочка, и стали загонять нас во двор Казанской части... Загнали, стали переписывать.

— Слышу, она назвала себя: «Вотинцева, Екатерина Сергеевна, девица, курсистка». За ней я: «Вознесенский Владимир Александрович, холостой, горный инженер». Так нас и познакомили в полицейском участке. Нам осталось руки друг другу пожать и идти дальше одной дорогой. Надо сказать, что и в дальнейшем жандармы трогательно заботились о нашей совместной жизни. Ее выслали в Иркутск под надзор родителей, и меня после очередного ареста сослали туда же. Там, в Иркутске, мы и поженились. Правда, те же жандармы тотчас захотели нас разлучить... Я работал на постройке Кругобайкальской железной дороги. Работал честно, как положено нашему брату, горному инженеру. И отцы города были мною довольны. Но вдруг втемяшилось им в голову поставить памятник Александру III, и обратились они ко мне с просьбой найти подходящую гранитную глыбу для постаментов. Дело для меня непальное, но не по мне. Я так и ответил: «Цель моей жизни — не памятники ставить царям, а убивать их». Меня за такие слова послали еще дальше — в Якутию. И моя благодетельная за мной...

— В Якутске наш Дима родился, в самые люлые морозы, — вздохнула Екатерина Сергеевна.

— А я в это время проводил геологические исследования по Вилюю... Ах, ведь если посмотреть на карту... — Владимир Александрович шустро сбегал в свой кабинет,

принес листы карты и разбросал их по полу. — Если посмотреть на карту, то мы увидим, что всю Сибирь... кто открывал? Подневольные люди! В семнадцатом веке — служилые людишки, Семен Дежнев и прочие. В наше время — наш брат политссылный под надзором жандармов. Потому и осталось столько белых пятен на карте, что из-под надзора далеко не уйдешь. И лишь для вас, молодые люди, открываются все пути, вся Сибирь перед вами. И на каждом шагу ждут вас открытия...

И вот тут как-то само собой получилось, что каждый из гостей стал выбирать себе на карте тот край, куда бы он хотел поехать делать открытия. Дима выбрал свою родную Якутию, Владимир Серпухов, мечтатель-путешественник, захватил сразу Приамурье, Забайкалье и Север, Евгений Бобин — Камчатку, Юрий Билибин — Чукотку, Валентин Цареградский — Колыму, где допотопные мамонты бродили...

Получилось нечто вроде игры. Такими играми, бывало, любили развлекаться в семье Билибиных, и Владимир Александрович показался Юрию очень похожим на его отца, Александра Николаевича, такого же веселого, остроумного, развлекающего всю семью. И Юрий, вспомнив, как в детстве, играючи, издавали семейный рукописный журнал «Уютный уголок», предложил:

— Закрепим законодательным актом за каждым удельные княжества Сибири! — и сам, взяв лист бумаги, начал выводить своим крупным красивым, похожим на древнюю русскую вязь, почерком «Акт на землепользование»:

«Мы, нижеподписавшиеся, шаман чукотский Билибин, тайон камчатский Бобин, якутский князь Вознесенский, боярин забайкальский Серпухов, колымский князец Цареградский, всю Сибирскую землю меж собой поделили, за каждым удельное княжество закрепили и каждого обязали:

I. Всяк свою землю, как бы обширна она ни была, исходить должен своими ножками вдоль и поперек, геологическим молоточком обстучать каждый камешек;

II. Каждый вершок своей земли прощупать на всю глубину от кембрия до кайнозоя и нанести на белый лист карты, покрывая оную соответственно геологическим эпохам красками всех цветов, дабы не осталось на оной ни единого белого пятнышка;

III. Все подземные кладовые в своем княжестве открыть и от людей не таить, дабы богатства недр втуне не лежали, народишку своему служили;

IV. Всяк, прежь во владения свои ступить, познать должен оные, како жену свою, а ради сего все документы и книги о землях своих прочитати и от бывавших тамо людей про все выведати, а ради этого вступить всем в союз, назвав оный «Сибирская секция».

Клятву сию подписали и верными будут по гроб жизни...»

Руку приложили все, потом высоко подняли бокалы.

Так родилась Сибирская секция. Ее председателем выбрали в такой же шутиливой форме Билибина, и он оставался им до окончания института.

И как для лицестов, друзей Пушкина, день открытия лица был незабываем и каждый год отмечался, так и для членов Сибирской секции 9 ноября 1923 года останется памятным на всю жизнь.

Двадцать пять лет спустя бывший председатель Сибсека обратится к бывшим членам секции с посланием:

«9 ноября текущего 1948 года исполняется четверть века со дня организации Сибирской секции геологического кружка студентов Ленинградского горного института.

За истекшее время наш коллектив немало потрудился над изучением геологического строения и минеральных богатств той части Советского Союза, в геологической верности которой в свое время мы клялись со всей горячностью и легкомыслием молодости.

В более молодые годы у нас была хорошая традиция — ежегодно 9 ноября собираться в непринужденной обстановке и подводить годовые итоги работ, проходя иногда весь стратиграфический разрез «от кембрия до кайнозоя». Правда, сейчас силы уже не те, а сам разрез не без нашего участия детализирован настолько, что вряд ли его полное прохождение доступно даже геологам более молодым и крепким. Тем не менее дата «четверть века» звучит настолько убедительно, что было бы преступлением пройти мимо нее. Ведь следующую, полувековую дату вряд ли смогут отметить двое-трое из нас».

Юрий Александрович был прав. Когда отмечали «четверть века», на фотографии смогли увековечиться шестеро друзей: Ю. М. Шейнманн, Ю. А. Билибин, А. Л. Лиссовский, С. А. Музылев, Д. В. Вознесенский, В. И. Серпухов.

Через три года Юрий Александрович сфотографируется с Дмитрием Владимировичем Вознесенским в непринужденной домашней обстановке. Полгода не пройдет — похоронят Билибина, а через четыре года вслед за ним уйдет из жизни и его друг Дмитрий Вознесенский.

На полувековой юбилей Сибирской секции смогли собраться бы только двое — Музылев и Цареградский, но они жили в разных городах, один в Ленинграде, другой в Москве, не встречались и не переписывались.

Сергей Александрович Музылев, профессор Ленинградского горного института, публикует о Сибирской секции коротенькие воспоминания в бюллетени «Колыма» и подведет последние итоги:

«Дух тесного товарищества, царивший внутри секции, для ряда его членов перерос в дружбу, которую они пронесли сквозь всю свою жизнь, действительно, как оказалось, отданную на изучение необъятных, труднодоступных и суровых пространств Сибири и Дальнего Востока».

Ю. А. Билибин исследовал Алдан, Колыму, Верхоянье, Е. С. Бобин — Колыму, Корякское нагорье, Верхоянье, Д. В. Вознесенский — Колыму и Якутию, Д. С. Коржинский, А. Л. Лиссовский, С. А. Музылев, Е. А. Пресняков, Ю. М. Шейнманн — Забайкалье, В. И. Серпухов — Алдан, Чукотку, Верхоянье, Приморье, В. А. Цареградский — Колыму...

ГЕОЛОГ, СЫН ГЕОЛОГА

Что-то в отношении Димы Вознесенского к Юрию поначалу настораживало Наташу. Бесцеремонность, что ли... Правда, они друзья, но все-таки Юрий старше на четыре года и уже кое-что сделал, открыл. Обоим им, несомненно, в высшей степени свойственно чувство собственного достоинства. Снеси нет, гордыни нет, но гордости, одетой в иронию, у того и другого предостаточно. У Димы, пожалуй, даже больше. Он не капризен, не обидчив, шутки понимает, но если бы он жил в прошлом веке, то был бы отчаянным дуэлянтом, стрелялся бы и за себя и за оскорбленную честь других...

— В кого он у вас? — спросила Наташа Екатерину Сергеевну, когда мужчины под предлогом покурить удалились для своего разговора.

— В отца, — ответила Екатерина Сергеевна, печальными глазами посмотрев на портрет покойного мужа. — Димочка добрый и ласковый, он только на вид ершистый. Потому, видимо, что родился в жгучие якутские морозы да под вой пурги. Жили мы на Вилюе, куда после Иркутска сослали Владимира Александровича, вокруг за сотни верст не то что фельдшера или акушерки, повитухи порядочной

не найдешь. А роды, предчувствовала я, будут нелегкими... И тогда наш В. А. призвал старого, но крепкого якута, по прозвищу Кылланах, который якобы самого Чернышевского на Вилюй возил, и говорит ему: «Ну, Кылланах, вези нас в Якутск, меня не довезешь (а Владимиру Александровичу запрещено было передвигаться, станковые могли стрелять как в беглеца) — меня не довезешь, а ее во что бы то ни стало живой доставь в Якутск к лучшему доктору». Закутали меня во всякие меха и покатали на якутских мохноногих лошадаках. Днем по юртам таились, а ночью ехали. Благо ночи долгие, прибыли как раз к сроку. Роды были тяжелые, думала, с жизнью расстанусь... Но все обошлось. Родился Дима. Через год ссылка кончилась, мы вернулись в Иркутск. Потом уехали в Питер, здесь В. А. снова стал служить в Геолкоме, но каждое лето выезжал в Сибирь: то в Забайкалье, то в Приамурье, то на Енисей. Димочка рос болезненным. А наш В. А. — какой? Решил: Дима будет геологом, пойдет по моим стопам, и начал спартанское воспитание. Не минуло сыну и четырнадцати годков, взял его в экспедицию — закалять. Не знаю, каким боком вышла эта закалка. Но он и студентом прихварывал: то плеврит, то инфлюенция. Из-за болезней да еще из-за того, что по полгода в экспедициях пропадал, стал в учении отставать. А тут весной двадцать четвертого года — чистка студентов непролетарского происхождения. Троцкий между ними воду мутит, дискуссию в партии развел, а их на свою сторону переманивал. Мой-то Димочка, как и ваш Юра, в этих распрях не участвовал. Они на учебу нажимали. Как раз перед чисткой Сибирскую секцию организовали. В. А. читал им лекции. А в один прекрасный майский день приходит Дима домой с перевернутыми молоточками на фуражке. Я-то не знала, что у студентов-горняков обычай такой: исключают или увольняют — молоточки перевертывают, и спрашиваю: «Ты что? Подрался с кем? Молоточки-то...» А он буркнул: «Подрался» — и в свою комнату. А вечером, когда пришел В. А., все и выяснилось. Я, конечно, с вопросами: как да почему тебя исключили, а Билибина, Цареградского — нет, а ведь у них тоже далеко не пролетарское происхождение... Оказывается, у Билибина весь минимум экзаменов сдан, на комиссию он пришел в своей красноармейской шинели, там задали ему два вопроса: «Минимум сдан? В Красной Армии служил? Иди — чист». У Цареградского хвостов не меньше, чем у Димы, в Красной Армии он тоже не служил, отец у него при царе был юристом. Но за Цареградского заступился

старый член партии профессор Рябинин, у которого Валентин палеонтологией занимался. Рябинин характеристику написал, что он способный студент, читает антирелигиозные лекции в подшефном Балтфлоте. А за Диму никто не заступился, и сам он как воды в рот набрал, на комиссию заявился в отцовской студенческой шинели на белой подкладке, другой-то у него и не было, его приняли за белоподкладочника, а к ним в институте отношение соответственное. Диму не спросили, кто его родители, и вычистили. «Ну, а сам-то, спрашиваю, мог сказать, кто у тебя отец, где родился, почему отставал?» Где там! Гордость у него непомерная! За малую обиду пощечину даст, а тут... «Что же я, в грудь себя должен бить или на колени стать: «Не обижайте меня, мой папа и мама — революционеры, и сам я родился в политической ссылке». Я к В. А.: «А ты что себе думаешь? Сходи в институт, тебя там все профессора знают...» — «Нет, не пойду. Ничего страшного не случилось. Будет заниматься как следует, экстерном сдаст». Вот и весь ответ. В царское время за своих товарищей горой вставал, в тюрьму за них шел, а тут за родного сына словечка замолвить не может. Гордость у них, у Вознесенских, непомерная! Что мне оставалось делать? Собралась я, да и поехала в Москву, к бабушке Вере Фигнер. Меня-то она не знает, а В. А. должна помнить, в Крестах вместе сидели.

Вернувшись я от Веры Фигнер окрыленной. Она и бывшие народовольцы Прибылев и Прибылева-Корба, члены общества политкаторжан и ссыльных, написали в Ленинградский музей революции большое письмо об участии В. А. Вознесенского в революционном движении и просили музей принять соответствующие меры к тому, чтобы сыну ветерана революции, Дмитрию Вознесенскому, было предоставлено право закончить образование. Музей революции ходатайствовал перед проверочной комиссией, и Димочку восстановили...

В это время Дмитрий с Юрием вышли из отцовского кабинета.

— Однако, затянули мы свой визит, — сказал Билибин. — Хороший гость вовремя откланивается. Сколько, Дима, на твоих серебряных?

Дима достал из нагрудного кармана часы на ремешочке, щелкнул крышкой и показал Юрию Александровичу. Билибин посмотрел, а потом взглянул на свои наручные:

— Идут минута в минуту. Дай бог и нам так шагать.

— Да! — согласился Дима. — Не отставая друг от друга. А ты, мама, — тихо и проникновенно сказал Дмит-

рий Владимирович,— наверное, не рассказала госте об этих часах. С ними папа прошел всю жизнь и мне их оставил в наследство,— и он, закрыв крышку часов, опустил их в карман, к самому сердцу.

Наташа не обратила внимания на этот жест и на голос, которым были произнесены последние слова. Отношения между Дмитрием Владимировичем и Юрием Александровичем в дальнейшем будут меняться. У Натальи Николаевны отношение к Дмитрию останется двойственным. Но к матери его она всегда будет питать самые добрые чувства и навестит ее в ту годину, когда на Екатерину Сергеевну обрушатся жесточайшие невзгоды и она с двумя малолетними внуками останется одна...

ДОКЛАД В БЫВШЕМ ГЕОЛКОМЕ

Геолком уже называли бывшим. Это единственное государственное геологическое учреждение в стране, служившее верой и правдой горному делу России без малого полвека, за последнее десятилетие не раз перетряхивалось. А когда развернулась первая пятилетка, решили, что это старое заведение неспособно справляться с новыми задачами, да и находится не в столице. И в октябре 1929 года по приказу ВСНХ СССР «вся планово-руководящая и административная деятельность по геологической службе в Ленинграде и на периферии переносится из Ленинграда в Москву в организованное там Главное геологоразведочное управление» (ГГРУ), которое позже станет Комитетом по делам геологии, а затем Министерством геологии.

А в Ленинграде, в том великолепном здании со стеклянными куполами, где размещался бывший Геологический комитет, к началу тридцатого года, с целью повернуть науку лицом к производству, организовали отраслевые институты: угля, нефти, неметаллических ископаемых, черных металлов, цветных металлов, гидрогеологии, инженерной геологии... Они были созданы из отделов и секций Геолкома. Живой организм разъяли, каждый институт стал сам по себе. Штаты, разумеется, неимоверно раздули, и это в то время, когда вся страна боролась за «режим экономии». Прежде в Геолком принимали сотрудников по конкурсу. А эти скороспелые институты заполнялись подчас случайными людьми: и бывшими дельцами по разведке и продаже несуществующих месторождений, и новыми работниками, порой полными профанами в геологии, но направленными на ее укрепление.

Институт цветных металлов, Инцветмет, организовался из секции «Золото и платина». Директором назначили Владимира Клементьевича Котульского, брата известной певицы Елены Котульской. Выдающийся геолог, теоретик и прикладник, великолепный организатор, он по праву занял это место, но, к сожалению, ненадолго. Принципиальнейший человек пришелся не ко двору и попал в процессы, которые тогда проходили почти во всех отраслях промышленности и науки, видимо, за то, что открыто осуждал разгон Геолкома, и вынужден был отправиться сначала на Кольский полуостров, затем в Норильск...

А время очень скоро показало его правоту. Все институты объединили во Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт, который стал законным преемником Геолкома и в 1982 году отметил свое столетие. Фамилия Котульского вырезана на мраморной доске в вестибюле этого института, и одна из улиц Норильска носит его имя...

Заместителем директора Инцветмета по хозяйственной части выдвинули в момент реорганизации того же самого Шура, бывшего эмигранта, портного, который в студенческие годы Билибина преподавал черчение. В геологии эта птица и воробьем не чирикала, но в анкетах значилась преподавателем Горного института, ее и бросили в Инцветмет на укрепление кадров. Вещий Шур одобрял все реорганизации, которые позволяли ему занимать хлебные должности. С этим Шуром Юрию Александровичу опять придется сталкиваться, и не раз...

Когда Билибин вернулся в Ленинград и снова поднялся по высоким парадным лестницам бывшего Геолкома, то оказался будто на корабле, терпящем крушение. Люди метались по этажам и коридорам в поисках нужных институтов и лабораторий, нужных специалистов минералогии, палеонтологии, петрографии, которых раскидала буря по институтам кого куда.

В том же обширном кабинете, где висела та же геологическая карта с унылыми серыми пятнами, не он, Билибин, ждал аудиенции, а его ждали. А он задерживался внизу, поджидая приезда своих коллег по экспедиции: они без него бы заблудились в бывшем Геолкоме, это им не тайга.

Вход в обширный кабинет был свободен. Людей набилось до отказа не только из Инцветмета, но и из других институтов, из Горного, из университета, из Ленинградской конторы Союззолота, или, как ее стали именовать, Цветметзолота. Всю эту массу геологов, инженеров, профессоров, студентов, работников золотой промышленности

привлекло сюда сенсационное сообщение о несметных богатствах неведомой Колымы, которое должен сделать такой же неведомый инженер Билибин.

Юрий Александрович, помолодевший, гладко выбритый, в новом элегантном костюме, в галстук, вошел в кабинет широким шагом. За ним — Цареградский, Казанли, Раковский и Эрнест Бертин. Они пробирались среди сидевших и стоявших, слышали, как то тут, то там шептались:

— Вот он какой, Билибин-то!

— А давно ли здесь называли его прожектером, проспектором.

— Что они теперь скажут о его прогнозе?

— «Случайное совпадение».

— А за Билибиным кто идет?

— Таежники, золотонскатели.

— Сколько же они отхватят первооткрывательских?

— Союззолото отвалило им огромные премии...

На стенах и простенках висели карты Колымской экспедиции. Их еще накануне разместили Билибин и Казанли. Некоторые Митя прикрепил кнопками прямо на белые пятна геолкомовской, в прямом и переносном смысле закрыл эти пятна. Полевые карты притягивали к себе, как магниты.

Билибин показывал на них водоразделы, долины, реки, речки, называл их и почти ко всем добавлял — «золотоносная». А Цареградский, Раковский, Бертин и Казанли демонстрировали доказательства: самородки, темный песок с желтыми крупцами — шлихи, блески золота в жилах молочного кварца. Это производило потрясающее впечатление. Даже белоголовые старцы не могли скрыть на своих лицах восхищение.

Докладывал Билибин кратко. Щадил ли самолюбие тех, кто два года назад здесь смеялся над ним, или из чувства собственного достоинства и скромности, но он ни словом не обмолвился ни о Розенфельде, ни о Бориске, ни о своей гипотезе о Тихоокеанском рудном поясе и его пряжке, что когда-то называли здесь мистикой, метафизикой. Докладчик не хотел сводить мелкие счета с противниками. Факты, только факты.

А старцы за длинным столом, бывшие члены бывшего Геолкома, видимо, ничего не забыли, поживались, поскрипывали.

Пройдут годы. Билибин откроет много месторождений золота, станет лауреатом Сталинской премии первой степени, членом-корреспондентом Академии наук, но останет-

ся все таким же борцом за свои прогнозы и своему другу напишет:

«Пока прогнозы не подтверждаются, меня все ругают, начиная от академиков и кончая последней мелкой сволочью. По поводу моих прогнозов мне приходится постоянно слышать: «необоснованно», «спекуляция», «мистика», «метафизика» (невольно вспоминается мой прогноз по Колыме), но тотчас же после этого мой прогноз подтверждается, и тогда я слышу: «случайное совпадение». Но не слишком ли много совпадений?»

И тогда на совещании бывшего Геолкома далеко не все ученые признавали его первый подтвердившийся прогноз.

— Да и эти находки могут быть случайными...

— Разумеется, россыпное золото может оказаться мифическим.

— Сами прискатели неспроста говорят: сегодня пофартит, завтра убежит...

— Вот если бы рудное...

Тут Юрий Александрович не сдержался, почти выкрикнул:

— А это вот — рудное!

И Цареградский с гордостью начал показывать пробы, извлеченные им из Среднеканской дайки.

— Сергей Дмитриевич Раковский первым обнаружил эту жилу, а Цареградский первым ее опробовал. Цифры, полученные нами, меня чрезвычайно радуют. Во всяком случае, такое содержание ранее, насколько я знаю, не встречалось... — и Юрий Александрович назвал несколько цифр.

Котульский спросил:

— А вы привезли пробы на анализ сюда?

— Да, привезли, но анализ пока еще не сделан. Сам я, Владимир Клементьевич, откровенно говоря, хотя и не могу скрывать радости и гордости, но продолжаю относиться к этим подсчетам с настороженностью. Я понимаю, что весьма заманчиво распространить полученное в пробах содержание на всю массу руды, и поэтому считаю, что для детальной разведки Среднеканского месторождения необходимо направить рудную партию с опытными специалистами...

Билибин слышал, как кто-то из пожилых ученых спросил кого-то:

— Ну-с, молодой человек, не соблазнитесь после Казахстана отправиться на Колыму на разведку Среднеканской дайки?

— Предложат — не откажусь! — громко ответил молодой человек.

Юрий Александрович увидел лобастого, широкоскулого, чернобородого и покрытого свежим жгучим загаром незнакомого парня.

После совещания он Билибину представится: горный инженер Иван Едовин, только что вернулся с разведки Казахстанского рудного месторождения, прежде пять лет специализировался на уральских Березовских рудниках, а еще раньше вместе с Билибиным сдавал экзамены, хотя они и не знакомы.

Когда Едовин заявил «не откажусь!», рядом с ним, как бы отвечая на вопрос того же профессора, другой парень так же громко сказал:

— И я поеду!

Его Юрий Александрович узнал сразу — Сергей Новиков, который просился в экспедицию еще во Владивостоке, а сейчас приехал в Ленинград на курсы повышения квалификации и для того, чтоб окончательно договориться об участии в новой Колымской экспедиции.

Юрий Александрович, услышав эти два голоса, возликовал: доклад его производит нужное впечатление и сразу же находятся охотники ехать на Колыму. С еще большим вдохновением продолжал:

— Помимо рудной партии по разведке Среднеканской дайки я предусматриваю в плане работ новой Колымской экспедиции пять геологических партий. Ибо у меня сложилось представление о распределении золотоносности определенными полосами, вытянутыми по простираннию складчатой зоны, — докладчик показал на картах горные цепи, лежащие от верховьев Колымы на северо-запад и юго-восток. — В соответствии с этим распределяются и поисковые партии. Тасканская партия направляется на северо-запад от Утиной по простираннию золотоносности междуречья Дебина и Таскана. Здесь, в скалистых берегах речки Таскан, прораб-поисковик Раковский встретил жилные порфиры. Они обещают крупные месторождения как рудного, так и россыпного золота, поэтому я считаю это главным направлением работы экспедиции. К юго-востоку от Среднекана предполагается расположить Гербинскую партию. Между Утиной и Среднеканом должны работать две партии: Колымская и Оротуканская. Пятая партия направляется на Бохачу выше порогов, где мною в нынешнем году обнаружена золотоносность и предположено наличие другой золотоносной полосы...

Белоголовые старцы снова заколыхались, словно одуванчики, и опять, как два года назад, залепетали:

— Необоснованно...

— Прожектерство...

Но Юрий Александрович будто не слышал их. Как о твердо решенном и обдуманном, он сказал:

— А это наша смета, в которой мы учли все необходимое для новой Колымской экспедиции.

Шур сразу вцепился в смету:

— Это по моей части! — быстро пробежал листы и, потрясая ими, прищутив глаза, с таким же ехидством, как когда-то спрашивал студента Билибина: «А ты по какую сторону баррикады?», спросил:

— А вы, Билибин, не забыли, что сейчас на повестке дня лозунг «режим экономии»? —

— Не забыл. Мы его на Колыме очень хорошо помнили и строго придерживались, — ответил вполне серьезно.

Но среди присутствующих разнесся смех и шепот:

— Там у них чуть до людоедства не дошло...

А тут еще Эрнест Бертин добавил огоньку, обращаясь к Шуру:

— А вы, т-т-товарищ ученый, к-к-конские к-к-кишки кушали?

Присутствующие захохотали. Один лишь Шур оставался серьезным и, тыча в листки сметы, продолжал в том же тоне:

— Полторы тонны шоколада! На каждого по килограмму в месяц. Вы что — буржуи? Кейфовать едете?

— Шоколад, — ответил Билибин, — для нас не кейф. Вы много в сидоре унесете муки, консервов и камней? А шоколада положил в карман плитку да чаю плитку — вот тебе и завтрак, и обед, и ужин.

— Ну а спирта ноль семь литра каждому на месяц — это не слишком?

— Нет, не слишком. Посчитайте. На день всего двадцать граммов, лизнуть только.

— Но ведь это не варенье, чтоб лизать, а чистый, неразбавленный, спирт!

Юрий Александрович ответил с нарочитой любезностью:

— Дорогой товарищ Шур, вопрос о новой экспедиции и об ее ассигнованиях фактически уже решен товарищем Серебровским. О Колыме он будет докладывать товарищу Орджоникидзе, а возможно, и товарищу Сталину. У вас по смете более серьезные вопросы будут?

У Шура больше никаких вопросов не было.

Директор Инцветмета Котульский во время этой перепалки добродушно усмехался светлыми серыми глазами, а затем как-то по-домашнему просто сказал:

— Придется вам, Карл Моисеевич, достать и выложить все, что просят. А у меня к вам, товарищ Билибин, будет один очень серьезный вопрос. Вместе с геодезической вы намечаете семь партий. У нас же, сами видите, всех специалистов разбросали по институтам, пополняем свои штаты порой случайными кадрами. Где вы найдете инженеров — охотников ехать на Колыму?

— Найдем, Владимир Клементьевич! У меня на примете мои бывшие однокашники. Здесь, как вы слышали, находятся охотники. Позавчера я, по просьбе Сергея Сергеевича Смирнова, рассказывал о Колыме старшекурсникам Горного института, и там сразу же обратились ко мне с просьбой взять в экспедицию. И товарищ Серебровский обещал помочь людьми. Как видите, не все желают протирать брюки в кабинетах, есть охотники и до далеких, необжитых мест.

— Есть, — улыбнулся Котульский. — После такой пропаганды и я не прочь поразмять свои старые кости.

Билибин продолжал:

— Но я думаю не останавливаться на экспедиционной работе. Считаю, что на Колыме нужно создавать постоянную геологоразведочную базу. Вот тогда специалистов и рабочих понадобится много, и работать там будем не наездами, а круглый год...

Из воспоминаний Билибина:

«Вернувшись в декабре 1929 года в Ленинград, я принялся усиленно пропагандировать Колыму. Без большого труда мне удалось добиться организации в 1930 году новой Колымской экспедиции».

ФИЛИПП РАБИНОВИЧ

У Юрия Александровича дел было невпроворот. Готовил полный и окончательный отчет об экспедиции, торопясь закончить его до отъезда в новую. По заданию Главного геологоразведочного управления вместе с Евгением Бобиным, Дмитрием Вознесенским и другими сотрудниками Инцветмета разрабатывал инструкцию для исследований в золотоносных районах, в которую предложил целый очерк о геоморфологическом изучении золотоносных райо-

нов, об основных процессах, ведущих к образованию аллювиальных россыпей, о том, где и как накапливаются золотоносные пески, где и как их искать...

Этим очерком, занимавшим одну треть объема инструкции, особенно восхищался Котульский:

— Если бы все инструкции писались так! Сколько бы золота нашли наши приискатели. Вам, Юрий Александрович, непременно нужно, отталкиваясь от этого очерка, написать большую и обстоятельную книгу, назвать ее, к примеру, «Основы геологии россыпей». Издать ее массовым тиражом, чтоб она стала настольной для всех золотоискателей.

— Я это непременно сделаю, Владимир Клементьевич, когда сам выйду в тираж, — усмехнулся Билибин. — А пока мне некогда застойной работой заниматься. Экспедицию нужно организовывать. Тайга зовет, как говорят писатели.

С организацией новой экспедиции не все складывалось так просто и легко, «без труда», как написал в воспоминаниях Юрий Александрович. Необходимо было набрать не только специалистов, но и рабочих, желательно таких же мастеров на все руки, какие были в первой экспедиции. Всем своим первопроходцам Билибин послал письма и телеграммы с предложением принять участие в новой экспедиции. Согласие дали многие: и Кузя Мосунов, и Яша Гарец, и Степан Степанович Дураков, и личный промывальщик Билибина Майорыч...

Затем Юрий Александрович обратился по старой дружбе к Вольдемару Петровичу Бертину: «ходбери хотя бы дюжину дюжих и обязательно холостых». Вольдемар Петрович просьбу его даже на одну душу перевыполнил. Лично подобрал и, напутствуя, проводил чертову дюжину здоровых, холостых и опытных золотошников: Степана Кривулю, Вениамина Вологодина, Георгия Лобова... С такой же просьбой, через Серебровского, Инцветмет обратился на другие сибирские прииски. Там тоже подобрали людей и направили во Владивосток.

Со специалистами оказалось сложнее. Не все члены Сибирской секции, желающие поехать на Колыму, могли осуществить это желание. Владимира Серпухова, например, ни в какую не отпускали из Севморпути, где он работал геологом. Там готовили свою экспедицию на Чукотку и Таймыр. Евгений Бобин согласен был ехать, но только с женой, а среди колымских первопроходцев оставался в силе уговор — женщин не брать, и Юрий Александрович,

сам теперь женатый, не собирался его нарушать и отказывался даже от своего лучшего друга:

— Ты на Колыме еще не был, условия не знаешь,— говорил он Бобину,— но, если читал Джека Лондона, представить можешь...

— Джека Лондона читал, и, если опираться на его авторитет, женщин брать можно. Вспомни его рассказ «Мужество женщины»! Героиня оказывается смелее и выносливее мужчин.

— Да, но это — исключение, это — дочери снегов, а не наши обожаемые жены, слабые создания!

Разубедить Юрия Александровича было трудно. Он в принципе соглашался, что женщин можно брать, но предварительно испытал и закалив где-нибудь в горах поужнее, а затем на Севере не давать им никаких поблажек, чтоб они стали такими же дочерьми снегов, как у его любимого Джека... Пока же таких жен нет, и придется обходиться без них.

Начальником рудной партии Билибин наметил назначить Ивана Едовина. Хотя и женатый, но едет один. Пятилетний стаж рудных разведок. К тому же Юрий Александрович полагал сам лично заниматься Среднеканской дайкой, на которую все возлагают самые большие надежды, и Едовин будет работать под его рукой.

Дмитрий Вознесенский вполне может быть начальником Тасканской поисковой партии, самой главной среди поисковых и самой обнадеживающей, по мнению Билибина. Дима холостой, настойчивый, даже настырный, на него можно положиться.

Сергею Новикову можно поручить Оротуканскую партию, прикрепив к нему прорабом Эрнеста Бертина. Правда, горняцкого опыта у Сергея пока никакого, только что окончил горное отделение Дальневосточного университета, но опыт — дело наживное.

Однако без вмешательства Серебровского Сергея Новикова из Дальзолота в Инцветмет не отпустят, и этот перевод надо оформить, пока Новиков до конца марта занимается на курсах в Ленинграде. Билибин написал Серебровскому письмо, в котором помимо Новикова просил для экспедиции хотя бы еще одного горного инженера.

Серебровский пошел навстречу, и Сергей Владимирович Новиков сразу по окончании курсов зачислся в штат Колымской экспедиции начальником Оротуканской партии. А на просьбу направить хотя бы еще одного горного инженера очень скоро из Москвы пришла телеграмма:

«Выезжаю встречайте поезд (такой-то) вагон (такой-то). Подпись: «ФРАБИНОВИЧ».

В этой телеграмме все было ясно, немного озадачила лишь подпись. Решили, что фамилия Рабинович довольно распространенная, а «Ф» — инициал имени, поставленный вместе с фамилией ради соблюдения режима экономии на одном слове. Но что скрывается за буквой «Ф»?

— Филипп либо Федор,— предположил Эрнест Бертин.— Мужик, чай, такой же дюжий, как Филипп Оглобин, Филипп Поликарпов... Серебровский тряпку нам не pošлет.

Других имен на «Ф» не вспомнили, и двинулись все вместе — Билибин, Бертин, Раковский, Вознесенский и Новиков — на Московский вокзал встречать Филиппа Рабиновича, прихватив все, что нужно, чтоб встреча была теплой и радостной.

На перроне чинно выстроились в ряд на том месте, где, по их расчетам, должен остановиться вагон с Филиппом Рабиновичем. День был морозный, солнечный. У Билибина и Вознесенского ослепительно сверкали перекрещенные молоточки и лакированные козырьки фуражек.

Поезд пришел, и вагон, указанный в телеграмме, остановился напротив них. Повалили пассажиры с чемоданами, мешками, ящиками. Ребята решили, что своего товарища они узнают, как рыбак рыбака. Но вагон опустел, а никого похожего на горного инженера не было.

И вдруг — голосок:

— Мальчики, здравствуйте...

Сгорбившись под рюкзаком, с двумя большими чемоданами в тонких руках, вытянутых из коротких рукавов короткого пальтишка, перед ними стояла маленькая, худенькая, как подросток, невзрачная девушка.

Их взгляд рассеянно остановился на ней и снова устремился на других пассажиров.

Однако она снова обратилась к ним:

— Здравствуйте, мальчики. Вы меня встречаете? Какие вы хорошие, что пришли...

Эрнест ответил:

— Извините, д-д-девочка, вы ошиблись.

А Дима Вознесенский с высоты своего роста клюнул ястребиным носом:

— Да-с, мадемуазель, вы ошиблись. Мы ждем своего коллегу, горного инженера Филиппа Рабиновича.

— Так я и есть горный инженер Рабинович. Только не Филипп, а Фаина, по отцу Клементьевна. Окончила Мос-

ковскую горную академию... Диплом сейчас покажу. Подержите чемоданчики...

Фаина Клементьевна достала из сумки диплом и протянула его Билибину, видимо, догадавшись, что он главный.

Юрий Александрович посмотрел диплом, почесал затылок:

— Н-да... Окончила горную академию... Но тут, понимаете, какое-то недоразумение. Я запрашивал у Серебровского...

— Александра Павловича я знаю, работала под его руководством...

— Все это понятно, но... — продолжал Билибин.

Но его прервал Новиков:

— А может быть, прежде чем выяснять отношения, примем багаж у Фаины Клементьевны и проводим ее в гостиницу...

— Ну что ж, пойдемте выяснять отношения в гостиницу, — сокрушенно сказал Юрий Александрович.

А Дима Вознесенский предупредил:

— Пойдемте! Но учтите, гражданочка, мы забронировали вам место в мужском номере. Вы, надеюсь, не против?

— Что делать? Если нет мест в женских номерах, придется пожить в мужском обществе, — покорно, с улыбкой, согласилась Рабинович.

— П-п-придется, — подтвердил Эрнест Бертин, ярый женоненавистник, и язвительно добавил: — В тайге, между прочим, никто для вас п-п-персональную палатку ставить не будет.

В гостинице пришлось, конечно, переоформлять номер. Пока одни утрясали это, другие, не боясь сгущать краски, внушали новоявленной горнячке, как ей будет трудно на Колыме.

Фаина Клементьевна соглашалась:

— Конечно, нелегко. Но зачем, мальчики, плакать раньше времени? Лучше дайте мне закурить.

— Что? — не сразу поняли мальчики.

— Я не курю! — демонстративно отвернулся Юрий Александрович.

— И я тоже, — с искренним сожалением развел руками Сергей Новиков.

— Придется мне угощать вас, — с нескрываемой иронией процедил Дима и протянул пачку: — Берите всю! Мне не жалко отравы. К тому же у меня всегда есть пачка про запас.

— Спасибо. Какие вы все добрые! — Фаина Клементьевна сладко затаилась папиросой.

— Простите, — стал извиняться Новиков, — мы встретили вас без цветов. Взяли с собой лишь... — Сергей замаялся.

Но женщина поняла:

— Спасибо, я могу и выпить. Немножко, правда...

Эрнест мигом выставил обе бутылки «московской»:

— И этой от-т-травы не жалко, — и, решив испытать горную инженершу на крепость, налил ей полный граненый стакан.

Женщина пить не стала, только пригубила, оставив красный след помады на краешке стакана.

Бертин отвернулся от нее, отозвал в сторону Билибина:

— Кого нам подсунул С-с-серебровский? Юрий Александрович, свяжитесь с ним, пусть забирает обратно эту юбку или пусть к ней няньку с коровой посылает. Водку не пьет, чем поить будем?

Через несколько дней Билибин связался с председателем Цветметзолота. Серебровский ответил так:

— Я хорошо знал студентку горной академии Рабинович. Она прекрасно работала в экспедициях на Кавказе и в Крыму. Уверен, что и на Колыме справится. А если она не подходит, то я могу ее отозвать, но и состав экспедиции вместе со сметой придется соответственно подсократить на одну партию.

После такого условия Юрий Александрович развел руками:

— Придется, мужики, принимать эту Рабинович.

На это Эрнест Бертин твердо заявил:

— Но наш уговор остается в силе. Баб с собой не брать. А эту ц-ц-цыпочку за женщину не считать. Никаких ей поблажек! Сидор за нее не таскать! И пусть все делает сама как мужик. И называть ее будем промезж себя только Филиппом, а в глаза — т-т-товарищ Рабинович.

Так и делали. В одной официальной бумаге, хранящейся в личном деле Рабинович, значится:

«Прошу оформить в соответствующих документах инженеров Вознесенского Дмитрия Владимировича, Новикова Сергея Владимировича, Рабинович Филиппа Клементьевича...»

И на «Филиппа» Рабиновича выдавалась спецодежда: сапоги-ичиги, куртка-брезентовка, ватные брюки и прочее — все мужских размеров, да женских на Колыму и не завозили.

«БЛАГОДАРИЯ МОЕМУ КОЛЫМСКОМУ ПАТРИОТИЗМУ»

Когда Билибин принес заявку на техническое снабжение экспедиции в Инцветмет, замдиректора Шур просмотрел ее небрежно и положил в ящик:

— Подождет,— и, прищурившись, спросил: — В Москву, в Цветметзолото, поступила на вас какая-то бумага. Что вы там натворили?

— Где?

— На Колыме. Бытовая смывка или кое-что по-серьезнее?

— Не знаю.

— И мы пока не знаем. Но от вашего брата всего можно ожидать. Пришлют бумагу — узнаем. И тогда будем решать,— кивнул он на заявку, положенную под шапку.

Юрий Александрович долго ломал голову: какая клею-за поступила на него в Москву? Если тот самый Матицев, который называл себя «очами Союззолота», наката, то у него, Билибина, на этот случай не случайно припасена копия протокола того совещания партячейки и месткома Среднекана, на котором «разнесли» техрука Матицева... А может, Степка Бондарь успел что-то состряпать в отместку за то, что Билибин попросил Серебровского снять этого пьяницу и безграмотного выдвигенца... Но Александр Павлович, успокаивал себя Билибин, во всем разберется: он сам таких матицевых и бондарей повидал немало, цену им знает и их клеюзам тоже.

Никакой бумаги из Москвы не пересылали, но разговоры у Билибина с Шуром проходили в том же духе. Испытующие взгляды, многозначительные намеки на что-то. Ни одного делового вопроса по организации и снабжению экспедиции не решалось. Юрий Александрович обращался к директору института, но Котульский, обычно решительный и принципиальный, отвечал не очень определенно:

— Я скажу товарищу Шуру, чтоб он занялся вашими заявками...

— А может, экспедиция отменяется? — в упор спрашивал Билибин.

— Нет, что вы, Юрий Александрович, экспедиция обязательно должна быть. Настаивает Цветметзолото, Москва...

— Тогда, может, я не устраиваю вас как ее начальник?

— Нет, нет... Лучшей кандидатуры у нас нет.

— Но Шур намекает на какие-то мои неблагоприятные дела...

— Да плюньте вы на Шура! Сам бы рад от него избавиться.

Юрия Александровича обрадовала эта откровенность. Он так же от души пообещал:

— Плюну! По вашему указанию.

Оба засмеялись. Но затем Владимир Клементьевич серьезно спросил:

— Как у вас с отчетом?

— Будет готов в срок — к отъезду.

— А вы не очень торопитесь с ним? Дело серьезное, ответственное. Открытие Золотой Колымы — это не просто открытие какого-то месторождения, которые мы делаем каждый год. Ваше открытие случается раз в столетие, а то и реже. Поэтому и к отчету нужно отнестись так, чтоб потом всю жизнь ни в одном слове не раскисаться.

Если бы это сказал кто другой, Юрий Александрович обиделся бы, пожалуй, или заподозрил что-то недоброе. Ответственности и серьезности ему не занимать. Но это говорил Котульский, крупнейший ученый и практик, человек честнейший, умудренный жизнью.

— Вы, Юрий Александрович, на совещании высказывали очень интересную мысль. Говорили, что вас не вполне удовлетворяют экспедиционные исследования и на Колыме необходимо организовать постоянную геологоразведочную базу. Сейчас так же думаете?

— Так же.

— А не лучше ли вам сейчас, не откладывая на год, на два, заняться здесь и в Москве организацией такой базы? Мы вас будем поддерживать.

— А экспедиция?

— Она пусть отправляется пока без вас. Через год вы приедете туда, экспедиция вольется в вашу базу, будет работать под вашим руководством.

— А кто же будет руководить экспедицией сейчас?

— Кого вы предложите. Подумайте, Юрий Александрович, через недельку скажете мне свой окончательный ответ. Поверьте, я вам и вашей Колыме желаю только добра...

После этой беседы Юрий Александрович снова почувствовал себя окрыленным.

Через неделю объявил Котульскому, что он с его предложением вполне согласен. Возглавить новую Колымскую экспедицию Юрий Александрович сначала предложил Вознесенскому, и Котульский не возражал, но Дмитрий наотрез отказался:

— Какой из меня начальник? Пусть Цареградский займется этим, а мы будем ему помогать.

Билибин был против, но Вознесенский упрямо отводил свою кандидатуру.

Пока суд да дело Юрий Александрович вместе с Вознесенским продолжал разрабатывать планы и маршруты экспедиции, занимался ее снаряжением и снабжением.

Как и прежде, комнатку сестры Мити Казанли Ирины превратили в склад. Квартира Вознесенских тоже стала складом. У Билибина на дому был и склад, и штаб, потому что в огромном здании бывшего Геолкома не находилось места. А тут: в передних, в коридорчиках, в комнатах, в ванне и на кухне — всюду навалили ящики, мешки, короба, коробки, тюки, узлы. В шестнадцатиметровую комнатку Ирины закатили необъятную бухту морского каната. Не могли раздобыть взрывчатку, а то и ее бы подсунули под кровать.

Стесненные соседки Ирины, конечно, ворчали, грозились пожаловаться управдому. Но ребята, молодые, веселые: одной улыбнутся, с другой полюбезничают, третьей презентуют цветочек или шоколадку, — мелочь, а приятно, и гроза проходит мимо.

К подготовке привлекли Эрнеста Бертина, Сергея Раковского, Ивана Едовина, Даниила Каузова — еще одного горного инженера, пожелавшего отправиться на Колыму, и Филиппа, то есть Фаину Рабинович. Сергей Новиков выехал в родной Владивосток выбивать билеты на паром и встречать прибывающих с приисков рабочих. До отправки оставалось немного.

Когда Цареградский узнал, что Билибин отказался от руководства экспедицией, он был ошеломлен. Валентин терялся в догадках: «Семейные обстоятельства? Происки Шура, Матицева, Степки? Завалил отчет? Розыгрыш?»

Но еще большей неожиданностью явился приход Дмитрия Вознесенского и его — без всяких предисловий — предложение:

— Ты, Валентинушка, малец-удалец, приди к нам княжить.

Валентин Александрович не сразу понял.

— Чего тут понимать? Юра подумал-подумал и двинул тебя на должность начальника экспедиции. Володѣй.

Валентин поверить не мог, это казалось ему розыгрышем, на которые Вознесенский и Билибин мастаки. Но вскоре, в конце апреля, его пригласил Котульский и вполне официально сказал, что Билибин порекомендовал его. Ца-

реградского, начальником новой Колымской экспедиции и дирекция Инцветмета, хотя Цареградский и не является сотрудником института, поддерживает предложение Юрия Александровича.

Валентин не был честолюбив, власти, как и Дмитрий, не жаждал и обрадовался больше тому, что его порекомендовал Билибин.

Из воспоминаний Билибина:

«Благодаря моему «колымскому патриотизму» мне удалось привлечь внимание к Колыме, но все-таки не в такой мере, как мне того хотелось. Я остался в Ленинграде для составления отчетов по первой экспедиции и организации новой экспедиции в 1931 году. Однако экспедиционную систему работ на Колыме я считал нерациональной. Поэтому еще весной 1930 года мною был поднят вопрос об организации постоянного «Индибирско-Колымского геологоразведочного бюро» с крупными ассигнованиями на геологоразведочные работы».

Конец первой книги

В этой повести часто употребляется слово «золото» в самых разных значениях: и просто металл, и драгоценный металл, и валютный, и презренный... Но есть одно значение, которое в литературе раскрывается, пожалуй, впервые. Золото — это архимедов рычаг, с помощью которого там, где ничего нет, появляется все: дороги, различные отрасли промышленности и сельского хозяйства, развивается экономика, расцветает культура. То, что мы сейчас называем комплексным развитием производительных сил и решаем на более высоком уровне, начиналось на Крайнем Северо-Востоке с первого золота. Тогда же, в годы первой пятилетки, партия ставила задачу развития экономики и культуры края, и задача эта в сложнейших условиях решалась такими людьми, как Ю. А. Билибин, а впоследствии Э. П. Берзин.

В сложных условиях складывались сложные отношения. В борьбе испытывались характеры. И в этом смысле золото имело еще одно значение, очень важное. Золото — испытывающая и воспитывающая сила. Я не пытался наводить лоск на своих героев, хотел изобразить их такими, какими они были в жизни, со всеми недостатками и достоинствами, унаследованными и приобретенными. А какими они были, мне удалось узнать за двадцать лет изучения документов и воспоминаний тех, кто участвовал в открытии Золотой Колымы и хорошо знал первооткрывателей и первостроителей нашего края. Нет возможности назвать всех, кто мне помогал, их очень много, поэтому никого не называю, но всем — мой низкий поклон и спасибо за помощь.

Изучены тысячи документов. Некоторые из них в повести цитируются. Все документы подлинные. Но я сразу хочу оговориться, что повесть моя не является, как может на первый взгляд показаться, сугубо документальной. Опираясь на документы, сохраняя историческую правду как в целом, так и в отдельных деталях в обрисовке характеров и жизни людей, я в то же время многое, не сохранившееся в документах и в людской памяти, домысливал. Но художественный вымысел никогда не входил в противоречие с документальной основой. В этом отношении ярким примером для меня служил роман А. Фадеева «Молодая гвардия», где все герои реальны, выведены под своими именами, но в то же время они — художественные образы. Служил для меня образцом и «Чапаев» Д. Фурманова. Наша литература богата хорошими произведениями о реальных героях нашего времени. Я хотел в меру своих способностей пополнить эту сокровищницу повестью о невымышленных людях и событиях из истории нашего края.

В основу «Золотой Колымы» легла предыдущая моя повесть «Вексель Билибина», изданная в Магадане в 1978 году. В настоящем издании появились многие новые главы, повесть пополнилась двумя новыми частями, сделаны также купюры.

Герман ВОЛКОВ

Часть первая. ИСТОКИ ЭЛЬДОРАДО	5
Под шепот звезд	5
Пряжка Тихого океана	10
Алданский политкомиссар	16
Записка Розенфельда	19
Тираннозавры	24
Товарищ Серебровский	27
Были сборы недолиги	31
Что скажет Демка?	37
Первый золотой король	42
Второй золотой король	46
Часть вторая. ОЛЬСКОЕ СИДЕНИЕ	50
Хроника селения Ола	50
Призрачная ночь в собачьем царстве	56
Красные якуты и железный старик	64
Спичечная карта	70
Первые маршруты	78
Улахан тайон кыхылбыттыхта	83
По тропе и бездорожью	87
Демка — вестник беды	93
Вперед на собачках	95
Часть третья. ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА	100
Пахали до кровавых эполет	100
Живы, медведи!	105
Лоцманы бешеных рек	107
«Колыма ты, Колыма...»	112
«There are no sands... нет песков...»	119
Первый праздник на прииске	127
Записи в черной книжке	132
Ночь под рождество	136
Под ростовские звоны	139
«Уютный уголок»	142
Часть четвертая. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ЗОЛОТО	146
Сказочный куржак	146
Большой аргиш	154
Спасите наши души!	158
Поликарповы ямы	162
«Очи Союззолота»	167

Первая весновка	174
There is a very good gold	179
Дело чести	187
Тесно будет в тайге	196
Билибин видел далеко	203
Часть пятая. ОДИССЕЯ АРГОНАВТОВ	210
Последние записи Билибина	210
Симбир бумага Цареградского	216
Смута в ольской берлоге	223
Вдогонку за «Воровским»	227
Бухта Добрых Надежд	232
Море бурь и невзгод	239
Бертинский вояж	243
«И начал я ратовать за Колыму»	248
Улыбинский поход	256
Часть шестая. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ	262
Красный гранит и благородная шпинель	262
На высоком перевале	269
Первый свадебный визит	272
День рождения Сибсека	276
Геолог, сын геолога	281
Доклад в бывшем Геолкоме	284
Филипп Рабинович	290
«Благодаря моему колымскому патриотизму»	296
ОТ АВТОРА	300

Герман Григорьевич Волков

ЗОЛОТАЯ КОЛЫМА

Повесть

Редактор *В. И. Першин*

Художественный редактор *Б. Д. Зевин*

Технический редактор *Н. С. Стаменова*

Корректор *Е. Л. Меламуд*

ИБ 00466

Сдано в набор 01.06.84. Подписано к печати 24.10.84.

АХ—01196. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 1.

Гарнитура литературная. Печать высокая.

Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 16,38. Уч.-изд. л. 17,89.

Тираж 30 000 экз. Заказ 684. Цена 1 р. 30 к.

Магаданское книжное издательство,
685000, Магадан, пр. Ленина, 2
Магаданская областная типография
Управления издательств,
полиграфии и книжной торговли
Магаданского облисполкома, 685000,
Магадан, пл. Горького, 9.

Волков Г. Г.

В47 Золотая Колыма: Повесть. Кн. 1. /Послесл. автора;
Худож. М. А. Черкасов.— Магадан: Кн. изд-во,
1984.— 302 с.
1 р. 30 к. 30 000 экз.

Документальная повесть о Первой Колымской геологической экспедиции (1928—1932), положившей начало промышленному освоению нашего края. Герои повествования — выдающийся ученый-геолог Ю. А. Билибин и его соратники.

В 4702010200—035
М—149(03)—84 16—84

84Р7

1 р. 30 к.

